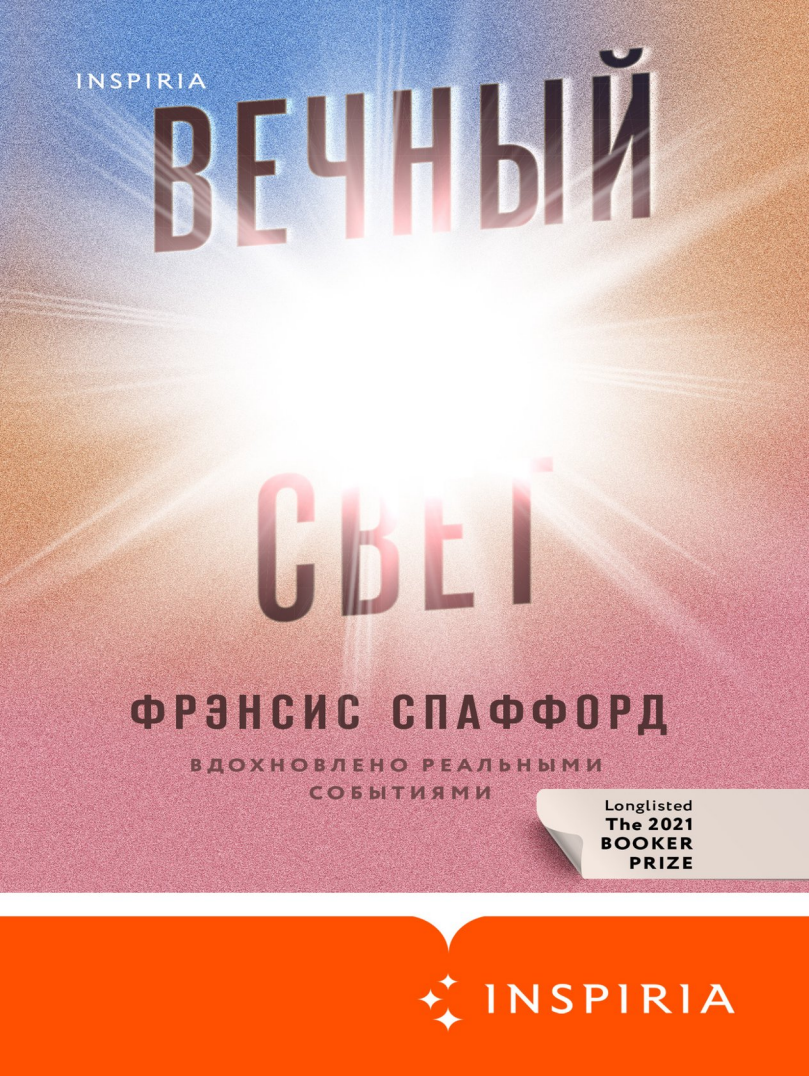
INSPIRIA
ВЕЧНЫЙ
СВЕТ
ФРЭНСИС СПАФФОРД
ВДОХНОВЛЕНО РЕАЛЬНЫМИ СОБЫТИЯМИ
Longlisted
The 2021
BOOKER
PRIZE
INSPIRIA

Вечный свет
Фрэнсис Спаффорд

Аннотация
Фрэнсис Спаффорд. Вечный свет
T + 0: 1944
T + 5: 1949
Джо, Вэл, Верн, Алек
Бен
T + 20: 1964
Алек
Вэл
Верн
Бен
Джо
T + 35: 1979
Бен
Алек
Джо
Верн
Вэл
T + 50: 1994
Бен
Вэл
Верн

Джо
Алек
Т + 65: 2009
Верн
Алек
Джо и Вэл
Бен
Т+∞

Аннотация

«Своего рода сияющая доброта, ощущение, что мир лучше, если в нем есть такие книги» Financial Times

Субботний день 1944 года. Магазин на юго-востоке Лондона получает партию алюминиевых сковородок. Толпа собирается, чтобы увидеть первую металлическую посуду за много лет – ведь все было переплавлено для военных нужд. Мгновением позже толпа исчезает. Немецкая бомба попадает точно в прилавок. Среди погибших были маленькие дети – Алек, Верн, Вэл, Бен и Джо.

Кто они и кем бы стали, проживи каждый из них свою жизнь в бурлящем Лондоне 60-х, 80-х и 90-х годов? Кондуктор или домовладелец, мошенник или учитель, а может – заключенный? Мы увидим их жизнь такой, какой она могла бы быть, если бы не тот страшный день.

Фрэнсис Спаффорд
Вечный свет

Francis Spufford
LIGHT PERPETUAL

Copyright © Francis Spufford, 2021
© Казарова К., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательствво «Эксмо», 2023

T + 0: 1944

Свет сер и мрачен. Тление. Язык пламени, поперхнувшийся собственной копотью, *являющий* лишь малую часть своей мощи в видимый спектр. Все остальное — жар и движение. Но линия горения пока еще только крадется под оболочкой боеголовки. Нитевидная линия перемен, расходящаяся от взрывателя сквозь плотную массу аммотола. Впереди желтовато-коричневое твердое вещество, гладкое и хрупкое, как карамель, позади — бурлящее кипение отдельных атомов, насильно освобожденных от всех связей, что соединяли их в тротил и аммиачную селитру, и готовых вот-вот распасться на простейшие молекулярные соединения. Вскоре они станут газами. Горячими газами, горячее расплавленного металла, намного горячее. И внезапно их станет так много, и они окажутся так неистово спрессованы в слишком маленьком пространстве, что неизбежно разорвут оболочку. Если к тому моменту оболочка еще будет на месте. Если она сама не превратится в стальной туман, как только ее коснется линия горения.

Мгновения. Это мгновение, перед тем как исчезнет стальная оболочка, длится всего одну десятитысячную секунды. Трещинка толщиной с волос в середине ноябрьской субботы 1944-го. Но присмотритесь. У этой трещины есть ширина. И длительность. Разве она сама не может разделиться надвое? И еще, и еще, и еще, и так до бесконечности? Разве эта трещинка не содержит в себе бездну? Ткань простого времени ничего под собой не прячет: пустота под пустотой, течение под течением. Каждый момент, который вы стремитесь определить, при ближайшем рассмотрении оказывается плотно утрамбованной пачкой более крошечных мгновений, и делению этому нет конца, а каждое последующее мгновение неизменно оказывается еще мимолетнее, хотя, казалось бы, дальше уже некуда. Материю можно разделить на мельчайшие составляющие, и все же этот процесс конечен. Время так не работает. Одна десятитысячная секунды представляет собой внушительный том с бесчисленным количеством тонких, почти прозрачных страниц. Таким же бесчисленным, как и количество страниц во всех книгах, написанных в нашей вселенной за всю прошедшую историю. И в этой книге времени страниц не меньше, чем

во всех прочих, собранных вместе. Каждая из частей так же безгранична, как и целое, потому что бесконечности не делятся по размерам. Они все одинаково бесконечны. И все же из этого отсутствия пределов и рождается наша обыденная конечность, наши начала и завершения. Словно кто-то раскинул понтон над бездной, и мы идем по нему, сами того не замечая; словно из проживания этой секунды, потом этой, этой минуты, затем другой, здесь и сейчас — следующих друг за другом без остановки, неумолимо, и всегда недостаточных, пока и вовсе не иссякнувших — возникает некоторая (временная) коагуляция всего и ничего одновременно, незаметно растягивающаяся на все годы, все ноябри, все обеденные часы. Но идем ли мы? Движемся ли мы сквозь время или это оно двигает нас? Нет времени рассуждать. Тут бомба взрывается.

Именно в эту субботу в бексфордский «Вулвортс» на Ламберт-стрит завезли сковородки, которые теперь выставлены на верхнем этаже, начищенные до блеска. Никто не видел новых сковородок уже несколько лет, и теперь вокруг стола собралась взволнованная толпа женщин с кошельками наготове и детьми, слишком маленькими, чтобы оставлять их дома одних. Вот

рядом с матерью стоят Джо и Валери в шотландских беретах, связанных из остатков пряжи. Вот Алек, с его тощими коленками, торчащими из-под шорт. Мать Бена крепко держит сына за руку, и тот, как всегда, выглядит слегка потерянно. Толстощекого Вернона привела бабушка — по сравнению с другими в их доме, казалось, никогда не испытывали большой нужды в предметах первой необходимости. Руки женщин тянутся к красивому алюминию, но человеческая рука не преодолеет большого расстояния за одну десятитысячную секунды, поэтому кажется, что они замерли. Дети застыли, как статуи во плоти. Палец Вернона замер у него в носу. Но все-таки некоторое движение можно уловить даже при таком замедлении. Позади стола, рядом с тележкой, полной пожелтевших схем для вязания, что-то продолговатое, гладкое и заостренное проходит сквозь потолок в медленно опадающем облаке штукатурки, кирпича и осколков черепицы. Среди этого мерцающего хаоса коническое острие боеголовки с геометрическим достоинством скользит по направлению к полу, а следом дюйм за дюймом в поле зрения просачивается темно-зеленое тело ракеты. Аммотол внутри боеголовки уже горит. Покупатели, сковородки,

баллистическая ракета: что же здесь не так? Никто нам не скажет. Джо и Алек в этот момент смотрят в нужном направлении. Их взгляды прикованы к пространству между плечами миссис Джонс и миссис Кэнаган, где появляется ракета. Но они ее не видят. Никто не видит. Образ «Фау-2» отпечатался у них на радужке, но одной десятитысячной секунды недостаточно, чтобы человеческий глаз успел обработать информацию и передать сигнал в мозг. Прежде чем это случится, у детей уже не будет глаз. И мозга. Это мгновение, этот отрезок времени, крохотный и неизмеримо огромный, наступает незаметно, незаметно проходит и незаметно заканчивается. И все же это реальный момент. Он действительно наступает. Он на самом деле занимает отведенное ему место в цепочке мгновений, в результате которых девятьсот десять килограмм аммотола оказываются среди сковородок.

Затем линия горения добирается до металла. То, что происходит потом, называется бризантностью. Подвижная ниточка горения, когда все уже воспламенилось, превращается во взрывную волну, вырывающуюся в разные стороны под натиском голубоватого газа. Все, чего она касается, — разрушается. Судорога деформации и дисло-

кации проходит через каждый твердый объект, дробя его на частицы, которые затем устремляются вперед на передовой взрывной волны. Вязальные схемы. Стойка. Свисающая на цепях стеклянная вывеска «ГАЛАНТЕРЕЯ». Деревянный стол. Сковородки. Толстое, изношенное, наследное зимнее пальтишко с роговыми пуговицами, в котором выросли три поколения. Кожа. Кости. Размер фрагментов определяется удаленностью от эпицентра взрыва. Ближе всего просто частицы, потом крупицы, обрывки, кусочки, ошметки, а дальше, в самом отдалении, там, где энергия волны расходится шире всего, — искореженные обломки стенной штукатурки, дверей и каменных плит или трамвайный знак, выдранный с корнем и отправленный в полет через улицу. Из-за формы боеголовки взрыв поначалу распространяется по направлению вниз, сквозь два этажа и подвальное помещение «Вулвортс», прямо в лондонскую глину, где, оставив неровный полукруглый кратер, устремляется вверх и наружу, таща за собой большую часть раздробленной материи здания. Купол разрушений разрастается. Магазины вдоль восходящих кривых купола слева и справа от «Вулвортс» вывернуты наизнанку. По Ламберт-стрит гуляет пурга металлических

зубчиков и кирпичных хлопьев. Здания напротив вздымаются и проседают; оконные стекла засасываются внутрь и застревают в стенах поблескивающими копьями и щепками. В земле от дрожи лопаются газопроводы и разрываются водопроводные трубы. В воздухе, даже там, где нет абразивной пыли и кирпичного дождя, внезапно разражается невидимый заряд высокого давления и расходится широким кольцом. Трамвай, вдалеке сворачивающий из Левишема, встает на рельсах на дыбы и замирает, но сквозь него, от одного конца до другого, проходит рябь, тут же преображающая воздух. На периферии взрывной волны происходят маленькие, едва заметные изменения. Кухонные стулья преодолевают по полу расстояние в тридцать сантиметров. Открываются дверцы шкафчиков, и оттуда, как конфетти, выстреливают довоенные припасы. Тридцатиграммовая гирька из мясной лавки рядом с «Вулвортс» каким-то образом пересекает Ламберт-стрит и следующую улицу, чтобы аккуратно влететь в открытое окно на верхнем этаже дома и приземлиться на нетронутые клавиши «Ундервуда».

Теперь уже не нужно замедлять время. Нет ничего такого, чего нельзя увидеть с обычной

скоростью человеческого восприятия. Пусть оно бежит секунда в секунду. Руины Ламберт-стрит подпрыгивают и, осев, замирают. Наконец доносится гулкий свист падающей ракеты, заглушаемый взрывом. Затем звенящая тишина. В «Вулвортс» не осталось никого, кто мог бы ее нарушить. Все покупатели и продавцы мертвы, на всех трех этажах; в мясной лавке по соседству тоже, и в отделении почты, за исключением одного сотрудника со сломанными ногами, которого угораздило в момент взрыва заглянуть в спасительный сейф; и в очереди на трамвай, собравшейся на тротуаре; все прохожие; все, стоявшие у окон противоположных домов; все пассажиры левишемского трамвая — еще сидящие на местах в шляпах и пальто, задохнувшиеся от удара воздуха. Только затем с дальних границ купола разрушения раздаются первые крики. И звуки сирен. И пожарной бригады. Члены группы противовоздушной обороны, мужчины и женщины с лопатами, карабкаются по обломкам каменной кладки; подростки и старики из волонтерской спасательной группы прибывают с носилками, которые практически не используют, и мешками, которые быстро заканчиваются. Начинаются попытки найти в развалинах «Вул-

вортс» крупицы, обрывки, кусочки и ошметки того, что когда-то было телами людей; людей, которых потеряли и отчаянно ищут те, кто собрался в бледнолицую толпу за ограждением в конце улицы.

* * *

Ни Джо, ни Валери, ни Алека, ни Бена, ни Верна больше нет. Исчезли так быстро, что даже не успели осознать, что случилось, и этим впоследствии утешатся (или нет) те, кто будет их оплакивать. Исчезли в промежутке между одной десятитысячной секунды и другой, исчезли так, словно растворились в этом обширном неизмеримом небытии, под ветхими подмостками часов и минут. Их роль во времени сыграна. Они больше не имеют отношения ни к чему из того, что вздымается, дышит, сжимается, поворачивается, усыхает, светлеет, темнеет; ни к одному изменению вещей. Ничто из того, что предполагает присутствие в потоке времени между мгновениями, теперь для них недоступно. Они ничего не могут сделать; с ними ничего нельзя сделать. Они никого не могу позвать, и их никто позвать не может. Они не существуют. А в это время все, из чего они состояли, осталось там, в кратере, без

единой возможности хоть когда-нибудь восстановиться. Вот что для нас время. Оно ломает и рассеивает обломки. Его нельзя пустить вспять, нельзя призвать прах восстать, так же как нельзя отделить молоко обратно от чая. Разлученное остается разлученным. Рассеянное остается рассеянным. Это необратимо.

Но закончилось не только существование этих детей. Вернон не ковыляет домой, где на кухне висит сырокопченый свиной бок; Бен не пересекает парк у отца на плечах, удивляясь дождевым ноябрьским облакам; Алек не собирается в давно обещанную поездку в Кристал Пэлас; Джо и Вэл не корчат друг другу рожи над тарелками с куриным супом, заправленным луком. Все варианты их будущего тоже закончились, так и не начавшись. Десятилетия того, что было бы и что могло бы. Как можно измерить эту потерю, если не сопоставить эту пустоту с какой-нибудь другой версией колеса времени, где все, что было бы и могло бы быть еще, возможно? Версией, в которой в Голландии, откуда пустили ракету, случилось крошечное изменение траектории, и ракета упала чуть-чуть дальше, в бексфордский парк, убив разве что несколько голубей; или в которой из-за какого-нибудь сбоя в пусковом механизме,

какие иногда случаются с такими чудовищными машинами, ракета канула в волны Северного моря; или вообще не взлетела — из-за перебоев с поставками топлива, отчего солдаты четыреста восемьдесят пятой батареи провели весь тот день под соснами, куря и нервно высматривая в небе британские бомбардировщики, пока в Вассенаре ждали танкер с этанолом.

Явись, другое будущее. Явись, милосердие, вовремя не проявленное. Явись, знание, вовремя не полученное. Явитесь, другие возможности. Явитесь, непотревоженные глубины. Явись, неделимый свет.

Явись, прах.

T + 5: 1949

Джо, Вэл, Верн, Алек

Мисс Тернбелл свистит в свисток, и наступает время пения. Джо любит пение больше всего и первая устремляется к нарисованной на асфальте черте, у которой всегда строится пятый класс, чтобы зайти внутрь, но остальные не торопятся прервать утреннюю перемену, несмотря на то что на улице накрапывает. Учительнице приходится свистнуть снова, а затем еще раз, прежде чем игры со скакалками, шуточные драки и футбольные матчи неохотно сойдут на нет и в мрачном каньоне между закопченной красной громадой начальной школы Холстед Роуд и окружающей ее высокой закопченной стеной устанавливается что-то вроде порядка. Малыши справа, классы со второго по седьмой один за другим выстроились в ряд слева — чем старше, тем выше и развязнее — до самой стены, где семиклассники, как миниатюрные мужчины, стоят в нарочито скучающих позах, втянув плечи, а семиклассницы с пренебрежением на лицах изображают упрощенные версии своих матерей. Среди пятиклашек такое тоже можно увидеть, но их подражания куда менее точные и куда менее

постоянные. Девятилетки меньше притворяются, их чувство собственного достоинства все еще может внезапно уступить место дурачеству или восторгу. Сопливые носы, болячки, кожная сыпь. Грязные шеи и зудящие головы детей, у которых дома нет ванной. Бесплатные очки от новой системы здравоохранения в дешевых черепаховых и розовых оправах.

— Успокаивайтесь! — громыхает мисс Тернбелл, и над гудящей площадкой временно воцаряется затишье. У него темно-серый цвет, думает Джо, как у потускневшей ложки с яркими царапинами звуков, которые то и дело издают дети, неспособные стоять спокойно. Где-то на улице грузовик скрежещет коробкой передач, под мостом в конце улицы проносится поезд: ржаво-коричневые потертости, окаймляющие затишье, а поперек — длинная змеящаяся прожилка фиолетового. Эти мысли в голове Джо предстают не словами, а исключительно картинками. И эти картинки звуков, которые она слышит, не останавливаясь, проносятся у нее в голове все время, пока она бодрствует, и никогда не бывают оторваны от того, как она видит мир. Она еще не задумывается о том, видят ли эти картинки другие, она задумывается об этом не более

чем о том, видят ли другие люди небо. «Первый класс, — зовет учительница. — Второй, третий». И они, разделившись на мальчиков и девочек, заходят внутрь, каждые через свою дверь, и воссоединяются уже в коридоре.

— Эй, дуреха, подожди меня, — говорит Вэл, привычным движением хватая сестру за руку.

Пение проходит в Большом зале, над которым, должно быть, когда-то была величественная скатная крыша. На стене под потолком в кирпиче высечены щиты со словами «Совет Лондонского Графства», по одной букве на щит. Джо смотрит на них, пока они поют «Когда рыцарь снискал славу», и думает о доспехах и драконах. Но теперь вместо величественных скатов над щитами лежит плоская крышка из необработанного дерева и рубероида, явно не рассчитаная на долгую службу. Из-за этого Большой зал в высоту оказывается короче, чем предполагается. Пространство комнаты сдавливается, как сдавливаются и раздающиеся там звуки. Должно быть, Большой зал был блицкригнут. (Такое определение Джо дает всему в Бексфорде, что выглядит разрушенным или сломанным.)

По всему коридору захлопываются двери классных комнат, и появляется мисс Тернбелл. Она

закрывает за собой двойные двери зала и вздыхает. Она часто вздыхает. Вдобавок к сегодняшнему дежурству на перемене она их классная руководительница и одна из самых старых учителей в Холстед Роуд, из тех, кого еще мама Джо помнит по своим, давно минувшим, временам в школе. Ее металлически-серые волосы стянуты в тугой пучок, и когда она не разговаривает, всегда поджимает нижнюю губу под верхнюю, как будто у нее во рту лежит что-то, что она силится прожевать. Все говорят, что она наверняка очень страшная, когда вытаскивает на ночь зубы. Как-то раз смышленый Алек на уроке письма нарисовал ее без зубов и передал листок по рядам. И она его поймала! И его отправили к директору, но всего лишь за плохое поведение и безделье, потому что мисс Тернбелл не узнала себя на портрете. Джо успела увидеть рисунок, прежде чем его порвали, и сходства там было мало.

Мисс Тернбелл раздает им красные песенники и с глухим шарканьем усаживается за пианино.

— Тридцать семь, — говорит она. — Котсуолдс.

Она имеет в виду: откройте страницу тридцать семь, мы будем петь «Балладу о лондонской реке», которая начинается со слов «От Котсуолдса, от Чилтерна». Но она уже говорила это столько раз,

что все ненужные слова выпали. Джо чувствует облегчение. Когда на уроке выбирают грустную песню, например «Мальчик Дэнни» или «Дева с северных земель», или трогательную «Счастлив, что живу я», мальчишки начинают кривляться. Раньше такого не было, но в этом году они, похоже, просто ничего не могут с собой поделать. Они начинают петь всякую чепуху, пока не получат нагоняй. «Баллада о лондонской реке», конечно, не самый лучший выбор, чтобы удержать внимание мальчишек, не такой как «Добрый меч и верная рука» или «Тот, кто будет храбр», но это песня о Лондоне, и пятый класс обычно поет ее с гордостью, даже несмотря на кучу сложных слов.

Мисс Тернбелл критически осматривает два ряда, в которые выстроился пятый класс: все, кто любит петь, — впереди, большинство мальчишек — сзади плюс те, кого туда сослали на прошлых занятиях за плохое пение. Джо, конечно же, стоит в первом ряду, и Вэл рядом с ней, хотя, по правде, сама она не очень этому рада. Она гораздо больше заинтересована в том, что творится сзади, и постоянно вертится. Их семья состоит из одних только женщин, и, сколько девочки себя помнят, так было всегда: они, мама, тетушка Кэй. Не вернувшийся с войны отец — просто абстрактное

понятие, но не воспоминание. И если Джо в результате стала с настороженностью относиться ко всему мужскому роду, на Вэл это оказало совсем другой эффект. Мальчишки вызывают у нее восторг, любопытство, приковывают взгляд. Когда они играют, она вечно топчется где-то рядом, теребя волосы и пытаясь вклиниться в их веселье. Рядом с Джо ее удерживает лишь укоренившаяся привычка близняшки. В последнее время она стала сопротивляться: словно постоянно дергает связывающую их невидимую веревку, но никак не может отделиться. И все же. С другой стороны от Вэл в первом ряду, что ожидаемо, стоит противный Вернон Тейлор, которого смышленый Алек из заднего ряда окрестил Вредноном, но в лицо никогда его так не называл, о, нет. Верн очень сильный. Верн задира. Кулаки у него как розовые сосиски, которые мясник собрал в связку, перед тем как упаковать. А еще у Верна отвратительный голос. Во время пения он то хрипит, то взвизгивает. И все же пение его любимый урок, будто бы есть в этом что-то, чему он не в силах противостоять. Мисс Тернбелл постоянно отправляет его в задний ряд, но на каждом следующем уроке он раз за разом вылезает вперед. Демонстративно ссутулив плечи, он держит песенник

большими розовыми руками и щурит маленькие противные глазки, глядя на слова и ноты. Мисс Тернбелл задерживает на нем взгляд. Вздыхает. Открывает рот. Закрывает и делает свое жующее лицо. Она не собирается утруждаться.

— Глубокий вдох, — произносит она. — Раскройте легкие, используйте грудную клетку. Пусть музыка идет из самой глубины. Рот всегда открыт. Поднимите головы и пойте. Стивен Дженкинс, вытри нос. Да платком же! И, раз, два, три, четыре… — Она начинает играть вступительные такты, тяжело и без всякого энтузиазма, но это неважно. Из пианино вырывается быстрая, ритмичная, расходящаяся волнами мелодия, предшествующая запеву. Она звучит несколько нелепо, как звучит перед утренним субботним сеансом в бексфордском кинотеатре национальный гимн — устало-помпезный и явно проигрывающий орущей толпе детей в партере. И все же сквозь позвякивание старых клавиш Джо слышит эти волны, решительные и чистые, говорящие: «Вот река, вот она», и представляет себе расходящиеся зеленые и бронзовые круги. Иногда неважно, если что-то нелепо. Затем музыка начинает кружиться на месте, что служит для них сигналом, — все делают вдох, а Алек при

этом издает смешной звук, похожий на звук поднимающегося лифта, и пятый класс, открыв рты во всю ширь, начинает петь:

От Котсуолдса, от Чилтерна, от каждого истока
Беги до серебристых чаек,
В дальнее далеко.

Забудь ты имя старое –
Брент, Айзис или Тейм.

Забудь плотины, ивы и крутые берега.
Забудь, река, все те места,
Откуда ты текла.

Джо кое-чего не понимает в этой песне, например, что такое Котсуолдс и Чилтерн и зачем там слова «Айзис», «Брент» или «Тейм». Но кое-что она понимает. Она знает, что все это происходит в месте, где цвета ярче, чем обычно, где чайки серебристые, а не грязно-белые, как те, что пикируют из речного тумана, планируют над доками и охотятся за твоими сэндвичами. Она знает, что звуки произносимых слов соединяются друг с другом, как кусочки пазла, даже если она не знает значения этих слов. Она знает, что таким

напыщенным, непостижимым многоцветным способом в песне говорится о том, что река течет из каких-то прекрасных мест, а затем превращается в грязный бурый поток, протекающий под городскими мостами, от берега до берега сотрясаемый гудками буксировщиков, настолько громких, что от них вздрагивают кирпичные стены и стекла автобуса, если в этот момент ты в нем пересекаешь мост. Когда проходят буксировщики, стекло под пальцами начинает вибрировать, отчего пальцы немеют. Темза — большая уродливая река. Уродливая и громкая, а не красивая. А в песне поется, что Лондон большой, громкий и уродливый и поэтому волнующий и что быть волнующим лучше, чем красивым.

И она точно знает, как надо петь эту песню. В самом начале она колотится, первая строка звучит, как марш, и только в конце, на последнем слове взвивается до более высокой ноты, чем ожидаешь, будто создавая платформу, с которой ты прыгнешь в следующую строку. В самом начале она сбегает вниз или скорее пикирует, как чайка, а затем, так же как и чайка, достигнув нижней точки, взмывает вверх и зависает в воздухе, а если быть точнее — ровно посередине между черными линиями, на которых живет музыка. А

потом «Забудь ты имя старое — Брент, Айзис или Тейм» снова поднимают ее ввысь. Она взбирается наверх и на слове «Тейм» почти парит, и ты уже готовишься к тому, что на последней строчке тебе придется разинуть рот шире граммофонной трубы и лететь, лететь, лететь до самого конца. Но нет, и ты разочарован. Она разочаровывает тебя специально, опускаясь до глухого, хоть и чисто звучащего конца строки, для того чтобы снова взлететь выше прежнего, когда последняя строка неожиданно повторяется. И повтор. Ноты в отдельных словах настолько высокие, словно пытаются вырваться вверх с нотного стана, похожие на людей, выглядывающих в чердачное окно; настолько высокие, что Джо едва удается их взять, а затем строка летит вниз к своему истинному звучанию, где ноты такие долгие, что растягиваются на целый такт и на них уходит все дыхание. Даже Верн понимает, что нужно радостно воспарить. Джо слышит, как он визгливо силится взвиться, и его голос практически тонет в хриплом свистящем шуме. Но это не портит ей удовольствия от ее собственного, уверенного, звенящего движения по словам последней строчки. Высокие ноты одна за другой проносятся перед ее мысленным взором, как багряно-золотые лучи.

Они делают новый вдох, готовясь к следующему куплету — Алек уже позабыл веселиться и поет как следует, — но пальцы мисс Тернбелл замирают на клавишах. Позади пятого класса открываются двери Большого зала.

— Что-то случилось, мистер Харди? — спрашивает она.

Входит директор, лысый, с чернильно-черными усами. Пятый класс тут же вытягивается по струнке, потому что мистер Ха наводит на них ужас. У него в кабинете хранится Палка, и немалую часть пятого класса уже хотя бы раз отправляли навестить их обоих: Джо не из их числа, но страх заразен. Мистер Ха любит внезапно атаковать вопросами, и по нему никогда не поймешь, какой ответ его удовлетворит.

— Нет, нет, — отвечает он. — Не обращайте на меня внимания, я не буду вам мешать. — И затем тут же продолжает: — Читерна, Читерна… Вот что я расслышал на входе. Там есть «л», дети. Ну-ка, произнесите, пожалуйста, как надо.

— Чи*л*терна, — отвечает пятый класс нестройным хором.

— Громче, пожалуйста.

— Чи*л*терна!

— Вот, — говорит мистер Харди, но говорит так,

словно он отнюдь не впечатлен. — Произношение важно, вы согласны, мисс Тернбелл?

— Разумеется, директор, — ровным голосом отвечает та. Мисс Тернбелл действительно часто поправляет их, когда они теряют согласные, часто вздыхает, когда они вставляют «в» в «солнце», но она не делает это так, будто пытается их подловить. Между взрослыми повисает какое-то напряжение, которого Джо не может понять. Она подмечает, что мистер Харди намного ниже мисс Тернбелл. Сейчас он стоит возле пианино, покачиваясь с пятки на носок, и недовольно разглядывает учеников, выпятив обтянутый жилетом живот, на котором поблескивает цепочка от часов.

— Продолжайте, мисс Тернбелл, — говорит он и никуда не уходит. Мисс Тернбелл снова проигрывает струящиеся вступительные аккорды, и пятый класс куда более неохотно и куда более сдержанно запевает второй куплет.

Стремились Датчанин с Саксонцем
Тщетно тебя покорить.
Ты видела замки и крепости,
Для тебя был недолог их век.

Ты будешь бежать не одну сотню лет,

А их давно уж и нет.

На этот раз долгие ноты в конце строк нервно обрываются гораздо раньше, чем нужно.

— Хмм. — Мистер Харди окидывает всех колючим взглядом. — Мисс Тернбелл, как по-вашему, пятый класс делает успехи?

Она убирает руки с клавиш и складывает на коленях.

— Да, — неожиданно отвечает она. — Они поют с чувством, и некоторые из них подают большие надежды.

Это самые одобрительные слова, которые Джо доводилось слышать от мисс Тернбелл, и ее это удивляет. На уроках пения она всегда воспринимала мисс Тернбелл как некий механизм для управления пианино, никак не связанный с ее собственным отношением к музыке. Пятый класс, неожиданно оказавшийся с мисс Тернбелл по одну сторону, взволнованно и осторожно опробует это новое чувство.

— Рад слышать, — бормочет мистер Харди, явно испытывающий что угодно, но только не радость. Тут его лицо озаряется. — Но они вообще-то понимают, о чем поют? Вот ты, мальчик в первом ряду, — он пальцем указывает на Верона, — «Для тебя был недолог их век». Ты только

что это пропел. Что это значит?

— Не знаю, сэр, — отвечает Верн.

— Что ж, упростим задачку. Ты, девочка. Девочка с косичками. Кто в этой песне «ты», м?

Джо чувствует, как голова мгновенно пустеет: все мысли разбежались кто куда в поисках укрытия, как мыши с кухни, когда открываешь дверь. У нее не получится передать то удовольствие от песни, что наполняло ее пять минут назад, не получится связать между собой слова и все те парящие, текучие формы.

— Ну?

Мистер Харди не сводит с нее глаз. Как и мисс Тернбелл, снова нацепившая свое жующее лицо.

— Оно красное, сэр, — дрожа делает попытку Джо. — Это слово. В голове, когда поешь.

— Что? — говорит мистер Харди. — Что? Оно красное? Да эта девочка отсталая.

Вернон начинает хихикать, но тут же резко замолкает. Это Алек из заднего ряда пнул его под колено. Джо чувствует, как тот распухает, раздувается, как воздушный шар, не сулящий кое-кому после урока ничего хорошего.

— Я понимаю, — мистер Харди с довольным видом обращается к мисс Тернбелл, — от них не стоит ждать многого, но все это несколько удру-

чает, вы не находите?

Мисс Тернбелл вздыхает.

— Мистер Харди, — внезапно встревает Алек.

— Что такое, мальчик? — нетерпеливо спрашивает директор. Ему есть еще что сказать. Он только начал.

— Сэр, пожа*в*уйста… вы не могли бы объяснить нам, сэр? Будьте так добры. Это было бы замечательно. Пожа*в*уйста, сэр, мы все были бы очень рады, сэр.

Мистер Харди хмурится, сомневаясь в том, что ребенок не шутит. Джо не понимает, что затеял Алек, за исключением того, что это рискованно. Обычно он так не разговаривает. Ему реже всех делают замечания из-за гласных и согласных. И он может без ошибок написать что угодно. Его отец работает в типографии, и у них дома полно книг, целые шкафы.

— Что ж, — говорит директор. — «Ты» в этом куплете — это сама Темза…

— Не может быть! — восклицает Алек, будто ошеломленный.

— Вдоль берегов, которой… Мальчик, ты что, издеваешься?

Пятый класс начинает хихикать.

— Я, сэр? Нет, сэр, — отвечает Алек. — Я бы даже

не подума*в*.

— А мне кажется, подумал, — говорит мистер Харди.

— Что вы, сэр, — говорит Алек. — Я просто так вам б*в*агодарен, что теперь понимаю песню, которую мы все время поем, сэр. У меня над го*в*овой как будто *в*ампочка зажглась, сэр, честно.

Смешки становятся громче, и даже мисс Тернбелл, стоящая позади мистера Харди, вздернула брови и сжала губы так, точно пытается удержать что-то во рту.

— Хватит, — говорит побагровевший мистер Харди. (Но не тем праздничным багряным цветом, который представляла Джо, а более грязным, неприятным оттенком.) — Вон! Я разберусь с тобой у себя в кабинете, мальчишка!

Он бросается в одну из своих внезапных атак, хватает Алека за ухо и устремляется с ним из Большого зала, нарочно держа руку так высоко, что Алек, которому приходится следовать за ним, болезненно приплясывая на носочках, начинает плакать еще до того, как доволакивает до двойных дверей ноги в болтающихся ботинках. Пятый класс таращится на них и уже не смеется.

Мисс Тернбелл откашливается и хлопает в ладоши.

— Внимание, пятый класс, — говорит она, и ее голос уже звучит не так устало. — Смотрим вперед, плечи назад. Давайте споем третий куплет. Раз, два, три, четыре…

Бен

— В первый раз, сынок? — спрашивает мужчина рядом с отцом. — Посади-ка его на плечи, приятель, я не против, ему так будет лучше видно.

Бен привык, что людям кажется, будто он младше, чем есть на самом деле, потому что он мелкий. Но с тех пор, когда он был настолько маленьким, чтобы его сажали на плечи, прошло уже много времени, много-много лет, поэтому он удивляется, когда отец согласно хмыкает, наклоняется и поднимает его. И вдруг вместо того, чтобы пытаться разглядеть хоть что-то сквозь темную массу пальто и курток, он оказывается в воздухе. Кепка отца упирается ему в живот, и сверху он видит тысячи таких же голов в кепках, шапках или шарфах. Покатое море выкриков, пальцев, тычущих в воздух, и сигарет, зажатых в уголках губ.

Они стоят на верхушке южной трибуны стадиона «Ден». Она представляет собой простой ступенчатый цементный склон. Здесь, на самом верху, так высоко, что видно железнодорожные пути, обрамляющие стадион с трех сторон.

Поезда проходят один за другим. Лица в окнах грохочущих зеленых пассажирских вагонов похожи на белые горошинки. Лязгающие цепочки вагонов тянутся в доки или из них, увлекаемые локомотивами, хрипло откашливающими дым, как гигантские собаки. На противоположной стороне пепельные облака сливаются с постоянно висящей над рекой дымкой. Над доками, в густом, как суп, воздухе обычно виднеются подъемные краны, но недавно прошел дождь, и от влажности дымка опустилась ниже. Трава на поле снова запестрела зеленым. Мокрые крыши переливаются, отражая небо; влажный блестящий след крадется по краю рекламного стенда мыла «Санлайт». День преображается. В центре этого шумного открытого пространства преображается и Бен. Лондонский смог с такой высоты — просто подставка для ног. Над ним — удаляющийся дождь собрался изогнутой стеной, необъятной, грифельно-серой, серо-фиолетовой. Уплывающая наковальня. А в самом верху она пенится, как цветная капуста: сплошь выпуклости, вмятины и смазанные переходы — слишком замысловатые для глаз. Небо вдалеке светлеет. Полоска такая же ослепительно-белая, как летние облака. Хоть сейчас и дождливая осень.

— Закрывай его, закрывай! — радостно вопит мужчина рядом с отцом. — Вперед, Львы! Вперед, вы, сонные ублюдки! Вы что, слепые?

На зеленом прямоугольнике ярко-голубые игроки «Миллуолла» бросаются вправо. Внезапно вырывается сине-бордовая лавина «Кристал Пэлас». Ярко-голубые разбегаются, собираются и блокируют острие атаки. На острие путаница, подножка, глухой стук, падение. Двое мужчин свалились в кучу. Противоположная трибуна стонет, но мяч катится дальше, катится свободно. Он кажется крошечным. Такая крошечная точка, а все вокруг нее бегают. Кто-то пинает его влево. Все сине-бордовые приходят в движение, ярко-голубые приходят в движение, все бегут назад к левому краю, цвета сливаются и разделяются. Кружат друг вокруг друга, каждую секунду меняют направление.

— Пасуй! — орет мужчина.

Рты у всех остальных тоже открыты. Открываются и закрываются. Выкрикивают разные слова.

— Вперед, Львы… — пробует себя Бен.

— Вперед, Львы! — кричит отец и сжимает лодыжки Бена.

— Шевели задницей, Джимми! — кричит муж-

чина. — Джимми Константин, шевели своей задницей!

— А кто из них Джимми Константин? — спрашивает Бен.

— Восьмой номер, — отвечает отец.

— Тот, что с гребаным мячом, сынок, — говорит мужчина.

Отец поворачивает голову.

— Прости, — говорит мужчина и пожимает плечами.

— Да ничего, — отвечает отец. — Но дома мы так не говорим, сынок.

— Хорошо, пап, — начинает было Бен, но его голос тонет, — из каждой глотки на домашней трибуне вырывается оглушительное, низкое «У-у-у-у-у», словно они все превратились в одно гигантское разочарованное или злое животное. Злое, оттого что разочарованное. Возвращается мяч, от сильного удара летит высоко вверх и далеко на половину «Миллуолла».

— Надо было отдать, — бормочет мужчина, качая головой. — Надо было отдать. Безмозглый сукин сын. Вперед, Львы!

Мяч летит вправо, влево, вправо, влево. Бордовый сливается с ярко-голубым, ярко-голубой вспыхивает среди бордового. Волны на пляже.

Прошлым летом Бен ездил в Бродстэрс с семьей тетушки Джоан, где его сажали возле рваной дорожки из водорослей на песке, укутав от холода, и он смотрел, как волны набегали, не зная усталости и никогда его не достигая. Когда мяч справа, отец, мужчина рядом с ним и все остальные втягивают воздух и задерживают дыхание. Когда он слева, они издают глубокие, низкие звуки, которые постепенно становятся все выше, выше и выше, пока «У-у-у-у-у» — волна не разбивается и не откатывается обратно. Бен тихонько присоединяется. Он чувствует, как игра сжимает ему грудь, точно гармошку. Тебе не надо ни о чем думать, все происходит само собой. Вдох, выдох, «У-у-у-у-у». Вперед, Львы!

Верхушка капустного небесного царства сейчас горит бело-золотым. Пробивается солнце. Вокруг снуют тени. На северо-западе сияет так, что в ту сторону больно смотреть.

— По флангу! — ревет мужчина.

Бордовые снова пробиваются направо, но в этот раз, когда ярко-голубые отбирают мяч, кто-то отправляет его далеко на сторону «Кристал Пэлас». Точка взмывает вверх. Она точно оставляет позади эту ревущую, неистовствующую землю и устремляется к тонущему в сиянии краю цветной

капусты. Она медленно перелетает над стрелами торчащих из дымки подъемных кранов, будто перед тем, как приземлиться, у нее в распоряжении все время мира. Будто в этот раз она может и вовсе не приземлиться. Будто небо может поймать ее, и тогда игрокам «Миллуолла» и «Кристал Пэлас» придется сказать небу: «А можно нам наш мяч назад?» Вдруг точку подхватывает пробившийся луч солнца, и она превращается в жидкое золото, неистово яркое. Разум Бена ошеломленно замирает. Где-то там мяч падает, его искусно перехватывает ярко-голубой нападающий, перекатывая вправо-влево, проводит мимо защитника «Кристал Пэлас» и мощным ударом точно передает ярко-голубому восьмому номеру, который только что достиг идеальной точки, откуда он сможет под острым, почти невероятным углом послать мяч мимо вратаря в угол ворот. «О-о-о! О-О-О-О!» — кричат тысячи мужчин вокруг Бена, их голоса взволнованно взбираются вверх, к восторгу. Но у Бена перед глазами все еще горит застывшая в воздухе золотая пылинка. Она сияла так, словно кто-то проткнул мир насквозь. Он не заметил гол.

— Я люблю тебя, Джимми Константин! — орет их сосед. — Гребаный красавчик-макаронник, я

тебя люблю!

— Ну, как тебе? — говорит отец, повернув голову, чтобы взглянуть на Бена. — Красотища, а?

— Что? — медленно отвечает Бен, будто спросонья. — Что, пап?

В автобусе по дороге домой отец огорченно говорит:

— «Я думал, что тебе больше понравится».

— Это было потрясающе, пап, — отвечает Бен.

T + 20: 1964

Алек

Уже перевалило за час, а Алек только-только успел вылезти из комбинезона, натянуть костюм и убежать: через погрузочную площадку, вокруг здания лондонской «Газеты» и вверх по Маршалл-стрит к «Хэр энд Хаундс». Как обычно, после металлического бряцания станков прямо под ухом воздух на улице кажется мягким и просторным. Шум машин накатывает и стихает легкими волнами, точно шум всех коробок передач и разгоняющихся автобусов слился воедино в мягкий прилив. Небо очень высокое, ветерок, который встречает его за углом молочной лавки, словно спешит рассказать ему, как огромен мир. Куда огромнее, чем наборный цех «Газеты». Он бросает быстрый взгляд на свое отражение в окне, приглаживает волосы, поправляет галстук и заходит в дорогой бар. Они уже там — курят, демонстративно сложив руки на столе, словно подчеркивая отсутствие напитков. Да, по традиции сегодня платит он, но все равно, какие же скряги.

— Мистер Хобсон! — Алек подается вперед и протягивает руку.

— А, — отвечает Хобсон, — вот и вы. Клайв, это

Алек Торренс, о котором я рассказывал. Алек, это Клайв Бёрнхем из типографии «Таймс».

Хобсон здорово помог Алеку, когда умер его отец и они с матерью лишились дома. Он пристроил его в обучение, а потом замолвил за него словечко в «Газете», и вот он снова старается изо всех сил, чтобы пробить Алеку дорогу на Флит-стрит, где за смену платят больше, чем в любой местной газете. Короче говоря, заменяет ему отца, и все во имя того, что случилось между Хобсоном и его отцом задолго до войны; того, что, как и любая рабочая дружба, рождающаяся из химии ежедневного пребывания бок о бок, окутано завесой тайны. Но что бы там ни произошло, для Хобсона этого оказалось достаточно, чтобы следующие восемь лет приглядывать за мальчишкой Рэя Торренса. Скрипучий, ржавый, угловатый старикан с гнездом седых волос на голове, в костюме гробовщика, на плечах слегка припорошенном перхотью. Зовут его Хротгар, что уже впечатляет. Х-р-о-т-г-а-р. Алек набирает буквы на воображаемых клавишах, точно так же, как он, не задумываясь, набирает в голове каждое необычное имя собственное, которое ему попадается. Миссис Эрминтруда Миггз, 61 год. Подсудимый Дэфидд Клеусон. Сотрудник фирмы

«Сильверштейн энд Рул, Мэнор-роуд, Хокли-инзе-Хоул». Каждое из них — уникальный медный каскад. Хобсон и выглядит как настоящий Хротгар. Он похож на какого-нибудь размытого второстепенного персонажа Диккенса, выглядывающего из тени на старых иллюстрациях. Но сегодня Алеку нужно понравиться Бёрнхему, а это совсем другая птица — гладкий, чуть полноватый, упакованный в один из тех костюмов с отливом, в итальянском стиле, с загаром человека, только что вернувшегося с побережья.

— Чего желаете, джентльмены? — спрашивает Алек.

— Мне стаканчик виски, благодарю, — скрипит Хобсон.

— Пинту пива и шот виски, — говорит Бёрнхем, не утруждая себя вежливыми оборотами. — И яйцо по-шотландски, если здесь подают. — Он со скучающим видом осматривает бар, давая понять, что видал и получше. Сдерживает зевоту.

— Заказать вам сэндвич, мистер Хобсон? — спрашивает Алек. — Я, пожалуй, возьму себе.

— Нет-нет, благодарю, — отвечает Хобсон. — Сегодня что-то не хочется. Поем попозже, дома.

Алек приносит поднос с напитками. Себе он взял пинту пива, и хорошо бы ему тем и ограни-

читься, ведь ему еще полдня шевелить мозгами. Не говоря уже про эту встречу.

— Садись, садись, — говорит Хобсон. — Я решил вас свести, потому что Алек очень хороший парень, очень добросовестный и надежный. Его семья входит в лондонский профсоюз уже бог знает сколько лет.

— Да, вы упоминали, — говорит Бёрнхем.

— Может, помните, его отец Рэй набирал небольшие статейки для «Джорнал». Шахматные задачки, заметки для велосипедистов, раздел с юмором.

— Простите, не припоминаю. Я сам не состою в лондонском профсоюзе, я член национального. — Провинциальные и лондонские наборщики объединились около года назад и формально составляли один профсоюз, но разграничение, существовавшее еще со времен юности королевы Виктории, так никуда и не делось, особенно в Лондоне.

— А как вам удалось подняться? — вежливо спрашивает Алек.

— «Бирмингем Пост». Но это неважно. А важно вот что. Не пойми меня неправильно, я уверен, что ты тут отлично справляешься, но у вас еженедельник, и ты привык работать спокойно и

размеренно, ведь, если где-то напортачить, всегда есть время все поправить, так?

— Я не портачу, — отвечает Алек, и Хобсон бросает на него выразительный взгляд.

— Ты этого не знаешь, — говорит Бёрнхем. — Ты не можешь этого знать до тех пор, пока это не случится. Пока не наступит момент, когда после сдачи номера в печать прошло уже полчаса, тебе в спину дышит какой-нибудь говнюк из союза печатников, кто-то из начальства жужжит над ухом про переработки и задержки, а к тебе подходит ассистент и говорит: «Ой, а что-то у нас вторая полоса совсем не сходится из-за этой колонки нашего корреспондента из Хренландии с кучей потрясающих подробностей о Хренландской ситуации, о которой в жизни никто не слышал, в том числе ты сам, и которая вышла на сто пять слов длиннее, чем надо. Сократи ее, а? Выбрось оттуда ровно сто пять слов, да так, чтобы репортаж о Хренландии не превратился в полную ересь. И на это задание у тебя нет «бог знает сколько лет». У тебя вообще времени нет. Полторы минуты, что по сути то же самое. И что ты будешь делать?

Бёрнхем ухмыляется, обнажив зубы — ровные и мелкие, как будто пластмассовые.

— Думаю, я справлюсь, — отвечает Алек. — Я

даже думаю, что мне понравится. Правда.

— Вот как?

— Вообще-то «у нас тут» не все спят на ходу. Не то чтобы вы переехали мост Ватерлоо и сразу попадали в сонное царство.

— Вот как? А он всегда такой языкастый? — Бёрнхем спрашивает Хобсона.

— Алек не стесняется иметь свое мнение, — отвечает Хобсон. — Но вообще он очень спокойный, если его не заводить.

Бёрнхем смеется.

— А как же мне тогда понять, как он ведет себя, если на него поднажать? Послушайте, вы представляете себе, сколько людей стремятся заполучить работу на Флит-стрит? Это же золотая жила. Это джек-пот. И вы представляете, как много значит то, что работников выбираем мы, а не начальники. Горячие головы мне не нужны.

— Это не про меня, — говорит Алек.

— Да неужели? Я тебя взвинтил за тридцать секунд.

— Я думаю, — вклинивается Хобсон, — стоит взять Клайву еще выпить.

Алек совершает рейс до бара и обратно, на ходу напоминая себе, как сильно ему нужны эти смены, и, вернувшись к столику, видит, что

Хобсон каким-то образом сумел рассмешить Бёрнхема и сам смеется вместе с ним пружинящим, булькающим смехом, будто кто-то сворачивает и разворачивает грелку.

— Что такое? — спрашивает Алек.

— Да ничего, — отвечает Бёрнхем и протягивает ему блестящую пачку сигарет с фильтром, что само по себе, наверное, хороший знак. Зажигалка у него тоже блестит. Хобсон же отказывается от сигареты и сообщает, что ему нужно в уборную. Они наблюдают, как он ковыляет прочь походкой огородного пугала.

— Конечно, тот еще персонаж, — говорит Бёрнхем. — А он всегда одевается так, словно только что закончил кого-то бальзамировать?

— Почти, — отвечает Алек и тут же захлопывает рот.

Бёрнхем вздыхает.

— Мне кажется, мы не с того начали. Послушай, я тут не для того, чтобы над тобой поиздеваться. Старикан очень хорошо о тебе отзывается, это очень мило, и то, что ты ему предан, — тоже. Делает тебе честь. Но это очень большой шаг вперед, и я хочу понять, готов ли ты к нему. Как ни странно, иногда полезно, чтобы в наборной был кто-то горластый, кто сможет дать отпор, вы-

ступить, провести границы там, где они должны быть. Но тут нужен человек с холодной головой, а не тот, у кого язык с головой не дружит. Я не знаю, читал ли ты доклад Королевской комиссии. Если в двух словах, они пишут, что у нас перебор людей и мы катимся в пропасть. Пока до этого еще не дошло, но в печати сейчас работает куда больше людей, чем когда-либо, и следить стоит — вопрос щекотливый. Так вот скажи мне, что в тебе есть надежного, спокойного и непоколебимого, такого, чтобы я мог спать спокойно.

Алек не знает, что на это ответить.

— Ну, мне нужны смены. В смысле они мне правда очень нужны.

— Не пойдет, — отвечает Бёрнхем. — Посмотри на себя, ты молод. Дай тебе четыре лишних фунта, и ты их промотаешь. Выпивка, девицы, дрянная музыка и все такое.

Алек глядит на Бёрнхема и видит, что тот хочет свести к шутке все трудности, которые успели выпасть на его долю. Но, пожалуй, так надо.

— Нет, — говорит он. — Я имею в виду, я ведь женат, так?

— Ну тут уж тебе виднее, — отвечает Бёрнхем. — Так женат или нет?

— Да что б вас! Да, я женат. У меня маленький

сын, еще один ребенок на подходе, и деньги мне бы очень пригодились, потому что мы живем с матерью моей Сандры, и моя мать тоже живет с нами.

— Вот оно что, — настороженно говорит Бёрнхем. Похоже, такая резкая смена настроения беседы застала его врасплох. — Ясно. И всех это немного напрягает?

— Еще бы.

Здесь ему стоило бы ввернуть какую-нибудь шутку, что-то наподобие «Международный кризис в Хренландии рядом не стоял». Бёрнхему бы понравилось такое. Алек бы словно вернул ему его же шутку, украшенную вишенкой и ленточкой, — такое все любят. Теща, свекровь, молодые супруги, стремящиеся улучить момент, чтобы заняться сексом, пока остальные трое их не слышат, это ведь так комично. Но вот что совсем не комично, так это глубочайшая, непоколебимая неприязнь, которую мать Сандры питает к нему и всему, что с ним связано. Не может он посмеиваться над тем, как угасает его мать. Чем дольше они живут в одной квартире, чем сильнее сжимается, съеживается его мать, точно она не до конца уверена, что имеет право занимать место на краешке дивана. Мать Сандры не пожелала

иметь в своем драгоценном жилище ничего из их старой квартиры: ни мебели, ни книжных шкафов, которые отец сделал сам, ни книг. От всего пришлось избавиться. Или почти от всего. В сыром чулане под лестницей осталась лишь одна коробка с книгами. Когда он заглянул в нее, то увидел, что все обложки покрылись черной плесенью. «Социализм и *Грибок*», автор Уолтер *Грибок*. Уолтер Цитрин, вообще-то. Ц-и-т-р-и-н.

— Оки-доки, — говорит Бёрнхем. — Думаю, картина мне ясна. — Он замолкает, смотрит на кончик сигареты и вскидывает брови с выражением болезненной деликатности. — И ты хочешь вырваться оттуда? Хочешь свой угол, да?

Какая проницательность, думает Алек.

— Да, хочу. В следующем месяце освобождается один дом, и агент сказал, что мы можем заехать. Нам нужны три спальни, если мы не хотим друг друга… В общем, чтобы нам всем было комфортно.

Лицо Бёрнхема светлеет.

— Не нужно тебе это, — говорит он приободрившись.

— Что? — спрашивает Алек.

— Не нужно тебе это. Аренда жилья — это как игра в наперстки, — объясняет Бёрнхем, вер-

нувшись на безопасную территорию барных разговоров. — Мысли шире, тебе надо приобрести что-то. И мой тебе совет — не здесь. Без обид. Все это викторианское дерьмо — сплошь протекающие крыши, крохотные комнатки и никакого ремонта… Да еще и цветных становится больше с каждым днем. Лучше уехать из Лондона в какое-нибудь новое местечко, чистое. Вот у нас, например, смежный дом в Уэлвине. Новенький, никакой паутины по углам, есть небольшой садик, газон, чтобы дети играли, подъездная дорожка. И готов поспорить, что я даже на электричке до работы добираюсь быстрее, чем ты. И он *наш*.

— Звучит отлично, — сухо отвечает Алек. — Правда, здорово, но, знаете, я родился и вырос в лондонском смоге, и я, пожалуй, предпочел бы остаться на старом месте.

— Ты не понимаешь, что теряешь, — говорит Бёрнхем.

— Судя по всему, возможность поболеть за «Лутон Таун» и стать счастливым владельцем живой изгороди, — не может сдержаться Алек.

— Наглый мелкий говнюк, — говорит Бёрнхем, но без злости. — Наглый. Мелкий. Говнюк. Как я и говорил, да? Язык бежит впереди мозгов. Ну,

что ж, дело твое.

Черт, черт, черт, думает Алек.

— Послушайте, Клайв…

— Для тебя мистер Бёрнхем.

— Мистер Бёрнхем, простите. Клянусь вам, я обычно хорошо лажу с людьми. Понимаете, у малыша колики, и мы не то чтобы хорошо высыпаемся. Уверен, вы и сами помните, что это такое.

— Да, да… Знаешь, что я делаю, когда у нас такое случается? Оставляю жену разбираться с этим и иду спать в другую комнату. Досадно, что у тебя такой нет, правда?

– *Touché*, — отвечает Алек.

— Ту-ше? — передразнивает его Бёрнхем. Белоснежные плиточки зубов снова сияют. — Ту-ше?

— Мой отец любил «Трех мушкетеров».

— Не сомневаюсь. Ох, как бы ты вписался в «Таймс», иногда там такое нужно.

Бёрнхем смотрит на него, явно что-то обдумывая.

— Ай, да и черт с ним, — говорит он. — Попытка не пытка, но предупреждаю — не все сразу. Начнем с одной-двух смен, и если все пойдет нормально, то отлично. Но если ты не сможешь, когда надо, держать язык за зубами, вернешься

обратно в эту дыру быстрее, чем сможешь сказать *ту-ше*. Договорились?

— Да, мистер Бёрнхем. Спасибо.

— И сразу забудь про международные новости и всякое такое. В ближайшие несколько лет тебя и близко не подпустят к полосам, которые приходится менять в последнюю минуту. Ты начнешь с придворного циркуляра, судебных отчетов, объявлений и писем. «Невеста блистала в неожиданном наряде из вишневой тафты» — в таком духе. Но даже там тебе нужно будет держать себя в руках. Во всех смыслах. Это тебе не тихое местечко, вот что я хочу сказать. И тебе придется со всем этим справляться.

— Я справлюсь.

— И не дай мне пожалеть об этом, Д'Артаньян.

— Никогда, мистер Бёрнхем. Один за всех и все за одного, мистер Бёрнхем.

— Тогда первая смена в следующий четверг, — говорит Бёрнхем, а затем, повысив голос, бросает: — Можете возвращаться, мистер Хобсон.

Хобсон выходит из-за угла, за которым тактично прятался все это время, и подагрической походкой огибает барную стойку.

— Уже договорились? — спрашивает он.

— Да, — отвечает Бёрнхем. — А теперь я, пожа-

луй, вернусь в цивилизацию. Спасибо за напитки, спасибо, что показали этого вашего языкастого парня.

Он осушает стакан, берет со скамейки фетровую шляпу и удаляется.

— Отлично, Алек, — говорит Хобсон. — Просто замечательно. Не так гладко, как я ожидал, но все равно замечательно. Отличный результат, я за тебя рад.

— Я вам очень обязан, мистер Хобсон, — отвечает Алек. — Сами знаете. Вы так много для меня сделали за все это время, я этого не забуду. Мне тоже пора возвращаться, надо быть на месте через десять минут. Сами скажете в «Газете», что возьмете кого-то еще?

— Да, да, но подожди-ка. Задержись на секундочку, я хочу тебе кое-что сказать.

— Что? — спрашивает Алек, предположив, что его отец, возможно, просил на такой случай передать ему какие-то слова или что-то в этом роде.

— Эм-м… — Хобсон сводит кончики длинных белых пальцев: большими подпирает выдающийся подбородок, а указательными принимается постукивать по носу. — Я хочу тебе сказать вот что…

— Я слушаю.

— Я хочу сказать, в печати тебя ждет большое будущее, и это прекрасно. Вы с Сандрой хорошо устроитесь, я помог тебе всем, чем мог. Но ты смышленый парень, и я хочу сказать, то есть я, по меньшей мере, просто должен тебя спросить: ты действительно этого хочешь?

— Хочу ли я? — переспрашивает Алек, мысленно находясь уже где-то в конце Маршалл-стрит.

— Знаю, я давно должен был спросить. И я понимаю, менять что-то сейчас было бы рискованно. Но ты еще молод. А печатные станки уже нет. Я не могу отделаться от этой мысли.

— Простите, не улавливаю, — отвечает Алек, глядя на часы.

Может, он пьян? — думает он. *С одного виски вряд ли.*

— Линотипы. Они не менялись, сколько я себя помню. Они старые. Они древние. И тебе придется сидеть за ними. Может статься, ты просидишь за ними всю жизнь, как я.

— Не самая плохая жизнь, — как можно деликатнее отвечает Алек.

— Вовсе нет! Нет! Но, господи боже, приятель, у тебя же такой умище, как у твоего отца. По крайней мере, насколько я могу судить. Ты мог бы заняться чем угодно, мог бы сделать что-то

новое.

Алек едва сдерживает раздражение. Шесть лет в учениках, четыре года в «Газете» — десять лет он погружался в это дело все глубже и глубже, а старый дурак решил завести этот разговор только сейчас? Во всех его «мог бы» Алеку слышатся отголоски вымышленного мира, в котором этих десяти лет просто не было. В котором нет Сандры, нет малыша Гэри, нет уже принятых решений, пройденных путей, нет удушающей нужды, когда надо покупать продукты. Какую такую другую жизнь ему пытается нарисовать Хобсон? Теория, иллюзия, фантом, ради которых нужно отбросить все настоящее. Старый дурак. Но он не будет огрызаться на него, не будет. Не сегодня. Сегодня ему есть за что быть благодарным.

— Все прекрасно, — говорит он. — Вы же знаете, мне это все нравится.

И это правда. Вернувшись в «Газету», он включает машину, и, пока горит красная лампочка, показывающая, что типографский сплав еще не достиг точки плавления, он просматривает тексты: отчеты мирового суда, а следом за ними небольшие рекламные объявления.

— Ну что, Лен… — обращается он ко второму наборщику, который уже барабанит по клавишам.

— Что, получил работу? — спрашивает Лен.

— Да.

— Молодца, — говорит Лен умиротворенно.

Алек ждет, он знает, что вот-вот впадет в состояние, в котором будет пребывать весь остаток дня, когда минуты то бегут, то растягиваются, но часы при этом незаметно ускользают. На мгновение он вспоминает слова Хобсона и ловит себя на мысли, что просто сидит и ждет. Он внимательно вглядывается в линотип — махину размером с пианино, только сделанную не из гладкого блестящего дерева, а из множества смазанных, замысловатых, металлических деталей, выдыхающую дым и пар. И она его восхищает. Тысячи соединенных между собой частей, множество импульсов, отзывающихся на прикосновения его пальцев, и место наборщика, которое можно сравнить с троном, ни больше ни меньше. Он возведен на престол. (Зеленая лампочка.) Он король машины. Его взгляд сужается до строчки текста и клавиатуры с девятью десятками черно-сине-белых клавиш. Каждая клавиша, которую он нажимает, выталкивает бронзовую буквенную матрицу из магазина наверху, где остальные ждут, собравшись в столбики — длинные, как струны пианино. Щелчок, скрежет — и

медная матрица падает на свое место в наборном отделении, которое располагается на уровне его глаз. Но, прежде чем она падает, успевает пройти короткий, но значительный отрезок времени, так что к тому моменту, когда она попадает на место, он успевает нажать следующую клавишу и отправить следующую матрицу в путь. Когда он разгоняется — левой рукой перебирая строчные, правой — выделяя заглавные, прыгая обеими в центр за знаками препинания и цифрами, — машина выдает ему матрицы с ощутимой задержкой, в безукоризненно точном порядке, но на две-три буквы отставая от его стремительных пальцев. А это значит, что если он разогнался, то не может проверить, докуда дошел, глядя на выстраивающийся перед ним медный ряд. Ему нужно держать это в уме, переключать внимание, как курсор, с-о-д-н-о-й-б-у-к-в-ы-н-а-д-р-у-г-у-ю. В конце строки шириной с колонку он прислушивается к скрежету металлического снегопада, и, когда тот заканчивается, он нажимает на кнопку окончания строки, которая приводит остальные части машины в нарастающее, возвратно-поступательное движение. Матрицы прижимаются друг к другу и фиксируются. Первый подъемник опускает их в жидкий сплав (*пш-ш-ш*) и вытас-

кивает (*клац*). Второй подъемник доставляет их в верхнюю часть машины и отправляет на транспортер, который отгружает их к нужному месту в магазине, и они падают, каждая в свою колонну, готовые к повторному использованию (*дзинь*). Но он не обращает внимания. Он уже давно набрал следующую строку, и за ней еще одну. Он замечает лишь неизменную сложную симфонию, которую исполняет работающий в полную мощь линотип. *Щелк-тррр-клац-клац-кххх-пшш-ффить-жжж-дзинь*. Непрекращающийся, синкопированный ритм, в котором звуки почти всегда накладываются один на другой. За этими механическими звуками нужно неустанно следить, не теряя при этом концентрации, потому что любое отклонение или пауза может означать, что Папаша Линотип вот-вот может плюнуть тебе на ноги расплавленным металлом. Не считая этой задачи, его внимание следует за пальцами, танцующими над ОЕНАИ СТМВ — самыми крайними и самыми часто используемыми буквами на клавиатуре, а слева от него собираются первозданные, блестящие ярче серебра раскаленные металлические строки, слова, которые мгновение назад были лишь смазанным следом пишущей машинки или чернил, пока Алек, король и алхи-

мик, не преобразил их.

Вэл

«Я слишком стара для такого», — думает Вэл, опасливо цепляясь за Алана. Мопед гудит, как гигантский улей, в воздухе воняет бензином, у нее раскалывается голова, а по бокам мелькают вишневые сады, коровы и прочие сельские атрибуты, пока они несутся по какому-то шоссе в плотном потоке выходного дня.

— Все нормально? — кричит Алан, ухмыляясь через плечо.

— Да, все классно, — отвечает она.

Стоило настоять на поезде. И не стоило надевать розовый мохеровый свитер с этими широченными рукавами, который собирает на себя дорожную пыль и на который Алан пролил чай, когда они два часа назад остановились перекусить. И вообще не надо было соглашаться на эту поездку в Маргейт. Да, он милый парень, и, да, они несколько недель улыбались друг другу в магазине, но ему всего девятнадцать. А когда утром она, как договаривались, подошла к гаражу под железнодорожными арками, выяснилось, что он самый старший в этой компании мальчиков с мопедами и девочек с начесами, собравшихся в

Маргейт. Рядом с этими куклами она чувствует себя теткой, и, надо сказать, не только она. Они оказалась в компании восторженного юного племени, но она одета не так, как нужно, и все глядят на нее, как на чью-нибудь приставучую тетушку.

Алан что-то говорит, но в этот момент их обгоняет грузовик, и его слова тонут в грохоте и шуме.

— Что? — практически визжит она.

— Говорю, почти приехали! Еще пару миль! Но тут есть потрясное кафе, мы всегда там останавливаемся. Заедем?

— Хорошо.

— Что?

— Да! Супер! Если хочешь, давай!

Вообще-то в этот момент они уже сворачивают с дороги в компании остального выводка и заезжают на парковку, которая сплошь заставлена мопедами. Ну, а как же еще. Кафе представляет собой небольшое здание из красного кирпича с высокими окнами. За стойкой — супружеская пара, на чьих лицах явно читается, что они не совсем *понимают современную молодежь*. Но, несмотря на это, они весьма бойко продают им всем яйца с жареной картошкой, тосты с печеной фасолью, апельсиновый лимонад и молочный

«Нескафе» в прозрачных стаканчиках, едва успевая при этом открывать и закрывать кассу, — принимая полукроны и десятишиллинговые купюры от этой слегка устрашающей банды, они, как-никак, зарабатывают себе на жизнь. Она могла бы привлечь их внимание, но не будет. Вместо этого она уходит в туалет, пока Алан и его компашка вихрем врываются в другую кучку таких же детей. В туалете девчонки, разбившись на небольшие группки, жмутся друг к дружке, смеются, что-то щебечут, и, чтобы поправить помаду, ей приходится силой протискиваться к зеркалу, где уже стоит какая-то сопливая мадам, явно переборщившая с тенями, отчего сильно напоминает енота.

На обратном пути она видит, что Алан стоит у музыкального автомата, и замечает, что к компании присоединился еще один парень. Он сидит на пластиковом стуле, широко разведя колени, словно его вообще не беспокоит, сколько пространства он занимает в мире, а между тем кафе настолько переполнено людьми, что вот-вот лопнет, и все остальные вынуждены тесниться. Что бы ему ни говорили, он лишь кивает головой или издает неопределенные «угу» и «м-м-м», не разжимая темных, припухших губ. Смотрит

прямо перед собой так, словно ему невыносимо скучно. Глаза у него большие и темные. И он красиво одет. Правда, *красиво*: на нем костюм переливчатого синего цвета с узкими лацканами и зауженными брюками. Должно быть, он стоил ему пару зарплат, потому что явно сшит по меркам. У него острые скулы, гладкие черные волосы и презрительный взгляд — никого красивее она не видела примерно никогда. Даже козлина Невилл не был так хорош. По сравнению с ним образ прощелыги, который разыгрывал Невилл, внезапно показался ей очень натянутым и второсортным, хоть он и помог ему в свое время залезть к ней в трусики. Рядом с этим парнем бедолага Алан, розовый взмокший добрячок в хлопковой рубашке, кажется не привлекательнее куска консервированной ветчины.

— А, вот ты где, — говорит Алан. — Взял тебе сэндвич с беконом. Это Майк. Оказывается, он тоже из Бексфорда.

— М-м-м, — протягивает Майк, глядя на нее.

— Забавно, что мы ни разу не пересекались, да? — говорит Алан.

— М-м-м, — повторяет Майк, не сводя с нее глаз.

— Да, — отвечает Вэл, глядя на Майка в ответ. —

Я бы запомнила.

— М-м-м.

Одна из девчонок с начесом начинает хихикать.

— Ну, что, — говорит Алан, глядя то на Вэл, то на Майка. — Нам, наверное, пора ехать, да, пупсик? Ты не против доесть на ходу?

— Я не голодная, — отвечает Вэл.

— Она не похожа на пупсика, — внезапно произносит Майк. — Мне так кажется, приятель.

Он говорит в нос, как истинный уроженец южного Лондона, его голос вибрирует, как пила, словно идет откуда-то из полости между темных бровей. Закончив фразу, он поджимает губы и кривит их в усмешке.

— Э-э, ну, неважно… — говорит Алан.

— А ты что скажешь? — спрашивает Майк. — Ты его пупсик? Типа птичка? Или маленькая собачка?

— Нет, — отвечает Вэл.

— М-м-м.

— У меня голова болит, — говорит Вэл. — Раскалывается, правда.

— Да? — спрашивает Майк.

— Да. — Она бы с радостью вытянула эту гадкую боль спиралью из головы и сунула ему в лоб, в то

место, где резонируют его слова, чтобы разделить с ним это противное ощущение пустоты. Чтобы их головы превратились в смежные, тошнотворно пустые комнаты.

— Жаль, — говорит Майк, вздернув брови. Внезапно он встает, плавно и грациозно, точно марионетка, и протягивает руку к ее лицу. На секунду кажется, будто он прочел ее мысли и, не дождавшись, пока она отдаст ему свою боль, тянется большим и указательным пальцем, чтобы забрать ее самому. Но нет, вместо этого он протягивает ей голубую треугольную таблетку. — Вот, возьми, полегчает. Может быть.

— О-у, — неуверенно произносит Алан.

Но она берет таблетку и, не задумываясь, глотает, не запивая, чувствуя в глотке меловой вкус оболочки. Майк, не оборачиваясь, поднимает другую руку и качает пальцем — и жест этот обращен к стоящему у него за спиной Алану. *Не-а.*

— Увидимся, — говорит он и решительным шагом направляется к выходу.

Снова сидя на мопеде, упираясь в напряженную, взмокшую спину Алана, Вэл пытается быстренько собраться с мыслями. Она не то чтобы очень хорошо знает Алана. Она не его подружка. Нет. Она не… Но сейчас они несут-

ся по склону, вокруг вырастают белые домики Маргейта, впереди блестит море, и неизвестная таблетка начинает действовать, моментально растворившись в пустом желудке. О да, головная боль проходит, словно туча, оставшаяся позади. Тревога тоже давным-давно исчезла из поля зрения. Сегодня не день для тревог. Солнце сияет. Припаркованные машины блестят, словно их только-только покрасили и отполировали. Куда бы она ни посмотрела, ее взгляд постоянно цепляется за что-то поразительное, что-то новое, что-то выдающееся. От этого мысли у нее в голове пускаются вскачь, и стоит ей, вздрогнув, очнуться от них, как ее привлекает что-то другое — промелькнувшая вывеска химчистки или пестрый цветок у кого-то на подоконнике. Мир вокруг словно пинбольный автомат — ее мысли прыгают, мечутся, сталкиваются, рикошетят туда-сюда-туда-сюда-туда-сюда. Или…

Алан останавливает мопед на пятачке, где уже жмутся все остальные. Она никогда прежде не замечала, как в боковых зеркалах мелькает свет, мозаика маленьких отражений всего, что вокруг, — раздробленный океан, искусно пойманный овальными блюдечками на ножках.

— Как пинбол, скажи ведь, — говорит она.

— Чего говоришь? — спрашивает Алан.

— Ты похож на ветчину, — отвечает она. — На отличную ветчину. Да, мы встретились в магазине, но ты был не в мясном отделе, а в хозяйственном. Какая жалость. Но, если честно, только не обижайся, я бы все равно на тебя не позарилась.

— Эй, что с тобой? — Алан краснеет.

— Она декседрин съела, что ли? — спрашивает одна из начесанных.

— Я просто веселюсь, — говорит Вэл. — Первый раз за день, если честно. Знаешь что, Алан? Алан, Алан, старина, знаешь, что? Тебе надо встряхнуться! Смотри на жизнь с этим, как же его… Что же это за слово, на языке вертится… Тебя не бесит, когда такое случается? Как будто дырка в голове, да? Ха-ха! Мозг дырявый, как сыр. Или как решето.

— Вот черт, — ёмко заключает Алан.

— Ты лучше усади ее куда-нибудь. Дай ей чаю или еще чего-нибудь. С ней такое явно в первый раз.

— Да мы же только приехали, — говорит Алан. — Я ей не нянька. Я хочу спуститься к воде. Девчонки, может, вы присмотрите за ней, а?

— Ну ты и наглец. Сам ее притащил, сам с ней

и возись.

— Ну, пожалуйста. Всего пару минут. Ну, вы чего?

Главная начесанная бросает на Алана презрительный взгляд и выплевывает жвачку на палец с ногтем цвета телефонной будки, а затем демонстративно прилепляет ее на сиденье мопеда.

— Эй, полегче, — говорит Алан. — Поосторожней с обивкой.

— С обивкой! — верещит начесанная и вместе с приятелями разражается хохотом.

— Эй, — встревает Вэл, которая немыслимо долго ждала окончания этого чрезвычайно нудного диалога. — Эй, эй, эй, эй. Эй! Знаете, что? Идите на хрен!

— Само очарование.

— Вэл… — начинает Алан.

Но Вэл, широко улыбаясь, отступает на запруженный людьми тротуар, и больше ей ничего делать не нужно. Ее подхватывает поток отдыхающих, и обеспокоенное лицо Алана, как и недовольная гримаса девчонки, в мгновение ока отдаляются, усыхают до розовых крошек, а затем и вовсе исчезают — с глаз долой, из сердца вон. Тут же у нее перед глазами снова возникают разные предметы, в то время как толпа уверенно

подталкивает ее вперед, точно сам океан взял ее под локти, поднял над галькой и покачивает на волнах.

Здесь есть и настоящий океан. С боковых улочек на главную, бегущую вдоль берега, потоками стекаются люди. И когда она сворачивает — когда сворачивает толпа, — вдали уже виднеется пирс, врезающийся в горячую голубую воду, и все изгибы длинного маргейтского пляжа, усеянного телами людей. По пути туда поток движется бодро, слегка покачиваясь, но удерживая ряды, а ближе к воде распадается на отдельные сгустки купающихся, детей с резиновыми кругами и бабушек, придерживающих платья и растирающих косточки на ногах. Между ними люди тесно спрессованы и едва двигаются, как зубчики на расческе. Три разные плотности, три разных вида движения. Она наблюдает за всем этим с некоторым приятным нетерпением. На что бы она ни взглянула, ей кажется, что она смотрит на это уже очень долго, слишком долго. Тогда она переводит взгляд дальше, но как только он за что-то цепляется, ей кажется, что прошла вечность. Но ей не хочется ничего делать, хочется лишь впитать как можно больше растянутых мгновений этого дня.

Она видит, как в кукольной будке на конце

пирса блестит щека Джуди из папье-маше, по которой лупит палкой мистер Панч, а голосящие дети, сбившись в толпу, со страхом хватаются за головы. Она видит женщин, старше ее на пять, десять, двадцать или ноль лет, которые натирают детей кремом, вытирают носы, подсушивают полотенцами волосы и передают сэндвичи. Она видит задремавших отцов; злых отцов; спокойных отцов; отцов, читающих новости о скачках. Она видит целые лагеря семей, разбитые на шезлонгах.

Она видит, как по асфальту из-под вафельного рожка, торчащего вверх, словно тонущий Титаник, растекается ярко-желтый шлепок ванильного мороженого, выпавшего из липкой, растопыренной пятерни ребенка. Она видит покачивающийся саржево-синий сгусток наглухо застегнутых полицейских, тяжело вышагивающих вдоль дороги. Она видит голубые рубашки и сине-серебристые, блестящие на солнце шлемы полицейских, вызванных для подкрепления и ждущих своего часа у фургонов. Она видит щетину на розовых шеях мужчин за сорок, которые приехали к морю при галстуках и теперь, зажав в пальцах сигареты, крутятся вокруг полицейских фургонов, как группа поддержки в ожидании

какого-нибудь вопиющего беспорядка, чтобы можно было бурно возрадоваться, когда порядок будет восстановлен.

А между всем этим — значительно проигрывающие числом мелкодисперсной массе людей, густой, как куст кресс-салата, растущего на подоконнике, — неуклюже, неуверенно движутся маленькие ручейки парней и девушек, ищущих друг друга и ждущих. Чего? Внимания? Когда на них не направлено внимание, они сконфуженно ухмыляются, толкаются плечами, протирают солнечные очки, передают друг другу чипсы, роняют их, поднимают и пытаются сдуть налипшие песчинки. Но когда на них смотрят — когда семьи или мужчины в галстуках поворачивают к ним головы, когда полицейские двигаются в их направлении, они, кажется, точно знают, что делать. Подпитываясь неодобрением, они разыгрывают потасовки в отдельных маленьких группках и кластерах. Толкаются, нерешительно начиная заварушку. Сбивают друг друга с ног, сцепившись, катаются по земле, задевая лежаки и силясь высвободить руки, чтобы нанести следующий неуклюжий удар. То тут, то там кому-то разбивают нос. Мамочки возмущенно вскакивают, мужчины в галстуках тяжело качают

головами, взопревшие полицейские врываются и растаскивают парней за воротники, пока те машут руками и ботинками оставляют борозды на песке. Зрелище не захватывает. Похоже на размеренное волнение закипающей в кастрюле овсяной каши. Закипающая каша происшествия.

Но затем ее взгляд выхватывает какое-то иное движение в одной из борющихся групп: кто-то в костюме переливчатого синего цвета, кто находится в центре заварушки, но не задавлен ей, двигается легко, взвешенно и грациозно. На конце изысканного синего рукава блестит что-то похожее на металлическую расческу, и в какую бы сторону она ни направилась, она рассекает, расщепляет, разделяет толпу. Перегнувшись через ограждение набережной, Вэл видит Майка. А он в ту же секунду замирает, аккуратно придерживая кончиками пальцев свободной от расчески руки подбородок какого-то сонного вихрастого парня. Он видит, что она видит. Он ухмыляется. У нее под ребрами что-то сжимается и перекручивается, а в промежности — пульсирует и расслабляется. Внезапно время приходит в себя и, вместо того чтобы с опозданием прыгать с кадра на кадр, снова соглашается вернуться в привычный ритм. В этом ритме Майк кружится,

качается из стороны в сторону и припечатывает заторможенного парня в челюсть заостренным носком ботинка. Как будто что-то хрустит, как будто мелькает кровь, но до них далеко, и сила удара отбрасывает парня в гущу драки, и он растворяется, словно его никогда и не было, и теперь все ее внимание занято изящным и точным движением ноги, и Майк поворачивается к ней, как танцор, театрально раскинув руки, словно говоря: «Ну что, понравился тебе мой трюк?»

Она не знает. Она об этом не задумывается. Ей нравится *он*. Это, должно быть, написано на ее восхищенном лице, потому что он отделяется от дерущейся толпы и непринужденно направляется к ней, на ходу засовывая расческу в нагрудный карман, стряхивая пыль с переливчатых синих лацканов и игнорируя крики за спиной, словно драка больше не имеет к нему никакого отношения. Он все еще ухмыляется.

— Ты как, в порядке? — спрашивает он.

— Да, спасибо, — отвечает она. — Голова прошла.

— И от своего парнишки ты тоже избавилась, я смотрю.

— Он не мой парнишка, — говорит Вэл.

— А он знает?

— Да. Определенно.

— Ну, тогда… — Майк собирается с мыслями. — *Тогда…*

— Что?

– *Тогда*, миледи…

— Что? — смеется Вэл.

— Не желаете ли чипсов?

— Может быть, — отвечает Вэл.

— Недотрога, да? — спрашивает он.

— Нет, — отвечает она, глядя в его огромные глаза. — Совсем нет.

Майк, который до этого шел рядом с ней, театрально сгибая и разгибая запястья и шею, что выглядело достаточно угрожающе, останавливается.

— Как тебя зовут? — спрашивает он. Она называет свое имя. — Мне нравится. Такое старое, доброе. Не то что вся эта американская хрень.

Его длинная рука с аккуратно подстриженными ногтями тянется к ее лицу. Он легонько касается ее лба, потом кончика носа, а затем — губ.

— А что была за таблетка? — спрашивает Вэл и, произнося эти слова, открывает рот и пускает его теплую сухую кожу, ноготь и кутикулу чуточку глубже, позволяя пальцу устроиться на подушечке нижней губы. Мимо проезжает полицейский

фургон.

Чайки, тележки с мороженым, болтающие семьи, кряхтящий автобус.

— Я поднял на тебя руку, — говорит Майк.

Кончиком языка она касается кончика его пальца. Майк моргает.

— Тогда пошли, — говорит он и присваивает ее. Но не обнимает за талию, не целует и не берет под руку. Он совершенно недвусмысленно хватает ее за локоть и ведет — совершенно недвусмысленно — прочь с шумной набережной, на первую же боковую улицу и дальше, на улочку поменьше, полную маленьких магазинчиков, и еще дальше — в переулок, зажатый между стенами с каменной крошкой, где нет ничего, кроме пары мусорных баков.

— Что? — Она задыхается, посмеиваясь. — Что мы…

Но он совершенно недвусмысленно кладет руки ей на плечи и опускает ее на колени, на землю рядом с мусорными баками.

— Давай? — спрашивает он.

Она не знает, на что он спрашивает согласия. Это совсем не похоже на то, как ведут себя парни, которые тебя хотят. Они всегда хотели потрогать, распустить руки, прижаться и скользнуть мок-

рыми нервными ладошками к ней под одежду. Козлина Невилл чуть ухо ей не ошпарил своим дыханием. Но Майк с его «давай», которое могло в своей жадности сравниться с ладошками любого парня, отклоняется назад, подальше от нее. Синие плечи откидываются на щербатую штукатурку, красивое лицо смотрит в сторону, а ноги расставлены, словно он не желает приближать к ней никаких других частей тела, кроме единственной точки соприкосновения, возбужденной радостями праздничного выходного дня и приведшей его к ней навстречу. Он выставляет вперед бедра, кладет руку ей на затылок и… ох. Хочет втолкнуть что-то прямо ей в голову.

Ждать приходится недолго. Солоноватый вкус, как кровь, но с пресным привкусом железа.

Майк протягивает ей носовой платок в тон костюму и застегивает брюки.

— Спасибо, прелесть, — говорит он. — Так что насчет чипсов?

Верн

Может, стоило остановиться на кафе «Роял»? Когда дверь такси открывается, путь до ступенек «Тоноцци» кажется Верну таким долгим, что он почти готов дать заднюю. Да и непонятно, оценит ли Маклиш это малоизвестное, жутко дорогое место, где бывала сама королева? Про кафе «Роял» футболисты знают. Их приглашают туда вместе с женами, когда они выигрывают кубок. Там позолота, бутылки игристого, делающие *ф-фух*, снимки для газеты. Пожалуй, именно так выглядит их представление о «классе», о высших кругах. Да, стоило пригласить его туда. Или в какой-нибудь ночной клуб, где собираются аристократы и мафиози. Не считая, конечно, того, что, если бы Маклиш в Сохо взялся играть в баккара, это могло бы закончиться бог знает чем, да еще обойтись в сумму, которую Верн определенно не может себе позволить. Здесь же все точно подсчитано, точно спланировано, а нужная сумма уже наскреблась заранее. Это его единственный шанс произвести впечатление невозмутимого, беспечного богача. Уже слишком поздно придумывать что-то другое. *Просто не*

облажайся, говорит он себе. Неловко двигаясь в бледно-голубом костюме с ослепительно-белыми манжетами, он спешит к дверям в окружении концентрированного облака лосьона после бритья с Маклишем на хвосте.

— Бронь на час дня. На имя Тейлор, — обращается он к метрдотелю, трущемуся чуть ли не в проходе. Он не пытается придать лоска голосу, замаскировать сквозящий в нем южный Лондон. Нет, скорее, наоборот. Верн может изобразить представителя офицерского класса, если захочет. Неочевидное преимущество службы в армии — из кухни очень хорошо слышно, как всякие Руперты и Хьюго снова и снова произносят гласные так, как они звучат у них в богатых графствах. Но сейчас не время демонстрировать чудеса дикции. Что сейчас нужно, так это обезоруживающая простота выскочки, беспардонно врывающегося в святилище, растопырив локти. Вы только посмотрите на него! Он мог бы быть уличным фотографом, шокирующим модный мир! Молодым и деятельным гением из мира рекламы! Парнем из звукозаписывающей компании, который одним пальцем управляет ритмом! Молодым продюсером, прорвавшимся на Вэст-Энд из бэкингемширской кинокомпании!

Большой шишкой в коммерческом телевидении! Это все не про него, но, в конце концов, *они-то этого не знают*, напоминает себе Верн.

— Разумеется, мистер Тейлор, — отвечает человечек на побегушках, как только находит имя в книге бронирований, похожей на фотоальбом, который мог бы быть у кого-нибудь с фамилией Чамли или Фэншоу. — Марио вас проводит. Наслаждайтесь ланчем, джентльмены.

— Превосходно, — невозмутимо бросает Верн и устремляется в сторону винтовой лестницы вслед за другим лакеем, но, сделав всего пару шагов, понимает, что где-то потерял Маклиша. Он останавливается у лестницы и, глядя из роскошного полумрака на главный вход, обрамленный силуэтами лепестков, свисающих из цветочных корзин, сквозь который проглядывает яркий сент-джеймский день, видит, что его гость колеблется возле дверей, не решаясь войти. Маклиш смотрит на фасад, ссутулив плечи, и крутит пуговицу пиджака, что всегда означает тревогу. Раз он оценил это место настолько, что оно его напугало, может статься, что Верн и не прогадал, и теперь может великодушно освободить его от этого страха.

— Давай, Джо! — кричит он через плечо. — Ни-

кто тебя не съест!

И Маклиш, слегка втянув голову, преодолевает ледяное силовое поле метрдотеля с едва заметной, почти извиняющейся улыбкой.

В бывшем подземном хранилище под «Тоноцци» все еще сохранились следы джаз-клуба в стиле ар-деко, коим он был до войны, когда аристократы и чернорубашечники Муссолини и аристократы, которые были чернорубашечниками Муссолини, танцевали чарльстон на до блеска натертом паркете. Но с тех пор над этим местом возобладал добродетельный мэйфейрский вкус, накрыв все пресной цветочной волной. Теперь тут везде сплошь белый лен, а на круглых столиках стоят маленькие букетики фрезий. Официант усаживает их на маленькие позолоченные стулья неподалеку от лестницы, и Верн чувствует себя великаном. Но он чувствует себя великаном везде, это факт. Он так долго ждал, когда вырастет и превратится в одного из тех изящных молодых ребят с длинными ногами, но сколько бы он ни прибавлял в росте, а сейчас он был уже под шесть футов, он пропорционально увеличивался и в ширину. При любом росте он останется огромным, квадратным куском мяса с маленькими острыми глазками на лице шириной со щит. Он

ходит в старый бексфордский спортзал не столько для того, чтобы поупражняться в спарринге, от которого он лишь потеет и задыхается, сколько чтобы часами зависать у груши для спидбола. На улице он никого не догонит, но если кто-нибудь добровольно окажется в зоне досягаемости его кулака, он сможет его уложить. А его габариты придают ему значимости, даже авторитета, что в целом компенсирует его возраст. В глазах окружающих он не двадцатитрехлетний, в их глазах он — *немаленький*.

Официант приносит красные меню, тоже напоминающие какие-то фамильные реликвии Чамли-Фэншоу. Маклиш, вцепившись в свое, выказывает новые тревожные знаки. Меню, разумеется, на французском. И снова, боже храни Армейский корпус общественного питания. Спасибо тебе за возможность наблюдать за сержантами-поварами, усердно печатающими потными пальчиками меню для офицерской столовой в лимассольской духоте. *M-i-l-l-e-f-e-u-i-l-l-e-s*.

— Так они выделываются в этих местах, скажи? — подчеркнуто серьезно говорит Верн. — В самом верху печень, потом стейк, потом палтус, а потом лобстер.

— Ага, — говорит Маклиш. Он расслабляет

запястья, а темные глаза перестают тревожно метаться по сторонам. — Ага…

— Почему нельзя просто так и написать?

— Точно, — говорит Маклиш. — Знаешь, я ни разу не ел лобстера.

«Черт», — думает Верн, остро осознавая исчерпаемость содержимого своего бумажника в левом кармане брюк.

— Ну, так давай, — говорит он. — Вот тебе и возможность. Они тут прекрасно его готовят, подают со всеми специальными французскими соусами и особыми приборами, чтобы вскрывать панцирь. — Верн задерживает дыхание.

— Не, — отвечает Маклиш. — Знаешь, я просто возьму стейк.

— Отличная идея. Я тоже, — говорит Верн. Он подзывает официанта. — Два антрекота медиум, пожалуйста, и бутылку «Кот-дю-Рон» шестьдесят второго. Ты не против, Джо?

— Нет, отлично, — говорит Маклиш. Теперь, когда кризис миновал, официант удалился и опасность оказаться разоблаченным в том, что он не понял ни слова, осталась позади, он откидывается на спинку маленького золотого трона, раскидывает широченные ноги, похрустывает шеей и, вытянув вперед длинный подбородок,

приготавливается к тому, что сейчас его будут развлекать. Симпатичный парень: черная копна волос и голубовато-белая кожа истинного шотландца. — Вот это местечко, а?

— Это точно, — говорит Верн. — Одни графы и графини. Сплошные титулы, куда ни плюнь. И знаменитости всякие приходят.

— Правда? — спрашивает Маклиш. — Кто, например?

— Ну, например, ты, — скалится Верн.

— Да иди ты, — говорит Маклиш, и он, конечно, прав. У него нет и толики известности, которая хоть как-то могла бы оправдать его пребывание в этом месте. Запасной нападающий клуба четвертого дивизиона — «Миллуолл» подписал с ним контракт всего десять месяцев назад. За это время он успел ощутить ту строго местечковую славу, распространявшуюся на Бексфорд, Нью-Кросс и Бермондси, где работяги из доков покупали ему пинты, а он в ответ был вынужден выслушивать подробные рассказы о том, где и как именно в этом сезоне налажала команда, а потом по субботам дочери этих самых работяг строили ему глазки. Но ему по душе эти подколки Верна, присыпанные комплиментами. По нему видно, что он привык к некоторому избытку женского

внимания, — он и здесь оглядывается по сторонам, скорее всего, просто машинально, чтобы проверить, не встрепенулась ли какая-нибудь барышня. Не тут-то было. Самыми молодыми дамами из тех, что обедали сегодня в «Тоноцци», были прилизанные мэйфейрские барышни лет за тридцать в туфлях-лодочках и жакетах без воротника, которые, смеясь, сдвигали на бок породистые, плотно сжатые колени. В ответ на свой воодушевленный взгляд Маклиш получал в лучшем случае вздернутый нос. Вернее, не совсем. Парочка женоподобных, точно полусонных, пареньков по другую сторону от лестницы разглядывали его с нескрываемым удовольствием, но на этом лучше не заострять внимание.

— Ну ладно. Например, тут бывает королева.

— Серьезно?

— Ага. Серьезная и величественная.

— Вот это да, — говорит Маклиш.

— И ты. Ее величество и ты!

— Иди ты! — отвечает Маклиш. Ему девятнадцать. — Мать удар хватит, когда я ей расскажу.

— Хорошо, — благодушно говорит Верн, даритель похвалы, достойной маминых ушей, — главный на этом празднике жизни.

Тут, как раз вовремя, возвращается официант

с бутылкой вина, наливает немного на пробу в бокал, стоящий рядом с Верном, и после выразительного кивка следует церемония разлития и наполнения бокалов для воды — ритуал хрустального звона и бульканья, перед лицом которых Маклиш снова умолкает.

— Твое здоровье, — решительно говорит Верн. Они чокаются бокалами.

Пока Маклиш осторожно делает первый глоток, Верн, подавшись вперед, тихо произносит:

— Может быть, она сидела на этом самом стуле. Вполне может быть, что ты сейчас сидишь на отпечатке монаршего зада.

Маклиш закашливается и втягивает голову в плечи.

— Полегче, — говорит Верн, — винишко-то не выплевывай. Фунт за бутылку, в конце концов.

— Черт побери, нельзя так говорить, — шипит Маклиш. — Не здесь… — Он определенно покраснел и озирается по сторонам, словно из тени вот-вот неминуемо появится полиция снобов и его схватят.

— Можно, черт побери, — отвечает Верн, хотя и сам строго следит за своим голосом и наблюдает за обстановкой. — И даже, черт побери, нужно.

— Что ты имеешь в виду?

— Я имею в виду, — говорит Верн, откидываясь на стуле так, чтобы его светло-голубые лацканы, ослепительная нейлоновая рубашка размера XXXL и шелковый бирюзовый галстук заполнили всю картинку перед глазами Маклиша своей несокрушимой надежностью. — Эти люди, это место — всё это очень мило, но их время прошло. Это вчерашний день. А меня не интересует вчерашний день. Я смотрю в будущее. Оглянись! За кем тут будущее, м? А я тебе скажу: не за ними, черт побери. За нами! Кто здесь будущее? Мы.

Он бросает на Маклиша исполненный решимости взгляд. Такой же, какого в спортзале удостаивается груша для спидбола. Парень ежится, но при этом его распирают эмоции. Он впечатлен.

Появляются стейки. Их подали с круглыми, упругими шампиньонами, но после неудачной попытки наколоть один из них на вилку, когда гриб просто выскользнул из тарелки, испачкав скатерть, Маклиш оставил идею их попробовать. Но нежное мясо легко покоряется ножу, и он, воодушевленный речью Верна, игнорирует грибы, жует, глотает вино и перехватывает инициативу.

— Так ты собираешься открывать рестораны, Верн?

— Определенно, — говорит Верн. — И уж точно что-нибудь посовременнее. Чтобы было светло, просторно и никаких вот этих старомодных штучек, ну ты понимаешь.

Маклиш с ухмылкой кивает.

— Но это второй этап, до него надо дойти. Идея в том, чтобы завоевывать мир постепенно. Сначала идут здания. Например, жилые дома — с ними не прогадаешь, жилье же всем нужно.

Он достает бумажник и протягивает Маклишу крупную визитку кремового цвета. «Гровенор Инвестментс» — самое солидное имя, которое он только мог придумать для компании, располагающейся над забегаловкой в восточном Бексфорде.

— Ты будешь строить дома? — спрашивает Маклиш.

— Пока нет. Я планирую их покупать и сдавать в аренду.

— Хочешь сказать, что будешь домовладельцем? — говорит Маклиш разочарованно и даже с некоторым неодобрением. — Отец говорит, что все домовладельцы — троглодиты. Как тот тип, Рахман. Читал в газетах, как он натравил на детишек здоровенных собак.

— Нет-нет-нет, — тут же парирует Верн. — С

этим покончено. Новый закон, который только что приняли, положит всему этому конец. Вырвет с корнем.

К слову сказать, новый закон об аренде положил конец и всем строительным фирмам-однодневкам, с помощью которых такие люди, как Верн, не имеющие никакого капитала, могли легко наложить лапы на ипотечные ссуды. Но он об этом не заикается.

— Это мой шанс, понимаешь? Все эти жулики и троглодиты теперь вне игры, потому что на этом больше не наживешься.

— Но разве ты не хочешь на этом заработать?

— Я хочу заработать, — отвечает Верн. — И я заработаю. Потому что знаю как. Смотри, есть бексфордская Хай-стрит, есть Нью-кросс-роуд, есть центр Депфорда и Левишема. Сколько там домов с магазинами на первом этаже и квартирами на втором? А я тебе скажу: тысячи. Буквально тысячи. И купить их можно за бесценок. А кто получает арендную плату с владельцев магазинов? Тот же, кому платят жильцы, — домовладелец. Бог с ним, что старушка сверху платит гроши, потому что закон об аренде не распространяется на нижние этажи, не затрагивает магазины. Там-то и кроется маленькая золотая жила. Деньги с

аренды первых этажей покрывают все расходы на приобретение дома, и этого, и следующего, и так далее, пока в один прекрасный момент тебе не будет принадлежать вся чертова улица.

— Ну, не знаю, — неуверенно отвечает Маклиш. Верн практически видит его мысли. Тот представляет вереницу бексфордских мясных лавок, захудалых овощных магазинчиков, сомнительных торговцев подержанной мебелью и заплесневелых газетных киосков, и ему явно сложно поверить, что где-то там может прятаться хоть какое-то подобие золотой жилы. — Я думал, это будет что-то… Ну, поновее. Ты же сам сказал…

— Будет, — наседает Верн. — С этого все начнется. С обычной улочки, с обычного магазина, потенциала которого никто не разглядел. А потом — да. Потом начнется все веселье. Потом пойдут торговые центры, офисные кварталы, гребаные катки и казино. И небоскребы!

— В Бексфорде? — спрашивает Маклиш. — Ты хочешь построить небоскребы в *Бексфорде*?

— А хрен ли нет? — говорит Верн, и они оба разражаются хохотом, добрым, воодушевленным, а рядом витают призрачные силуэты небоскребов над рекой.

Является незваный официант и разливает по бокалам остатки вина. Не торопится, затейливо поворачивает бутылку, чтобы с горлышка не падали капли, размахивая у них под носом белым ручником. Маклиш как будто сдувается и снова начинает ерзать.

— Не желаете еще бутылочку, джентльмены? — спрашивает официант.

Нет, вали отсюда.

— Нет, спасибо, — отвечает Верн, отмахиваясь от него большой розовой рукой, и продолжает наступление: — Так что видишь, все начинается с малого, с повседневного, но это действительно будущее. Мое будущее. Возможно, твое. Потому что такой парень, как ты, должен спрашивать себя «А что дальше?», так?

— Отец постоянно так говорит.

— Похоже, он мудрый человек, — вкрадчиво говорит Верн, готовясь призвать в свидетели семейную мудрость. Но Маклиш, отложив вилку с ножом, ссутулил плечи и скорчил гримасу, стараясь, хоть Верн и не сразу это понял, кого-то изобразить.

— Ох, подумай о своем будущем, Джо, — сказал Маклиш, резко перевоплотившись в карикатурного уроженца Глазго со старческим хриплым,

прокуренным баритоном, потрескивающим, как обезумевший счетчик Гейгера. — Футбол неплохое дельце, когда ты молодой, а чего ты будешь делать, когда колени откажут? Когда тебе стукнет двадцать пять и твои начальники решат, что ты уже старый, э? Откуда тогда деньги брать на блестящие костюмчики и галстуки?

Перевоплощение оказалось таким точным, Верну и в голову бы не пришло, что парень на такое способен, а еще он совершенно не мог определить, сколько неприязни на самом деле кроется в этой пародии.

— А он у тебя оптимистичный, да? — Он решает не рисковать и прибегает к старой доброй иронии.

— Да нет, он не то чтобы неправ, — вздыхает Маклиш. — Но он говорит это с таким гребаным самодовольством.

— И чем же он предлагает тебе заняться потом?

— Пойти на железную дорогу, как он. Остепениться. «Это хорошая работа. Если, конечно, ты не думаешь, что слишком хорош для нее».

— А сам ты не в восторге от этой идеи? — Теперь он на безопасной территории. Кто же в девятнадцать лет, в самом начале своего пути, своего

полета порадуется мысли о падении на землю?

— Не очень.

— Что ж, ты определенно способен на большее.

— Да?

— Да! Конечно способен. Позволь спросить, сколько они тебе сейчас платят? — Разумеется, Верн знает сколько, до последнего пенни. Выяснить это было одним из ключевых моментов в подготовке к сегодняшней встрече.

Как он и предполагал, вопрос настораживает Маклиша.

— Почему вы спрашиваете?

— Это так, для примера. Не подумай, я не допытываюсь. Дай-ка угадаю. Я бы сказал… Фунтов тридцать в неделю?

Лесть. После забастовки, которую игроки устроили три года назад, — еще один ценный ключик к их разговору — ограничение заработной платы, действовавшее десятилетиями, сняли. Но «Миллуолл» далеко не самый богатый клуб, а Маклиш еще далеко не звезда, к тому же они прикрываются тем, что он молод, поэтому сейчас он получает двадцать шесть фунтов и десять шиллингов.

— Около того, — говорит Маклиш.

— Неплохо, — говорит Верн. — Молодец. Но знаешь что? На самом-то деле, если подумать, в

конечном счете это просто гроши, сынок.

— Чего? — спрашивает Маклиш, не понимая, смеяться ему или обижаться.

— Нет, конечно, в сравнении с Британской железной дорогой просто превосходно. Но в сравнении с тем, что ты мог бы иметь, в сравнении с миром, — он обводит пальцем окружающий их аттракцион роскоши, — миром, который настолько «созрел», что стоит лишь нажать, главное знать — как и куда, — так вот в сравнении с этим ты просто нищий, приятель. Считай, ничего за душой нет.

— И все же у меня достаточно денег, чтобы вы мной заинтересовались, — говорит Маклиш.

— Прости? — переспрашивает Верн, позволив морщинке смущения рассечь свой массивный лоб.

— У меня достаточно денег, чтобы вы попросили меня вложить их в это… — Маклиш стучит пальцем по визитке на скатерти.

— Что? Ты думаешь, я хочу, чтобы ты *инвестировал* в это?

— А разве нет?

— О господи, — говорит Верн, силясь изобразить, что это предположение его одновременно смутило и развеселило (но не слишком, чтобы не

вышло оскорбительно). — Нет! Боже, приятель, у меня совершенно противоположные цели. Нет-нет-нет. В этом смысле у меня все в порядке. Деньги есть, и по правде сказать, из карманов поглубже, чем твои. Без обид.

— Так вы не хотите от меня денег?

— Нет. Прошу прощения, видимо, я не вполне ясно выразился.

— Тогда чего вы хотите? — спрашивает Маклиш.

Верн цокает языком и смущенно опускает взгляд.

— Ну, — тянет он, потирая указательным пальцем несуществующее пятно на скатерти. — Я собирался подвести к этому, знаешь, чтобы не прямо в лоб, но раз так… Все, что мне нужно…

Он поднимает глаза, чтобы одарить Маклиша заранее подготовленным, исполненным искренности взглядом, который вместо этого цепляется за кое-что у парня за спиной. Там, у подножья винтовой лестницы, в окружении набриолиненных кавалеров с континента он замечает лицо, которое в последний раз видел с высоты пятидесяти футов на сцене Ковент-Гарден. Песня, которая тогда звучала, вознеслась до шестишиллинговых мест на галерке и попала ему в самое

сердце, вывернула наизнанку. Без своего трагического облачения она выглядит старше, а светское лицо кажется незнакомым. Но это она! Вот здесь, в паре футов. Эта женщина — ключ к тем чувствам, которые он надежно прячет внутри, даже от самого себя. Когда он покупает билет в оперу, левая рука его не знает, что делает правая[1]. Он действует у себя же за спиной. Втихаря проскальзывает на Вест-Энд, отвернув внутренний взор от осознания того, что чуть позже он будет промакивать глаза носовым платком, будет сидеть под золоченым потолком Ковент-Гарден, а по щекам будут беззвучно струиться слезы. Теперь у него щиплет глаза.

Ему следовало бы сейчас нанести тщательно спланированный, решающий удар этого дня. Все льстивые, алчные и унизительные ловушки уже сработали. Пора заканчивать. И где-то там он все еще говорит, а Маклиш кивает, но Верн как будто раздвоился. Верн, который заперт внутри, Верн, который преклоняется перед красотой, Верн, который не представляет, чего хочет и как это получить, мягкотелый Верн появился в

[1] Примечания: 1

Евангелие от Матфея 6:3: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне».

самое неподходящее время, чтобы отвлечь внимание Верна, которому сейчас следует со всей возможной твердостью довести дело до предопределенного финала. Из кокона вместе с ним обычным вылез этот, который только и хочет, что глазеть. Открыть рот и таращить глаза. Который не хочет произносить слова, придуманные убедительным толстым человеком в голубом костюме. Которого, по правде говоря, возмущает эта мелкая грязная схема. Тем временем тот Верн, который так упорно трудился, начинает ощущать пустоту. Силы иссякают, энергия испаряется. Финальный аккорд его пламенного выступления становится водянистым. Где убедительность? Где азарт, которым он должен заразить Маклиша? Дезертирован. Растерянно медлит при виде дивы на другом конце зала, которой только что подали консоме[2].

— Что я хотел бы одолжить, так это твое имя, — говорит он. — Люди тебя знают, и я хочу использовать его, чтобы повысить авторитет фирмы, добавить немножко шика, пока я буду ее поднимать. Если ты позволишь мне это сделать, я возьму тебя в долю. И со временем это может

---

[2] Примечания: 2

Consommé *(фр.)* — блюдо французской ресторанной кухни, представляющее собой концентрированный прозрачный бульон из мяса и дичи.

принести тебе немало денег. Когда я дойду до небоскребов… — Даже несмотря на эту полушутку в конце, это все равно будет самая неубедительная попытка заключить сделку в истории. Ни один дурак не поведется на такое. Без шансов, Верн. Без шансов. Его блуждающий взгляд скользит мимо Маклиша. Настолько очевидно мимо, что Маклиш не может этого не заметить.

— Твою мать, — выдыхает Верн, скорее, от отчаяния, нежели от восхищения.

Маклиш оборачивается, чтобы посмотреть, что же такое привлекло его внимание, но видит лишь худощавую темноволосую женщину лет сорока, судя по всему, иностранку. Повернувшись, он видит, что Верн закрыл лицо рукой и смотрит на мир сквозь щели между толстыми розовыми пальцами.

— Что такое? — спрашивает Маклиш, почему-то решивший понизить голос до церковного шепота.

— Я же говорил, что сюда заходят известные люди, — очень тихо произносит Верн. — Вот как раз одна из них. Мария Каллас.

— Простите, но я не знаю, кто это.

— Она певица. Она… Как бы объяснить…

Он мог бы сказать: «Ее голосовые связки, как

ноги Бобби Чарльтона[3]» или что-нибудь в этом роде, что-нибудь меткое и смешное, чтобы Маклишу было понятнее. Но ему не хочется. Не хочется смешивать эти два мира, не хочется возводить даже шуточный мостик между тем, что он чувствует, когда поет Каллас, и тем, что он сегодня делает. Они несочетаемы. Он не хочет их сочетать.

— Она потрясающая, — неубедительно бормочет Верн.

— Так вы фанат? — спрашивает Маклиш. Мальчишка улыбается. Без насмешки, доброжелательно. Ободрительно. Верну приходит мысль, что Маклишу, должно быть, доводилось наблюдать, как незнакомые люди теряли дар речи и смущались, когда встречали его самого. — Знаете что? Я думаю, вам стоит пойти и поздороваться. Идите, это же такая возможность! Она не будет против.

— Нет.

— Да идите же! — уговаривает он.

— Нет.

Маклиш шутливо вскидывает руки, с видом одновременно снисходительным и озадаченным.

---

[3] Примечания: 3

Сэр Роберт Чарльтон (р. 1937) — английский футболист, чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель «Золотого мяча».

— Дело ваше, дело ваше. Никто вас не заставляет.

Он смотрит на свои массивные стальные часы.

— Верн, мне пора идти. Так вам нужно только мое имя? Никаких денег?

— Ни пенса.

— И вы не будете, как этот Ракман или как его там? Ничего сомнительного?

— Нет.

— Тогда ладно. Думаю, я ничего не теряю.

— Великолепно, — говорит Верн. — Это… великолепно. Тогда нужно подписать кое-какие бумаги.

— Оки-доки, — отвечает Маклиш. — Ручка есть?

У Верна есть ручка. Он передает ее Маклишу, и тот послушно подписывает здесь, здесь и вот здесь, не глядя, точно как Верн и должен был подтолкнуть его сделать, если бы не был так ослаблен. Так, совершенно не обратив внимания на то, что написано на третьей странице, Маклиш подписывает ипотечное поручительство.

— Ну вот! — говорит Маклиш. — Будем надеяться, что вы спасете меня от железной дороги. Было приятно, Верн.

Верн оплачивает счет, и теперь Маклиш воз-

главляет шествие вверх по лестнице, мимо снующих туда-сюда лакеев, через таинственный портал богачей обратно к слепящему свету лондонского дня. Верн не оборачивается взглянуть на мисс Каллас. Он отдает последний фунт, чтобы посадить Маклиша на такси. Взмах рукой.

Затем он бредет к автобусной остановке. Он очень устал. У него осталось шесть пенсов на автобус до Бексфорда. Ехать целую вечность, но где-то в районе Ватерлоу до него начинает доходить, что его план сработал. Еще утром он не был никаким застройщиком. Но не теперь. Он перестает дрожать. На Элефант энд Касл[4] в автобус врывается толпа школьников. Мальчишки устремляются на второй этаж, к месту, где сидит Верн, но, наткнувшись на взгляд, предназначенный для спидбольной груши, отступают. Где-то на полпути по Уолуорт-роуд он начинает насвистывать мелодии из оперы «Тóска». Тихо и не попадая в ноты.

---

[4] Примечания: 4

Элефант энд Касл — район в южном Лондоне, где находится крупнейшая лондонская дорожная развязка. Район был назван в честь паба, который до сих пор располагается на одном из перекрестков. В 1960-х в рамках послевоенной реконструкции район был значительно перестроен.

Бен

Туман над кочковатым полем рассеялся. Теперь вместо неторопливых белых завихрений, из которых вырастают голые деревья, Бен видит из высокого окна палаты неровные круги опавших листьев, как желтые нижние юбки, которые сбросило лето. Последние оставшиеся листочки размером не больше полупенса или свечного пламени льнут к веточкам под порывами ветра. «Ларгактил» много на что влияет, но только не на его зрение. Он за сотню ярдов видит этих трепещущих протестующих так же ясно, как мог бы разглядеть отдельные песчинки в горстке прибрежного песка. (Говорят, что они все одинаковые, но на самом деле нет. Там попадаются оранжевые и шоколадно-коричневые, а иногда мелькают бутылочно-зеленые.) Он бы остался у окна посмотреть, как ветер сорвет хотя бы один — потратит полпенса, задует свечу, закрутит желтую крапинку и отправит на землю, где в тени голого дерева она станет неразличимой.

Он постоянно отказывается от предложений Сида-почтальона поиграть в пинг-понг.

— Нет, с-с-с-с-спасибо, — говорит он каждый

раз, отпуская левую руку, которую придерживает правой, чтобы показать, как та дрожит. — С-с-слишком т-т-тр-трясусь.

И слишком *м-м-м-медленный*. Как-то раз они попробовали. Сидни скакал с одной стороны стола, а он на своей половине силился дотянуться до мячика трясущейся ракеткой со скоростью айсберга с болезнью Паркинсона. Это сложно было назвать удачной попыткой.

— Ах, точно! — отвечает Сид, каждый раз удивляясь, как в первый. — Точно, точно, точно… Есть сигаретка, братишка?

— М-м, — тянет Бен. Есть. Он запускает два пальца в нагрудный карман и ухватывает помятую сигарету «Голд Лиф». — В-в-вот, д-д-держи.

— Спасибо! — говорит Сид. — Ты настоящий друг. — Он сует сигарету в рот, передумывает, кладет ее за ухо, передумывает, засовывает в рот, передумывает, кладет сигарету на стол у окна, за которым сидит Бен. Отходит к мистеру Ниву, в надежде уломать его на партию в пинг-понг.

Бен наклоняется, чтобы взять лежащую перед ним сигарету, тянет в ее сторону терпеливую руку, словно трясущийся зонд, и чем дальше удаляется его ладонь, тем сильнее кажется, что она не принадлежит его телу. Но с помощью

некоторых корректировок и поправок он дотягивается до сигареты и захватывает ее пальцами. Возвращает руку и роняет сигарету в карман, до следующего раза, когда Сид о ней попросит.

Много ли времени это отнимает? Сложно сказать. Едва ли у него теперь будет меньше времени, чтобы разглядывать деревья. Не меньше, чем когда его созерцание прерывает мистер Нив, похлопывая его по коленке и раскладывая на столе свои документы. Вечно он все разжевывает, этот мистер Нив, напоминает со снисходительной улыбочкой, что он-то образованный человек, дипломированный юрист и, разумеется, понимает побольше, чем автобусный кондуктор типа Бена. *«Без обид? Я ничего плохого не имел в виду, друг мой».* Бену и правда не удается уследить за тем, как именно мистер Нив связывает между собой письмо от его жены и ответ директора лечебницы на его обращение в рамках нового закона о защите психического здоровья[5]. Не вполне понимает он, и зачем мистер Нив раскладывает по кругу постоянно меняющийся набор бумажек,

---

[5] Примечания: 5

Закон о защите психического здоровья 1959 года стал первым подобным законом в Великобритании. Он был призван определить случаи, в которых лечение должно быть принудительным. Во всех остальных случаях лечение должно было стать добровольным и по возможности осуществляться без помещения пациентов в лечебницы.

включающий библиотечные штрафы, старые обеденные меню с доски объявлений и наградные дипломы клуба садоводов. Но, по правде говоря, Бен не очень-то и старается. Мистеру Ниву всего-то и надо, чтобы ты кивал и периодически хмурил брови, и можешь дальше глядеть на свои деревья.

«Ларгактил» сгущает время. С одной стороны, все как будто замедляется, а с другой — огромные пласты времени протекают с такой неразличимой одинаковостью, что однажды ты выглядываешь в окно и выясняется, что лето вдруг закончилось. Бен не знает, сколько времени он здесь провел. Много дней, это уж точно. И он не помнит, чтобы ему доводилось видеть опадающие листья. Но думать об этом сложно, потому что под «Ларгактилом» вообще сложно думать. Он обволакивает мысли, заглушает, укутывает их, точно мебель в пустой комнате. Они все еще там, под покровом, но их грани и очертания скрыты, а добраться до них можно, разве что приложив усилия.

Да и зачем это может понадобиться? Ведь в одном из этих тяжелых, бесформенных коконов сидит Проблема. Она никуда не делась. Когда Бен не спит, он все еще слышит ее приглушенное,

но, к счастью, неразборчивое бормотание. Бен уверен, что, если ее выпустить, она тут же снова превратится в чудовищный, беспрерывный круговорот мыслей, захвативших его разум перед тем, как он попал сюда. Гнусные звенья гнусной цепочки, снова и снова без остановки бегущие по кругу. И от них никуда не деться, потому что куда можно деться от собственной головы? От них не отвернуться, потому что как можно повернуться спиной к чему-то настолько пугающему? Опасно поворачиваться спиной к темноте, которая следует за тобой по дороге. Только ты и есть дорога, ты и есть темнота. Это сложно. Лучше об этом не думать. И не присматриваться, иначе бормотание станет громче. Назови что-то по имени, и оно явится. Так что не упоминай, не смотри, не думай. И «Ларгактил» в этом помогает.

Бену не все здесь по душе. Ему не нравится спать в общей комнате, где в кровати слева тревожно мяукает мистер Нив, а из соседней палаты периодически прибегает Дерек. В поисках чего-то, что одолжил мистер Нив, он с грохотом опрокидывает все его заимствования на пол.

— Верни мне мой шампунь, сукин ты сын!

— Нет-нет, убери руки! Да как ты… Он мне нужен. Он мне нужен! Примроуз, они никак не

оставят меня в покое!

На кровати справа яростно дышит мистер Коркоран. Он никогда не бывает *не* зол, даже во сне. Мистер Нив никогда у него ничего не одалживает. Мистера Коркорана перевели к ним из Бродмура, медбрат Фредерикс читал о нем в «Дэйли Миррор». Его постоянно накачивают, днем и ночью. Под щетиной на его лице вяло перекатываются красновато-синие волны ярости.

Но оно того стоит. Все это определенно стоит того, чтобы удержать Проблему в ее коконе. «Ларгактил» — это своего рода благословение, за которое Бен неизменно благодарен. Нетвердым шагом он ходит в комнату трудотерапии и плетет там корзинки из рафии и неустойчивые горшки. Он ест обеденную свинину с печеной фасолью, после которых дают бланманже. Когда день выдается солнечный, он выходит на улицу. Он старается не думать о дальних палатах, которые видит по пути к выходу, где заблудшие души в слишком коротких пижамах дрейфуют в пучине безумия глубиной в несколько десятилетий — «Ларгактил» ему в этом помогает. Он сидит у окна и смотрит на деревья.

Смотри: каждое стоит в неровном круге опавших листьев, как в желтых нижних юбках,

которые сбросило лето.

Но есть вещи, которых он не может избежать.

— Пошли, Бен. Обход, — говорит брат Фредерикс, крупный, добродушный, усталый мужчина, который раздает всем свитеры, связанные женой, и который едва ли хоть раз поднимал на кого-то руку без крайней на то нужды.

— М-м?

Во время обходов врачи по большей части просто обсуждают с медбратьями и медсестрами, что прописали тому или иному пациенту и как те себя ведут. Сами пациенты участвуют лишь изредка.

— Тебя ждут в третьем кабинете.

— М-м?

— Я не знаю зачем. Давай, парень, поднимайся. Топ-топ.

Третий кабинет располагается сразу за комнатой трудотерапии. Добравшись туда, Бен замечает, что внутри полно людей, и его медленно охватывает беспокойство. Стулья в кабинете расставлены полукругом, а в центре рядом с пустым местом, оживленно улыбаясь, сидит доктор Армстронг. В теории она его лечащий врач, но он едва ли хоть раз разговаривал с ней. Остальные места заняты студентами-медиками

— безошибочно узнаваемый строй белохалатных мальчиков (и нескольких девочек) с блокнотами и шариковыми ручками. На вид им столько же лет, сколько и Бену, но они разглядывают его так, точно он представитель другого вида. Единственное обнадеживающее лицо в комнате принадлежит медбрату Фредериксу, который входит следом за Беном и, обнаружив, что для него кресло не приготовили, облокачивается на дверь. На фоне армированного стеклянного окошка его силуэт напоминает диаграмму.

— Итак, — радостно начинает доктор Армстронг, пока Бен шаркает по линолеуму. — Это мистер Холкомб. Мистер Холкомб находится здесь добровольно. Двадцать два года, после школы работал посудомойщиком, а потом устроился автобусным кондуктором. Шесть, или нет, семь месяцев назад он пришел к своему терапевту в состоянии крайнего возбуждения и попросил, цитирую: «усыпить его». Депрессии в анамнезе нет, но пациент жаловался на навязчивые мысли, возможно, переходящие в слуховые галлюцинации. Диагноз? — спрашивает она аудиторию.

Его используют как учебное пособие.

— Шизофрения, — уверенно отвечает парнишка с бакенбардами.

— Верно, — говорит доктор Армстронг. — Но с обычными оговорками, да? Нельзя установить масштаб заболевания или точно классифицировать определенные состояния.

Все строчат в блокнотах.

— Поступил восьмого июня 1964 года. Начальная дозировка хлорпромазина — четыреста миллиграммов. Торговое название?

— «Ларгактил», — отвечает девушка с каштановой косой.

— Или «Торазил». Затем дозировку увеличили до пятисот миллиграммов, так как возбужденное состояние сохранялось, а потом выровняли до трехсот миллиграммов в день. Поведение?

Последний вопрос обращен к медбрату Фредериксу.

— С Беном вообще никаких проблем нет, — говорит он. — Золото, а не пациент.

— Рада слышать, — отвечает доктор. — Как вы себя чувствуете, мистер Холкомб?

— Х-х-хо-хорошо, — выдавливает из себя Бен.

— Превосходно, — говорит доктор. — Но вопрос, леди и джентльмены, что вы можете *заметит*ь? Вы видели, как мистер Холкомб ходит, слышали, как он разговаривает, видите, как он сидит. Есть какие-нибудь соображения?

Они все таращатся на него. Девушка с косой постукивает кончиком ручки по зубам. Мелкий, щуплый студент-индус — опрятный, смуглый, бровастый, похожий на воробья, которого легко можно спрятать в карман, — откашливается и произносит:

— Тик правой руки. Достаточно выраженный.

— Верно, — говорит доктор Армстронг, и после этого все остальные студенты, словно получив одобрение, тоже начинают высказываться.

— Нарушение координации?

— Паркинсонизм?

— Он постоянно высовывает язык?

— Частое моргание?

— П-п-по…

Это уже Бен, пытается произнести «поздняя дискинезия». Он видел эти слова в своей медицинской карте, когда ее оставили лежать на сестринском посту. Он не знает, что это значит, и знает, что ему не положено вмешиваться, но ему так хочется их всех удивить. Но он не может выговорить слова, и все они слышат лишь очередной симптом.

— Затрудненная речь! — победоносно восклицает девушка-косичка.

— Угу, — соглашается доктор Армстронг. — И

если бы мы не знали историю болезни мистера Холкомба, из этих симптомов можно было бы заключить, что это…

— Церебральный паралич, — высказывает догадку студент-индус.

— Да, или болезнь Хантингтона. Мы бы проверили оба эти варианта, явись мистер Холкомб в таком состоянии на первичный прием. Но я хочу, чтобы вы все обратили на это внимание, — *физически у мистера Холкомба все в порядке*. Каждый из этих симптомов является побочным эффектом нейролептиков. Мистер Холкомб здоровый молодой человек. А это все из-за хлорпромазина. Так, мистер Патель?

Студент-индус поднимает руку.

— В таком случае, думаю, ему не повезло. Эти побочные эффекты обычно проявляются гораздо позже и чаще всего у пожилых пациентов.

— Верно. Такие реакции наблюдаются лишь у тридцати процентов, а мистеру Холкомбу не повезло вдвойне, потому что у него эти реакции проявляются очень сильно. — Она поднимает палец. — Запомните, пожалуйста, это совершенно обычная вещь. Редкие — не значит не случающиеся. Такие реакции постоянно проявляются у небольшого количества людей. И мы, как медики,

неизбежно сталкиваемся с такими пациентами и должны быть готовы им помочь.

Со всех сторон ручки царапают страницы блокнотов.

— Итак, как мы можем помочь мистеру Холкомбу? Тик, двигательные и речевые затруднения. Как я уже сказала, у него не было никаких нарушений. Не считая, конечно, шизофрении. Или, если точнее, у него *пока* не было никаких нарушений. Кто скажет почему?

— Потому что эти симптомы могут стать постоянными.

— Спасибо, мистер Патель. И как же нам следует поступить с мистером Холкомбом? Есть идеи?

— Можно заменить препарат.

— На какой, например, мисс Эдвардс?

Девушка-косичка опускает глаза. Она не знает.

— Да, — говорит доктор Армстронг. — Мы могли бы перевести его на «Флуфеназин» или «Ацепромазин», но они относятся к той же группе лекарств и вызывают те же побочные эффекты, к которым мистер Холкомб оказался так восприимчив. Еще варианты?

Патель вопросительно откашливается, но высказываться больше никто не хочет.

— Нужно резко снизить дозировку препара-

та, — говорит он.

— Н-н! — возражает Бен. — Н-н-н!

Звук, который он издает, больше похож на стон, чем на слово. Доктор бросает на него хмурый взгляд, но, похлопав его по руке, продолжает.

— Я тоже так думаю, — говорит она. — Не очень резко, но оперативно. Для начала надо сильно снизить поддерживающую дозу и, возможно, добавить стандартные седативные средства, если вдруг появятся какие-то признаки психоза. У вас ведь было пару хороших, спокойных месяцев, да, мистер Холкомб? — дружелюбно говорит она, повысив голос, точно обращается к глухому. — Пора возвращаться домой. Вам не место *здесь*.

Бен обнаруживает, что под «Ларгактилом» можно чувствовать страх. И злость. Если эмоции достаточно сильны, они начинают, как ветер, носиться по комнате с задрапированной мебелью, снося ее и вздымая наброшенные простыни, а сердце начинает неистово стучать. Он спихивает руку доктора Армстронг и поднимается со стула. Она бы так не улыбалась, если бы знала, что ему шепнула Проблема.

— Нет! — хрипло ревет он. Язык во рту мешается, точно застрявший в горле ком. — Не-е-ет!

Студенты отводят от него взгляды. Армстронг

вздыхает. Она не так планировала закончить свою маленькую презентацию.

— Фредерикс? — обращается она к медбрату, который уверенно выступает вперед и кладет широкую руку Бену на загривок.

— Не надо, сынок, не надо, — говорит он. — Теперь успокойся. Успокойся.

— Пожалуй, стоит дать ему следующую дозу сейчас и начать уменьшать завтра, — распоряжается она. Фредерикс кивает и за считаные секунды выводит Бена за дверь.

— Чесслово! — говорит медбрат. — На тебя это непохоже.

Бен привык принимать «Ларгактил» в виде противного сиропа в мерном стаканчике. Но в этот раз препарат вводят внутривенно, и от того места, где входит игла, поразительно быстро разливается покой, глухое оцепенение, которое замораживает дребезжащее содержимое его головы и стирает, пусть и на время, будущие кошмары — всё, с чем ему позже придется справляться самому.

— Посиди-ка в кресле, а я принесу тебе чашечку чая, — говорит медбрат Фредерикс.

Смотри: каждое дерево стоит в неровном круге опавших листьев, как в желтой нижней юбке,

которую сбросило лето.

Джо

Крыло клуба «Пеликан». Так называемый служебный вход для артистов располагается в переулке Сохо, пропитанном запахами мочи и не поддающихся определению гниющих отходов, зажатом между итальянским магазинчиком, где продают спагетти в длинных синих бумажных пакетах, и дверью с кучей звонков, в которую стыдливо проскальзывают мужчины, стараясь не встретиться ни с кем взглядом. Вход ведет вниз по лестнице в лабиринт маленьких закулисных помещений, где по полу змеятся связки черных кабелей. Джо переодевается в костюм для выступления «Хулиганок» в узком пространстве между гримеркой и коридором: с одной стороны стоят зеркала в обрамлении ярких лампочек, а с другой — не оставляя ни единого шанса на уединение, снуют люди. А крыло — просто еще один закуток: Г-образное пространство, приткнувшееся рядом со сценой, где артисты ждут своего выхода, заставленное ненужными усилителями и коробками с флаерами прошедших и грядущих концертов. Часть крыши в крыле сделана из тех же стеклянных зеленых блоков, что и над сценой.

Сквозь них днем с тротуара у входа в «Пеликан» струится водянистый аквариумный свет. А если летом прийти в «Пеликан» пораньше, падающий с потолка свет будет переливаться на волосах и плечах, как капли дождя из драгоценных камней.

Но сейчас там темно, и, приткнувшись в углу Г-образного крыла, Джо видит сцену такой, какой та выглядит во время вечерних выступлений. Из светильников, закрепленных над просцениумом, в то место, где ты находишься, бьют столпы яркого света. Не считая танцующих ног в первом ряду в узких штанах и обтягивающих юбках или всполохов тлеющих сигарет в руках, зал со сцены не видно. Можно лишь услышать его ухающее, ликующее, вздыхающее, покачивающееся присутствие сразу за пределами твоего светового шатра.

Сейчас в световом шатре Вилли Ривз из Чикаго. Стучит ногой по деревянному блоку, чтобы задать ритм, и прыгает пальцами по грифу гитары с металлическими струнами, извлекая звуки одновременно и тяжеловесные, и легкие. Тяжеловесные, как что-то неотвратимое, как блюзовый путь домой через все препятствия, как уверенность, с которой защелкивается сей-

фовый замок. Легкие, как что-то игривое, как танцующие пальцы, то приближающиеся, то отдаляющиеся от неизбежного, словно в их распоряжении все время мира, а железобетонный финал может оказаться лишь легким толчком. «*Я едва ли…* — поет мистер Ривз. — *Скажи мне, детка*». За кулисами он мелкий похотливый извращенец цвета грецкого ореха, воняющий виски и вечно путающийся под ногами. Но на сцене, где демократия тесного пространства больше не действует и все распадаются на аристократов и простолюдинов, хедлайнеров и бэк-музыкантов, там он, конечно, — аристократ. Над той частью незримой аудитории, которая знает, зачем пришла, витает благоговейная, внимательная тишина, обрамленная нетерпеливым бормотанием другой части зрителей. В этом году настоящий чикагский блюз не пользуется таким спросом, как обычно в Лондоне. Теперь его можно послушать в исполнении смазливых белых бой-бэндов, а не черных стариков. Теперь блюз моднее, привлекательнее и — растворенный в рок-н-ролле — куда танцевальнее. Большая часть зрителей стремится стать частью представления.

Но Джо из тех, кто благоговейно молчит. Она слушает, навострив уши, жаждая разгадать сек-

рет Ривза, узнать, как он это делает. *Она столько раз говорила мне, каждое утро…* Ей бы сейчас вернуться в облако лака для волос и поправлять черный енотовый макияж вместе с другими девочками. Она ведь новенькая, ее взяли на место забеременевшей девушки, и ей бы надо болтать с Вив и Лиззи, цементируя прическу. Но такой шанс никак нельзя упустить. Аккорды Ривза звучат у нее в голове свинцово-серым и черно-коричневым, как шоколад «Борнвилл». Она все еще слышит звуки, как цвета, хоть теперь и знает, что большинство людей так не может. Ее пальцы порхают в воздухе на уровне талии.

Кто-то толкает ее. Потеряв концентрацию, она оборачивается и видит — кого бы вы думали — смазливых белых гитаристов бойз-бэнда, который должен выступать следующим, высунувшихся из-за угла, чтобы поглядеть на Вилли Ривза. Они выглядят несколько разношерстно (замшевые куртки, рубашки-поло, джинсы и ремни с массивными пряжками), словно они сами не определились, какой стиль выбрать, ведь мягкий и задорный уже присвоили «Битлз», а грубый и жесткий застолбили «Роллинг Стоунз». Их группа называется *The Blue Birds*, если ей не изменяет память. Немного жалкое название само по себе.

«Синие птицы» так старательно пытались дотянуться до *The Yardbirds*[6], но в итоге дотянулись только до Уолта Диснея, который отправил их кружиться и чирикать над головой Белоснежки. «Да ладно, — думает Джо. — «Битлз» выбрали худшее название за всю историю музыки, но кого теперь это волнует?» Она сама почти не обращает на него внимания.

Я рискнул. Разыграл свои карты.

Стоит ли говорить, что ее саму никто не удостаивает даже того придирчивого взгляда, которым она окидывает «Синих птиц». Она знает, что прекрасно выглядит сегодня. «Хулиганки» наряжаются под Онор Блэкман из «Мстителей»[7]: узкие черные свитера, узкие черные брюки и ботинки на высоком каблуке. Стоя втроем у микрофона и покачиваясь в такт, они выглядят соблазнительно и феерично. Но для этих перешептывающихся в оцепенении мальчиков она — мебель. Они с головой погружены в серьезное дело — сугубо мужское музыкальное любование.

---

[6] Примечания: 6

TheYardbirds (*англ.* птенцы) — британская рок-группа, основанная в 1963 году.

[7] Примечания: 7

Британский шпионский телесериал, выходивший в эфир с 1961 по 1969 год.

Один из них, тот что с бакенбардами, даже не заметив, оттеснил ее к составленным один на другой усилителям. Другой, с тоненькими жабьими губами, загородил ей обзор. Тощий и носатый наступил ей на ногу, спутав с кабелем. Ее, даже не придавая тому особого значения, отпихнули за стену мужских тел.

— Потрясающе, — на выдохе произносят Бакенбарды. — Просто охренительно.

— Слышишь, вот этот типа удар на шестом аккорде?

— Как на пластинке.

— Нам тоже надо так научиться.

— Ага, *тебе* надо так научиться.

— И научусь, — говорят Бакенбарды. — Научусь. Он так быстро это делает, скажите? Вы гляньте. Я не могу даже… Я просто не могу. М-н-да-а-а…

— Что за слово «м-н-да»?

— Что за слово?

— Здесь же дамы, — говорит Жабий Рот, не сводя взгляда с Ривза.

— Ты свинья.

— Ты грязная свинья, — скандируют они, приглушенно пародируя голос персонажа из

телепередачи[8].

«Да заткнитесь уже», — думает Джо.

Очевидно, что в той холостяцкой дыре, где обитают эти идиоты, устраиваются ритуалы коленопреклоненного прослушивания песен Ривза. Сине-белое яблоко «Чесс Рекордз» крутится на проигрывателе, игла погружается в желоб на три-четыре такта, а затем поднимается снова. Пальцы на грифе пытаются выудить хоть что-нибудь, хоть отдаленно похожий звук, но оригинальная мелодия ускользает из памяти и в итоге теряется совсем. Еще раз. Разгневанные соседи стучат из-за стены.

— Эй, сейчас будет «Идущие на север».

— Да-а…

– *Обожаю* эту песню.

— Ага, но не можешь ее сыграть.

— Могу. Практически всю, не считая…

— Вот-вот, начинается…

— Да-а…

— Вот! Что это было? Вот этот пятый аккорд? Печальный такой. Я смотрю прямо на его пальцы,

---

[8] Примечания: 8

The Goon Show — юмористическая передача BBC, выходившая в 1950-х. Программа оказала заметное влияние на развитие британской и американской комедии. В шоу у одного из персонажей Питера Селлерса была сквозная фраза: «Ты грязная, вонючая свинья! Ты меня умертвил!»

и все равно не понимаю. Как будто B7, но не B7. *Что* это?

Она понимает, что лучше не стоит. Она знает по опыту, что даже малейшее замечание по теме, которую мужчины считают исключительно своей вотчиной, не приведет ни к чему хорошему. Быть может, если бы она проводила в компании мужчин больше времени, такие порывы давно бы вытравились из нее, но годы ухода за матерью на пару с тетушкой Кей, пока Вэл шлялась где-то с гребаным Невиллом и его предшественниками, подарили ей множество одиноких вечеров. Она возвращалась домой после смены в обувном магазине, принимала пост, делала чай и уговаривала мать его выпить, сидела рядом с ней, отмеряя лекарства, и еще лекарства, и еще. А потом в одиночестве играла на пианино в гостиной причудливый набор мелодий по довоенным нотам отца или наверху вытаскивала из конвертов сокровища фонотеки на Харпер-стрит, погружала собственную иглу в черное море винила и сама предпринимала попытки воспроизвести звучащие мелодии. «Ты как старая дева», — говорила Вэл. (Спасибо, Вэл.) По меркам Вэл она и в самом деле запоздала с погружением в мужской мир лет на шесть. (И кто же в этом виноват, Вэл? Кто

бросил на меня все дела, а себе забрал потеху?) Но время, проведенное в одиночестве, учит тебя доверять собственным суждениям, коль скоро ничьих других поблизости нет. Преимущество ли это? Скорее, нет. Во всех журналах пишут, что нет; все жены, с которыми ей доводилось общаться, говорят «нет»; гребаная Вэл, раздавая пространные советы, говорит «нет». Нельзя показывать мужчинам, что ты знаешь что-то лучше них. Даже если это и так. Особенно если это так.

Но у нее болит нога. И мамы уже нет. И вообще она и так слишком долго терпела.

— Это открытый А, а третья струна зажата на седьмом ладу, — говорит она.

Повисает почти неуловимая пауза, и они продолжают разговор, словно она вообще не раскрывала рта.

— Просто загадка, — говорят Бакенбарды. — Магия блюза, вот что это.

— Блюзовый бермудский треугольник.

— Потерянный город блюза.

— Блюзовая энциклопедия, — говорит Жабий Рот голосом старомодного новостного диктора.

— Можно у него самого спросить, когда он закончит? — говорит Тощий.

— Не-е.

Они снова замолкают. *Идущие на север, на северную сторону. Красные и белые.*

— И что вот это значит, тоже не понимаю.

— А может, — говорят Бакенбарды. — Может… — У него такой вид, точно он вот-вот разразится каким-то открытием.

— Что?

— Может, это вообще не В? Может это какая-то комбинация аккордов?

Джо в темноте закатывает глаза, но, к ее удивлению, Жабий Рот начинает хихикать.

— Да ты гений! Только дошло?

Он неуклюже отодвигается в сторону, чтобы повернуться и взглянуть на Джо.

— И откуда же ты это знаешь? — спрашивает он. В отличие от остальных, в чьих голосах отчетливо слышится лондонская гимназия где-нибудь в Хендоне, Илинге или Сиденхеме, где, несмотря на общую демографическую картину города, главенствует средний класс, в его голосе есть какая-то нездешняя теплота. Западная теплота, из мест гораздо западнее, чем Илинг. Он слегка картавит. Возможно, он из Бристоля. Он на голову выше нее. У него лицо дерзкого выскочки, но сейчас он не скалится, а заинтересованно наклоняется в ее сторону.

— Подобрала, — отвечает она, пожимая плечами.

— Ты играешь?

— Немного.

— И тебе нравится?

Пожимает плечами.

— Почему? Это ведь не девчачье занятие.

Разумеется, он имеет в виду, что блюз — это мужская музыка. Песни о мужских страданиях, мужском разочаровании и о мужском пьянстве, исполняемые мужчинами нарочито агрессивно, вывернуты наизнанку, так что в самой музыке, даже без слов звучит сокрушенная сила. Конечно, блюз не только об этом, но только это в нем хотят видеть парни. И все же по сравнению с тяжелым бренчанием, которое в этот момент выдает Вилли Ривз, музыка, которую она позже исполнит с Вив и Лиззи, будет звучать подчеркнуто легко, слащаво и по-девчачьи, словно сотканная из сладкой ваты, где все нутро и жилы надежно спрятаны от глаз. Но почему? Почему, если ей нравится одно, она делает другое? У нее есть ответы на этот вопрос, но она точно не поделится ими здесь. А возможно, не поделится нигде. Во-первых, она не понимает, почему ей вообще нужно выбирать. Вилли Ривз, исполняющий «Идущих на север»,

прекрасен, и «Кристалз»[9], исполняющие «Да-ду-рон-рон», тоже по-своему прекрасны, но, по правде говоря, ни то ни другое ей не нравится, это не та музыка, которую она могла бы исполнять сама. Будет исполнять когда-нибудь. Но есть еще одна, более серьезная причина, кроющаяся в тишине. Связанная с тем, что их дом всегда был самым тихим на улице. Всего лишь двое детей, ни одного мужчины и больничная тишина, становящаяся все глуше и глуше. Она хотела заполнить ее и заполняла, жадно слушая все, что попадалось в руки, упорно учась по ходу дела. Подбирала мелодии снова и снова, зная, что большая часть музыки все равно будет ей недоступна, пока она не сможет заниматься ею с людьми. И так было до тех пор, пока не умерла мать и Джо не увидела объявление о прослушивании в группу. Тогда она решилась.

Пожимает плечами.

Но интерес парня не угас. Он продолжает оглядывать ее сверху вниз и делает пробную попытку положить руку ей на задницу. Она стряхивает ее.

— Отвали, я слушаю.

— В самом деле? — отвечает он с улыбкой.

---

[9] Примечания: 9

The Crystals — американская женская вокальная группа из Нью-Йорка, очень популярная в 1960-е годы.

Но слушает она недолго. Программа Вилли Ривза заканчивается, и ее зовут. Толпа отпихивает «Синих птиц» в сторону, чтобы «Хулиганки» могли выйти на сцену. А это не только три вокалистки. Чтобы вживую добиться спекторовской стены звука[10], им нужны гитары, ударные и духовые, на которых в качестве одолжения играют знакомые парни из студии, согласившиеся помочь, чтобы посмотреть, смогут ли «Хулиганки» — такие же второразрядные исполнительницы, как и они сами, — выбиться в хедлайнеры. Сегодня здесь никто не озолотится. Деньги, что «Пеликан» платит за выступление, разделят на девятерых. С финансовой точки зрения им куда выгоднее было бы прийти в студию звукозаписи и там оперативно и скромно записать бэк-вокальную партию для мисс Спрингфилд[11]. Но надо ведь попробовать, правда? Надо узнать, есть ли в тебе способность удерживать внимание толпы.

Теперь в световом шатре они. У них есть одна

---

[10] Примечания: 10

Стена звука — название техники звукозаписи и аранжировки поп- и рок-музыки, разработанной и впервые примененной продюсером и звукоинженером Филом Спектором.

[11] Примечания: 11

Дасти Спрингфилд — британская соул, поп и R&B певица, чья карьера охватила четыре десятилетия, достигнув наибольшей популярности в 1960-е и в конце 1980-х годов.

песня, которую они хотели бы сделать синглом, но, поразмыслив, они решают немного разогреть толпу, если смогут. Поэтому они начинают с «Пересмешника». Это их стихия, по крайней мере, для их старой роли цыпочек где-то на подпевках. Басист Брайан гулко и раскатисто вступает, они начинают свое феерическое покачивание бедрами, ноги в зале — единственное, что они могут разглядеть, — нерешительно повторяют движения. Вив неуверенно вступает, Джо и Лиззи ей вторят[12].

— Пе! *Е-е-е!*

— Ре! *Е-е-е!*

— Смеш! *Е-е-е!*

— Ник! *Е-е-е!*

Взрываются ударные, а Терри с Найджелом подносят к губам корнеты и высвобождают блистательный хрустящий рев. Ноги в первых рядах начинают отплясывать по-настоящему, бедра «Хулиганок» входят в ритм, и девушки хором поют:

Это пересмешник, народ! Вы слышали?

---

[12] Примечания: 12

Имеется в виду респонсорная техника исполнения (call-and-response), при которой ансамбль заканчивает или повторяет слова за солистом. Эта техника особенно характерна для некоторых музыкальных жанров, например для блюза и спиричуэлов.

Вы слышали?

Трубы золотятся. Трубы золотятся, а она, покачивая головой вправо-влево, краешком глаза видит, что крыло опустело, но Жабий Рот все еще стоит там, и она могла бы поклясться, что он слушает. Слушает ее.

T + 35: 1979

Бен

Во всем виноват плакат, говорит он себе. У него был один из тех тихих периодов, когда полотно его мыслей лишь подергивается нервной рябью, как поверхность реки, когда течение поворачивает и серая Темза в этом месте тихонько бурлит, морща водяную гладь. Приемлемо.

Но позавчера, в свой выходной, он ехал на метро, и во время пересадки наткнулся на стену, с которой, чтобы наклеить новые плакаты, содрали верхние, вырвав вместе с ними лоскуты более старых слоев. На него смотрел подземный палимпсест: впалый, запятнанный клеем и плесенью пласт, месиво из прошедших развлечений в тридцати двух подгнивших кричащих оттенках, в толстых краях которого вся древность обычая облеплять подземные тоннели бумагой. И там, справа, под оторванным треугольным лоскутом, виднеется алая, рубленая буква Е с алым рубленым восклицательным знаком.

И больше ничего, но он знал, что это. Единожды увидев, невозможно развидеть; единожды узнав,

невозможно забыть. Это был постер фильма[13] об авиакатастрофе в Южной Америке многолетней давности, пугающе рвущийся на свет. Постер, от которого ему неделями приходилось уворачиваться, пока шел прокат. Он замечал его красное полыхание повсюду и спешно отводил взгляд. На плакате не было никаких картинок, только слова, и разумеется, он видел (или пытался не видеть) только постер, но не сам фильм. Просто как можно вообще смотреть что-то подобное? Как вообще может захотеться смотреть на то, как люди поедают друг друга? Как, если у тебя есть выбор и если можно этого не делать? И одного постера, одного лишь его кусочка было достаточно. Достаточно, чтобы положить конец мирному времени у него в голове. Достаточно, чтобы разжечь страх и запустить новый виток бесконечной борьбы.

Он заподозрил это сразу же. Он стоял, пронзенный и пригвожденный к этой стене. Мелкий, худощавый, без малого сорокалетний человечек с большими испуганными глазами и сжатыми в кулаки руками. Вскоре прибыл следующий поезд,

---

[13] Примечания: 13

Выживай! *(англ. Survive!)* — мексиканский триллер 1976 года, основанный на реальной истории крушения рейса 571 Уругвайских ВВС, в результате которого уругвайская команда по регби вынуждена выживать в Андах.

кто-то толкнул его, и толпа милосердно привела его в движение, увлекая дальше по платформе «Бейкерлу». Он тряхнул головой, точно это банка с горохом, и подумал, что, может быть, ему повезет, может быть, он сможет вытряхнуть все это из себя. «Это всего лишь старый плакат, чего тут бояться?» — сказал он себе и почти поверил в то, что поверил этому.

Но плохие периоды всегда подкрадываются плавно. Сначала мысль, которую он более или менее может отпихнуть. Затем пауза. Обычный час или два обычных часа, когда ему кажется, что он с легкостью может забыть, что есть какая-то причина для беспокойства. Не считая того, что, пока он убеждает себя, что совсем не тревожится и что с ним все в порядке, он, разумеется, вспоминает, что до сего момента ему и правда удавалось все забыть. (Он вынужден окольными путями обходить эту мысль, отточенными усилиями убеждать себя в том, что он о ней не подозревает, заставая себя же врасплох. Вот сейчас. И сейчас. И на всякий случай сейчас.) И когда он уверяется в том, что преодолел тревогу и чувствует необходимость проверить, не боится ли, чтобы убедиться, что сможет снова забыть, он и в самом деле почти не тревожится. Почти совсем не тревожится, нет.

И пока он часами бродит у себя в голове, проверяя, от тревоги остается лишь крошечный след, такой незначительный, что не стоит и беспокоиться.

Но наступает момент, когда в один из этих обходов — десятый, двадцатый, миллионный — зловещая логика подсказывает ему, что, бродя с проверками по своему внутреннему дому, он каким-то образом притащил туда еще что-то, оставил ботинками мыслей какой-то след, несмываемое пятно. Брызги крови или растопленного жира. И тогда ему приходится признать, что он боится. Что вот он, один из тех плохих периодов, с которыми ему приходится справляться. Далеко не самый плохой, конечно. «Ну же, иди прочь», — говорит он своему страху с почти убедительной уверенностью. И страх с едва заметной глумливой ухмылкой уступает, крадучись ускользает, поддается изгнанию. Но каждый раз все с большим сопротивлением и все менее надолго.

Весь предыдущий день он с нарастающей скоростью топтался по этому кругу изгнания страха. Ему пришлось хорошенько потрудиться, чтобы поспать ночью, а утром страх уже поджидал его пробуждения, когда пройдет тот микроскопический момент, во время которого солнечный луч слегка коснется его уставших век, словно ничего

и не было, словно он один из счастливчиков. Один чистый фотон, приятель, один миг простого естественного света, вот все, что тебе полагается сегодня. Время до того момента, когда он увидел плакат, уже казалось таким далеким и таким прекрасным. Он продолжал сопротивляться по пути на работу, но страх сделался очень ревнив — ему не нравилось, когда обращали внимание на что-то, кроме него. Занятый борьбой Бен полагался на примитивное животное сознание, верил, что оно проведет его по перекресткам, доведет до парка, отметит время, кивнет Тревору, перекинет через плечо билетный аппарат и доставит на заднюю площадку рутмастера[14]. Маршрут 36С, Бексфорд — Куинс-парк, Куинс-парк — Бексфорд. О, горы, горы разума. Вершины, скалы. Лишь тот на них без страха смотрит, кого ни разу не смущала бездна[15].

Держись крепче. Держись крепче, пожалуйста.

(Но почему? Почему из всех окружающих ужа-

---

[14] Примечания: 14

Рутмастер (*англ.* Routemaster) — тип двухэтажного автобуса, созданный в 1954 году компанией AEC. За 50 лет эти красные автобусы стали визитной карточкой Лондона, а после замены парка более новыми моделями в 2003 году рутмастеры не списали, а распродали всем желающим.

[15] Примечания: 15

Здесь приводятся слова из стихотворения Джерарда Мэнди Хопкинса *«No worst, there is none. Pitched past pitch of grief»*.

сов его так страшит именно каннибализм? Он и сам не знает. Когда-то давно, еще до того как он в первый раз попал в лечебницу, даже до того как он ушел из школы, кто-то показал ему жуткий американский комикс, один из тех, что были тогда популярны. Там была история, которая заканчивалась тем, что группа бродяг сидела вокруг костра и поедала человека. Было видно, что в огне на вертеле крутится человеческая голова и часть грудной клетки, а языки пламени лижут ребра. Но, что характерно, его это не сильно впечатлило. Он просто сказал «Буэ-э» и бросил эту гадость назад Вернону Тейлору, не доставив тому удовольствия своим огорчением. Он и не вспоминал об этом случае, до тех пор пока ему не исполнилось пятнадцать или шестнадцать и определенные вещи не начали вызывать ассоциации, которые вообще-то не должны были. Его вывернуло на крещении дочки его кузины Стефани, когда тетушка Мадж сказала: «Такая хорошенькая, так бы и съела». Его желудок ни с того ни с сего просто поднялся, и кусок торта, который он проглотил минуту назад, гейзером вырвался обратно. А потом был этот переулок за баром «Уимпи», куда сестра притащила его на двойное свидание играть роль застенчивого

четвертого. Ее парень тогда устроил эту ерунду с «ам-ням-ням», жуя картофелину фри, которую его сестра держала в руках, и делая вид, что вместе с ней сжует и ее палец. Девчонка, которую выбрали ему в пару, очевидно, приглашенная из жалости, таращилась на него из-за толстенных очков, пока он блевал. «Ты психанутый», — выдала она и сбежала. Но стоило ему однажды заметить, насколько реклама еды похожа на кинопостеры, как камера запечатлевает хрустящие, золотистые пирожки «Финдус», а затем золотистую кожу Софи Лорен, он уже не мог этого забыть. Он не мог забыть схожесть мяса и человеческой плоти, не мог выбросить из головы мерзость желания, которое уничтожает то, чего жаждет, будет с наслаждением глодать, рвать, перемалывать, жевать и глотать. Был ли это он? Было ли это его желанием? Этого ли он хотел? Он так не думал, но как он мог это доказать? Он никогда не мог до конца отделаться от страха; и чем осторожнее он был, чем сильнее он старался избегать даже малейшего риска посмотреть на девушек как на еду, тем сильнее он чувствовал вину, тем сильнее начинал сомневаться в том, на что на самом деле способен. А затем в его памяти всплыла та страница из комиксов с человеческим барбекю,

и его страх обрел форму. Все это смешалось и больше не отпускало его. Он был почти уверен, что не хочет никого есть. Он никогда никого не ел. Он никогда никого не кусал, никогда никого не облизывал и, если уж на то пошло, никогда никого не целовал. Но что с того? Он ворочал все это в голове снова и снова, до тех пор пока ему не захотелось кричать; он не мог быть уверен в том, что не представляет опасности.)

Сейчас апрельское утро: ветреное, серое, склонное к мелким проливным дождям; обе поездки до Куинс-парк и обратно прошли хорошо, и Бен этому рад. У лондонского движения свое настроение. В одно и то же время в разные дни оно может быть плавным или прерывистым, свободным или плотным. Сегодня светофоры загораются зеленым, стоит им подъехать к перекрестку, группки детей, спешащих в школу, и взрослых, спешащих на работу, свободно садятся и выходят, а поток фургонов, «Фордов Кортина» и черных кэбов кажется на удивление воздушным и свободным. Тревор быстро и уверенно шныряет между рядами, сквозь лондонские прорехи, и они летят по Пэкхэму, Кэмберуэллу, Кеннингтону, через реку под недолговременными глазками в облаках, сквозь которые на воду падают комоч-

ки света, и даже проносятся мимо Мраморной арки[16] — главной туристической достопримечательности на маршруте, где им частенько приходится застревать. Но сейчас никакой пробки. Бен снует по рельефному деревянному полу с одного этажа на другой, непрерывно продает билеты, дает сдачу, по два раза дергает за шнурок, чтобы посигналить Тревору, когда заканчивается посадка, уворачивается от тлеющих кончиков сигарет между сиденьями на втором этаже и, сам того не замечая, постоянно балансирует, когда Тревор проворно давит на педаль газа, направляя гравитацию внутри автобуса то в одну сторону, то в другую. Из выхлопной трубы под острым углом вырывается и закручивается голубоватый дым. Большой движок рычит при переключении скоростей. На перекрестках, когда автобус стоит, пол нетерпеливо дрожит, но как только они начинают набирать скорость, дрожь превращается в низкое жужжание, в рокот, в рев, пока асфальт за ними не превратится в размытую серую ленту. Такое нахождение в постоянном движении дает Бену возможность занять голову чем-то помимо

[16] Примечания: 16

Триумфальная арка, стоящая около Ораторского уголка в Гайд-парке, на западном конце Оксфорд-стрит. Доступ к арке, как правило, очень затруднен из-за оживленного транспортного потока.

того, что в ней сидит. И до тех пор пока он не присматривается (не в смысле не присматривается к ступенькам под ногами или убегающей из-под колес дороге, а в смысле не присматривается к себе), он может просто переключаться с одной задачи на другую, а потом на следующую. Ритм двигающегося автобуса дает ему хрупкую почву под ногами. За каждым действием должно идти следующее, после каждой необходимой фразы нужна еще одна и так далее, главное, не задумываться. Оплачивайте проезд, пожалуйста. Куда вам? Тридцать пенни, пожалуйста. А помельче есть? Вот, возьмите. Держитесь крепче. Уберите сумку с прохода, пожалуйста. Мраморная арка!

Все это не избавляет от страха. Он все равно постоянно там, внутри, разверзнутый, словно бездна. Постоянные занятия как-никак поддерживают его разум. Но тут кроется ловушка. (Ловушки есть везде. Даже в самом безобидном существовании, как выяснил Бен, всегда есть потайная дверь, за которой прячется кошмар, готовый тебя схватить.) Ловушка в том, что среди его быстрых перемещений по автобусу, создающему тонкий лед, по которому можно двигаться, эта самая обыденность, обыденность его действий может обольстить его мыслью,

что все в порядке; и тогда он может совершить ужасную ошибку, а именно уверовать в то, что он может обратиться к обычному миру и попросить у него защиты. Скажем, если бы он обходил «Овал»[17], глядя с верхних рядов стадиона. *Эй, вы, краснолицые ребята в галстуках ККСК*[18]*, на секунду засмотревшиеся на пастуший пирог в окно столовой. Эй, ты, зеленый простор цвета бильярдного стола, окаймленный тисненными золотом рекламными щитами «Бенсон энд Хэджес»*[19]*. Эй, вы, присевшие там, на дальнем конце, где краска похожа на испорченный заварной крем, где висят безобразные баннеры. Эй, вы все, цельные и основательные; эй, ты, цельный мир, разве я не такой же цельный? Разве я не могу быть таким же простым, как вы? Разве я не могу просто плыть по течению? И что вообще это за бред про каннибализм?* Это тяжело, губительно, потому что в итоге он окажется лицом к лицу со своим страхом, и ничто из этих вещей, кажущих-

---

[17] Примечания: 17

Крикетный стадион в районе Кеннингтон.

[18] Примечания: 18

ККСК (*англ.* SCCC — Surrey County Cricket Club) — Крикетный клуб «Суррей Каунти». Стадион «Овал» является домашним стадионом команды.

[19] Примечания: 19

Британская марка сигарет.

ся основательными и незыблемыми, не способно будет его прогнать. Когда ты в самом деле по-настоящему напуган, ты не можешь разувериться в своем страхе. Страх всегда сильнее. Он это знает. Бросив страху вызов, ты только запаникуешь. Уж лучше ему держаться на поверхности, пока получается; лучше продолжать двигаться и быть благодарным за то, что у него есть, как сейчас он благодарен за этот быстрый круг до Куинс-парк и обратно. Когда они едут на север во второй раз, все замедляется.

В этот раз в Куинс-парк у них уставной перерыв. Томатно-сырный сэндвич с загнутыми краями, кофе с молоком в пластиковом стаканчике, папироса, выкуриваемая так жадно, что во время каждой затяжки слышно, как она укорачивается. Тревор разгадывает маленький кроссворд и закатывает глаза, глядя, как Бен дергается, мечется и украдкой бросает взгляды на небо, словно в серых складках прячется что-то, что он накликает на землю, если задержит взгляд слишком долго. *Давай, поехали. Давай-давай.* Они выезжают на маршрут. Движок всхрапывает, и вот они снова покачиваются между рядами кирпичных заборных столбов. Но в этот раз настроение движения изменилось. Поток уплотнился, просветы ис-

чезли; свободное и плавное движение стало, по меньшей мере, вязким. На участке маршрута 36С у Мраморной арки машины стоят совсем вплотную, и Бену больше ничего не остается, кроме как ждать вместе с пассажирами на красном островке четырехполосного кольца. Шарообразный и заметно перебравший бизнесмен пробивается к автобусу между машинами, отвешивая преувеличенно виноватые поклоны водителям. *Бип-бип. Фа-фа.* Бен протягивает руку, но слон в полосатом костюме отпихивает ее, возможно, сильнее, чем планировал, и исчезает на втором этаже. Бен носит штаны детского размера. Выхлопные газы от окружающих машин прорываются внутрь через заднюю площадку. У их запаха есть вкус. Химический, горелый запах; почти что запах еды. *Жареные ребрышки.* Он поднимается наверх и продает жирдяю билет за пятьдесят пять пенсов, сдачу с которых тот рассыпает по полу. *Поджаренный бочок*. Бен не пытается подобрать монеты даже отвлечения ради. Никому больше ничего не нужно. Он возвращается вниз. Там тоже нечего делать. Он встает в свой кондукторский закуток у лестницы и барабанит пальцами по вертикальному хромированному поручню. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь-дзынь-

дзынь. *Жареные ребрышки. Я не буду об этом думать. Шипящая кожа. Я не буду об этом думать. Жареные ребрышки. Прочь. Жир с руки капает в огонь, и тот стреляет. Ну пожалуйста, оставь меня; пожалуйста, пожалуйста. Жареные ребрышки. Заткнись.*

Но он ведь думает об этом, разве нет? И стоит ему задуматься, его тактика уклонения рушится, и ему приходится вступить в спор, хоть он и знает, что ничего хорошего не выйдет; хоть он и устал от этого и сознает бесполезность всего, что он мог бы ответить этой *заткнись заткнись* картинке разрушенной, обожженной, покрытой волдырями, уродливой, зажаренной *заткнись* плоти. Вдалеке переключается светофор, и Тревору удается проползти вперед по Парк-лейн футов на пятьдесят. Деревья у границы парка молотят ветками воздух. Выхлопные газы ненадолго отступают, но вскоре отвоевывают свою позицию.

Так, — в голове у Бена раздается тоненький голос разума. *Это все просто ужасно, но какое отношение это имеет к тебе?*

Жареные ребрышки.

Ты ни разу не видел ничего такого, ведь так? Ни в жизни, ни даже в том фильме.

И тем не менее. Жареные ребрышки.

Но это ведь не взаправду. Ты всего лишь представляешь это.

Жареные ребрышки.

Это просто выдумка. Это все у тебя в голове.

Вот именно. Это все у тебя *в голове.*

И что с того?

Это все в голове у тебя, а не у кого-то другого. Это плод твоего воображения.

Нет, неправда. Я не хочу этого, я это ненавижу. Я хочу, чтобы эти мысли ушли.

Серьезно? Посмотри на этих людей. Посмотри на этого урода в костюме. Посмотри на эту девчонку в джинсовой куртке. Ты знаешь, на какую. У которой пуговки сейчас отлетят, хах. С большой грудью. Такую поди застегни. Да, вот на эту.

Заткнись.

Ты не хочешь, чтобы мысли ушли.

Нет, хочу.

Нет, не хочешь. Посмотри на него, на нее. По-твоему, они думают о таком? Конечно, нет. Это все ты и только ты. Ты злой человек; смотришь на них и думаешь о…

Заткнись заткнись

губы надулись и блестят, как глазированная свинина, брови

заткнись!

обуглились до мелких точек, как опаленная свиная щетина

остановись

глаза стали белыми, как у вареной рыбы

пожалуйста, остановись

Почему? Тебе же это нравится.

Нет.

Тогда зачем ты думаешь об этом? Ты думаешь об этом постоянно. Да-да. Это то, что ты делаешь. Тебе нравится. Ты любишь это.

Нет, это не так.

Жареные ребрышки, приятель, жареные ребрышки.

Красный, желтый, зеленый. Еще пятьдесят футов. Зеленый, желтый, красный. И еще раз. И еще.

Как бы я хотел снять свою голову и промыть ее из шланга.

Но ты не можешь.

Они наконец-то добираются до конца затора и поворачивают на развязку между почти соприкасающимися углами Грин-парк и Гайд-парк. Молодая зелень на деревьях уже потускнела от выхлопных газов, точно приняв поражение; водостоки и земля вокруг фонарных столбов покрыты мусорной перхотью, оставшейся после зимней

забастовки мусорщиков; величественные статуи и артефакты былых войн стоят обшарпанные, облезлые или залитые черной краской. Движение здесь не намного свободнее, по крайней мере, на участке около Букингемского дворца, который от дороги отделяет сплошная стена; кому-то нужно выйти, а кому то зайти, так что Бену, слава богу, есть чем заняться до тех пор, пока Тревор не прижимается к обочине у автобусного вокзала «Виктория», где ряды красных автобусов томятся в ожидании, как неуклюжие скаковые лошади, зажатые между пластиковыми фасадами книжного магазина, букмекерской конторы, круглосуточного кафе и туристического магазина с пластмассовыми котелками, раскрашенными под британский флаг, с одной стороны, и чугунным куполом вокзала — с другой. В детстве это место казалось Бену очень величественным, настоящим замком для паровозов, хоть и покрытым сажей, где сияющие поезда, идущие в порты, и роскошные «Золотые стрелы»[20] вальяжно, словно монархи, стоят в ожидании снующих

[20] Примечания: 20

«Золотая стрела» (*англ.* Golden Arrow Express) — поезда класса «люкс», ходившие из Лондона в Дувр, где пассажиры пересаживались на паром до Франции. Образцом послужил первый подобный поезд первого класса с одноименным названием, соединявший столицу и порт, появившийся во Франции в 1926 году.

пассажиров. Теперь же закопченный вид вокзала потерял лоск. Теперь он просто выглядит уставшим. Или, может быть, дело в нем самом; может, это он устал. На поверхности сознания он боязливо суетится, но в глубине усталость разливается, как континентальный шельф. Когда такие дни, как этот, подходят к концу, он проскальзывает мимо часовых ужаса и страха напрямик в темные глубины изможденияи с признательностью растворяется в них. Он зевает.

Из-за пробки они застревают на вокзале с другими автобусами, которые давно уже должны были идти дальше по маршруту, и оказываются в конце очереди из четырех 36С. Тревор глушит мотор, выходит, облокачивается на кабину автобуса и закуривает. Приближается время чая.

— Сначала поедут те автобусы, — говорит Бен возмущенным пассажирам. — Если не хотите ждать, можете пересесть в первый автобус. Да, по этому же билету.

Большинство пассажиров выходят. На продольной скамейке первого этажа остается лишь монахиня, спокойствием напоминающая статую, а наверху — загнанного вида женщина с тремя детьми, которая, скорее всего, просто не готова столкнуться со сложностями их перемещения.

Урод в полосочку тоже все еще там — сидит, прилепив красное лицо к стеклу, и храпит.

— Ой, — восклицает Бен. — Подъем-подъем. Вокзал «Виктория»!

Никакой реакции.

— Мистер, вокзал «Виктория». Это не ваша остановка? — повторяет он, на этот раз громче. Снова ничего. Бен не собирается его трясти, тыкать или вообще как-то до него дотрагиваться — он не дотрагивается до людей, если может этого избежать. Теперь он почти кричит: — Сэр! Сэр, это ваша остановка?

— Да что ж такое, — притворно сокрушенным голосом громыхает тип, не открывая багровых век и даже не пытаясь отлепить от стекла челюсть. — Отвали, автобусник. Иди отсюда. Не твое дело, где я выхожу.

— Как знаете, благороднейший, — отвечает Бен, отступая. — Если проснетесь в автобусном парке, я не виноват.

Эта маленький праведный отпор настолько заряжает его, что он выходит к Тревору и тоже закуривает, яростно затягиваясь, чтобы переждать пару минут, пока другие автобусы не уедут и не придет их время продолжать маршрут. Страх колет его своими иголками, почти играючи. Он

знает, что Бен в его власти, и может позволить себе терпеливо наблюдать, как тот в очередной раз не сможет его изгнать.

Они снова в пути. Грохочут через Пимлико к мосту Воксхолл. Поток движется, пусть и рывками. На верхнем этаже напыщенные детишки лет пятнадцати или шестнадцати дымят сигаретами «Силк кат», явно наслаждаясь собственной дерзостью куда больше, чем вкусом табака. «До свидания» монахине, «Здравствуйте» утомленным офисным уборщикам, закончившим утреннюю смену, и женщине средних лет в тщательно ухоженном наряде, вышедшем из моды лет так десять назад. Она вскидывает брови, глядя на напыщенных мальчишек, но они скорее забавляют ее. И мальчишки, и женщина выходят прямо перед Темзой, у галереи «Тейт». Издерганная мать выходит на другом берегу, у метро «Воксхолл». Она просит Бена помочь ей с коляской и сумками, и ему удается совершить все маневры, не дотронувшись до ее *хорошенького, так-бы-и-съел* отпрыска. И все это время у себя в голове Бен трудится. Он решил *ты же знаешь, что не поможет* отвернуться от страха, перекрыть ему кислород своего внимания. Он хватается за все с удвоенным усердием, а может

быть, просто с отчаянием, стараясь, чтобы задача заполнила его взор. Его внутренний взор. В блаженных в своей обыденности глазах других людей он делает все то же самое, что делал по пути на север, когда сопротивлялся страху, непрерывно продвигаясь от одной задачи к другой. Теперь все по-другому, теперь у него совсем другая тактика. Вместо того чтобы не смотреть и не задаваться вопросами, теперь он сознательно отказывается смотреть. Он отвернулся от страха внутри себя и заставляет себя смотреть в противоположном направлении. Фигурально. Его страх остался позади. Он там, бормочет, тянет щупальца *жареные ребрышки* к периферии его взора. Он не будет смотреть; не будет, не будет, не будет. Он не будет об этом думать. Он будет не думать об этом. Он использует антимысль, когда понадобится. Он *жареные ребрышки* забывает об этом, он отрицает это, он отворачивается. Он скандирует *ля-ля-ля-ля-ля*. Он побеждает, он побеждает, он *жареные ребрышки* проигрывает. Проблема в том, что поворачиваться спиной к тому, что тебя пугает, небезопасно. Любое животное это знает. Любое животное, скорее, встретит хищника лицом к лицу, чем предпочтет чувствовать, как он крадется позади, готовясь к прыжку. Не

знать, где он прячется, гораздо хуже, чем видеть, как он идет на тебя, *жареные ребрышки* оскалив зубы. Если ты идешь по темной пустой дороге и внезапно чувствуешь, что тебя что-то преследует, видишь краем глаза какое-то непонятное движение черного на черном или серого на сером, ты ведь обернешься, так? Просто, чтобы проверить. Ты крутанешься назад, надеясь, что ошибаешься; пока ты этого не сделаешь, будешь чувствовать, как страх подкрадывается к тебе, затмевая все остальное, как и всегда в моменты опасности. Все это выглядит именно так, за исключением того, что пустынная дорога и монстр — загнанная в угол мышь и крадущийся кот, обитают у Бена в голове, невидимые никому в автобусе. Они видят лишь семенящего туда-сюда маленького, сухощавого человека в серой полиэстеровой куртке с кондукторским значком, со взмокшим лбом и вытаращенными, как у лемура, глазами. Никто не догадывается. Никто не может помочь. Это все у него в голове, и он заперт там отныне и во веки веков, аминь.

Они снова проезжают стадион «Овал», высадив последнюю холеную клиентуру центрального Лондона и подобрав кучку пассажиров, поднявшихся из метро и нуждающихся в транспорте до

захолустных юго-восточных районов, и вскоре после этого он сдается и оборачивается. Он был прав. Страх был там, прямо позади него, и теперь он *жареные ребрышки* ревет ему прямо в лицо.

— Простите?

— До Пекхам Рай, говорю.

— Точно. Извините. С вас двадцать, пожалуйста.

Он был бы почти что рад, если бы страх набросился на него, если бы на этом все и закончилось. Если можно было бы как-то окончательно сдаться и позволить страху (как иронично) сгрызть его. Один добровольный шаг вперед, и со всем этим было бы покончено. Но так не получится. Его страх недостаточно существенный, чтобы его прикончить, он может лишь бесконечно держать его в своих тисках. (Но у него бывают дни и получше, хоть в плохие дни ему и сложно об этом вспомнить.) Теперь, когда на него смотрят в упор, страх дает слабину. На мгновение он распадается на составные части, как мрачная фигура в темной комнате, которая оказывается всего лишь кучей одежды на стуле. На мгновение будто меняется свет или что-то в этом роде, и Бен видит, что его монстр состоит всего лишь из древнего воспоминания о жуткой картинке из комикса,

из подростковых переживаний о том, что значит хотеть кого-то, — из обычной неуверенности, развившейся в инфекцию. Словно открылось какое-то дальнее окно. Не в этой комнате и не в следующей, а где-то там, за поворотом в конце коридора, возможно, даже через площадку, в комнате на верхнем этаже его внутреннего дома распахнулась давно не открывавшаяся створка, и внутрь ворвался нежданный порыв воздуха. «*Ох*», — произносит какая-то крошечная часть Бена. «Жареные ребрышки?» — жалобно предлагает монстр. На секунду он почти готов рассмеяться.

Однако ужасающая правда в том, что такие периодические моменты просветления ему тоже знакомы. Они тоже — часть этого круговорота, знакомого топтания по кругу, часть его страха, и пользы от них едва ли много. И они совершенно точно не означают победу. Может, это очередные козни страха, а может, что-то еще. Они проходят, и сражение продолжается. И теперь, раз уж он все равно смотрит прямо на свой страх, Бен решает попробовать противоположную тактику и пытается парализовать его взглядом, пригвоздить к месту, заставить усохнуть, прежде чем страх успеет заново обрести форму и дать отпор. Если бы только это хоть раз сработало.

Между тем, пока автобус грохотал по длинному прямому отрезку Кэмберуэлл-Нью-роуд в сторону Уолворт-роуд и парка Кэмберуэлл, они подобрали кое-какой нежелательный груз — банду скинхедов, протопавших в тяжелых ботинках по лестнице на задней площадке и занявших всю переднюю часть верхнего яруса. Горластые школьники, садящиеся у парка или чуть дальше, чтобы доехать до Пэкхема, окидывают взглядом верхний этаж и благоразумно ретируются, но парочка из них со значками «Рок против расизма» выкрикивает что-то, стоит им благополучно очутиться на тротуаре. Вскоре почти весь верхний этаж оказывается под властью Британского движения, а вся остальная часть автобуса — тертые пенсионеры в конце второго этажа и разношерстная публика, заполонившая первый, — нервно ловит исходящие оттуда волны агрессии. Кроме Бена. У Бена, который протискивается сквозь толкучку на нижней площадке, по два раза дергает шнурок сигнала водителю и отпускает билеты в акробатических па, на уме совсем другое.

Что ты такое? Что ты такое на самом деле?

Ты знаешь.

Не знаю. И вообще, я не понимаю, с чего вообще я должен тебя бояться.

Ох, какой храбрец!

Я ведь ничего не сделал. Я никогда никого не ел, так? Ты всего лишь набор картинок у меня в голове.

Уверен?

Я могу просто посмотреть на эти ребрышки в огне. Давай, покажи мне, что у тебя есть.

Жареные ребрышки?

Ха! Ничего! Ты ничто, ты не материален, ты в буквальном смысле просто страх.

Жареные ребрышки.

Я смотрю прямо на тебя, и ты ничего не можешь сделать, не так ли?

Жареные ребрышки.

Ха-ха! И это все? Это ведь твой единственный фокус, да? Ты жалкий…

Тогда отвернись.

Что?

Если тебе ничего не угрожает, отвернись.

Я могу.

И отвернешься. Рано или поздно придется. Ты в безопасности, только пока пялишься на меня в упор. Но ты не можешь обездвижить меня навсегда. Ты моргнешь; вон у тебя уже устали глаза. Ты отведешь взгляд. И тогда…

Заткнись.

Храбрец Бен. Бесстрашный Бен. Бен-герой, чей разум жарится в аду, как барбекю.

Заткнись.

Вот сейчас ты моргнешь, я чувствую. Вот сейчас, вот-вот…

Сам того не заметив, Бен взобрался по лестнице и машинально отпустил два десятипенсовых билета пенсионерам, жмущимся на задних сиденьях. Теперь же он опрометчиво направляется по небывало свободному проходу к группе людей, которых его мозг зарегистрировал как не более чем очередную задачу. Все потому что он в самом деле моргнул, стушевался, отвел взгляд, и страх, компенсируя свое временное заключение удвоенной силой, с ревом бросился ему навстречу, заполнив почти все чувства Бена капающим жиром, пузырящейся кожей и тошнотворными запахами паленой плоти, которые искусно смешались с реальным запахом крови, проникающим через окна из многочисленных пэкхемских мясных лавок, мимо которых пролегает маршрут 36С. И пока члены Британского движения (Бексфордской его части) лениво наблюдают за ним, пытаясь определить, смогут ли они как-то поразвлечься, когда этот задохлик попросит их оплатить проезд, сам Бен вообще не

обращает на них никакого внимания. У него в голове в это время звучит крещендо.

ЖАРЕНЫЕ РЕБРЫШКИ ЖАРЕНЫЕ РЕБРЫШКИ ЖАРЕНЫЕ РЕБРЫШКИ ЖАРЕНЫЕ РЕБРЫШКИ ЖАРЕНЫЕ РЕБРЫШКИ ЖАРЕНЫЕ РЕБРЫШКИ ЖАРЕНЫЕ РЕБРЫШКИ заткнись ЖАРЕНЫЕ РЕБРЫШКИ ЖАРЕНЫЕ РЕБРЫШКИ ну пожалуйста ЖАРЕНЫЕ РЕБРЫШКИ ЖАРЕНЫЕ РЕБРЫШКИ заткнись заткнись заткнись

— Оплачиваем *жареные ребрышки* проезд, пожалуйста.

— Нет, спасибо, мой дорогой *жареные ребрышки*. Думаю, мы лучше *жареные ребрышки* твою маленькую билетную машинку и засунем тебе в *жареные ребрышки*, если ты не *жареные ребрышки*.

На лице старшего и самого здорового скина расплывается ухмылка.

— Простите, — отвечает Бен. — Я не совсем *жареные ребрышки* вас понял.

— Я говорю, — терпеливо повторяет скинхед, подмигнув друзьям, — что мы *жареные ребрышки жареные ребрышки жареные ребрышки ЖАРЕНЫЕ РЕБРЫШКИ ЖАРЕНЫЕ РЕБРЫШКИ ЖАРЕНЫЕ РЕБРЫШКИ…*

– *Заткнись заткнись заткнись*, — в отчаянии

кричит Бен у себя в голове, но затем, запутавшись между внутренним и внешним и не заметив разницы, выпаливает вслух:

— Почему бы тебе просто не заткнуться на хрен, а? Заткнись, заткнись, заткнись!

На секунду все ошеломленно замолкают. Затем главный скинхед поднимается на ноги и, подперев плечами изгиб крыши, покрытый желтой эмалью, наклоняет голову к лицу Бена.

— Что ты сказал? — говорит он тихо, вкрадчиво.

Бена накрывает запоздалая волна адреналина, химический сигнал тревоги, означающий реальную проблему из мира, который большую часть времени уступает место ненавистной буре, захлестывающей его психику, но при этом не перестает существовать и теперь настойчиво требует его, Бена, внимания. Его взгляд проясняется. Или, точнее, теперь он в состоянии осознать, что все это время было у него перед глазами. Человек, уткнувший в него свое лицо, — поджарый, грациозный, плавно двигающийся хищник, чей лысый череп не имеет ничего общего с образом неблагополучного чесоточного детства, проявляющимся в двух его юных приятелях и худощавой женщине в клетчатой байковой рубашке, лишенной

почти всех женских черт, которая пристально глядит на Бена, так, словно его лицо ей знакомо. Что же до главного, изгибы его замшевого черепа сами по себе похожи на какое-нибудь основательное оружие, на увесистую, скрученную головку прекрасно сбалансированного шарикового молотка. У него веселая улыбка, темно-синие глаза в обрамлении красивых ресниц, а его одежда безупречна, как ни посмотри: широкие красные подтяжки, накрахмаленная белая рубашка «Фред Перри»[21], джинсы идеального голубого оттенка, размытого почти до белого, ботинки, филигранно затянутые толстыми красными шнурками. Он тянется к мятому лацкану форменной куртки Бена и презрительно щупает дешевую ткань чуть ниже круглого кондукторского значка с номером. Макушка Бена едва доходит ему до скулы. Должно быть, они оба уже одинаково немолоды, но рядом с этим накачанным, сверкающим, совершенно расслабленным в своей агрессии животным Бен похож на обломок, обрывок, крошечный нервный кусочек хряща.

---

[21] Примечания: 21

Британский бренд, основанный в 1952 году теннисистом Фредом Перри и занимающийся производством спортивной одежды. Одним из ключевых предметов бренда является знаменитая рубашка-поло. В начале 70-х бренд стал одним из символов представителей британских скинхедов и околофутбольных субкультур.

— Ну? — говорит скинхед.

«Мне конец, мне конец, мне конец», — тараторит проржавевший отдел мозга, отвечающий за выживание, и Бен с удивлением отмечает, что ему не все равно. При мысли об этом он не чувствует облегчения. Но он понятия не имеет, что делать; что сказать, чтобы отвести от себя гнев. Челюсть беспомощно повисает, выставив на всеобщее обозрение его безобидные травоядные зубы.

— Кто-то щас получит в жбан! Кто-то щас получит в жбан! — весело скандируют юные прихвостни.

— Ой, да брось, Майк, — говорит женщина. — Ты посмотри на бедолагу.

Не глядя на Бена, Майк сжимает его лацкан, чтобы Бен никуда не делся, и оборачивается к женщине с таким видом, точно ему в рот попало что-то кислое.

— Я же тебе говорил, — начинает он.

Тут рутмастер вздрагивает и останавливается, а Тревор, который все это время поглядывал в свой перископ и искал место, где можно было бы затормозить, выпрыгивает из кабины, обегает автобус и, перепрыгивая через три ступеньки, взлетает на второй этаж. В Треворе почти шесть

футов роста, а во время службы в торговом флоте он получил чемпионский титул в тяжелом весе. А еще он рукоположенный диакон Светозарной Ассамблеи Святого Духа, но он не считает необходимым выражать приверженность терпимому божественному пути в ситуациях, когда ради всеобщего блага об этом можно умолчать.

— Оставьте в покое моего кондуктора и покиньте автобус, — говорит он, и в его голосе звучит лондонско-ямайский рокот, полный низких предупреждающих нот одного громадного животного, обращающегося к другому.

— Опа, смотрите, а вот и шарманщик, — отвечает Майк, с наслаждением переключаясь на более крупную и многообещающую цель. — Или нет? Кто из вас кто? Кто шарманщик, а кто…

— Покиньте мой автобус. Сейчас же.

— А ты не можешь нас заставить. У нас есть права, — встревает один из юнцов, слишком гнусавый, чтобы производить угрожающее впечатление.

— Перевозка пассажиров осуществляется по усмотрению водителя и кондуктора, — рокочет Тревор, не сводя глаз с Майка. — Подзаконный акт лондонского транспортного законодательства. Валите отсюда.

В этот момент два других скина не играют никакой стратегической роли. Бен непроизвольно оказался у них на пути. Даже если они его толкнут, он упрется в недвижимое препятствие в виде Тревора. Все действие происходит между Тревором и Майком, а эти двое, так же как и женщина, так же как и Бен — просто зрители.

Майк резко дергает головой в сторону Тревора. Он чуть ниже ростом, но высота крыши не позволяет ни одному распрямиться в полный рост, и поэтому их лица находятся на одном уровне, нос к носу, бровь в бровь; бледный, острый профиль Майка против скульптурного, точно вытесанного из темного дерева лица Тревора. Кажется, что они собираются потереться носами, как новозеландские регбисты или как два профиля на картинке с оптической иллюзией, где видно то их, то вазу, созданную их очертаниями. Лицо Тревора не выражает ничего, кроме сопротивления, в то время как Майк ликует, наслаждается собой до непостижимой для Бена степени. Рот приоткрыт, язык такой же красный, как и его подтяжки. Вены на лбу вздулись. Рука же шарит в кармане джинсов в поиске твердого бугорка, имеющего форму и размер складного ножа.

— Майк, не надо, — говорит женщина. И хоть

ее голос звучит глухо и изможденно, в нем все равно достаточно силы, чтобы достучаться до мужчины, лицо которого при этом искажает раздражение. Выражение несобранного, не владеющего собой человека; выражение «Какого хрена ты постоянно мне все портишь?»

— В жопу, — говорит Майк в пол, а затем, несколько приободрившись, обращается к Тревору. — Везунчик. У тебя сегодня счастливый день. Давайте, пошли.

По пути он плечом пытается толкнуть Тревора, который с насмешливой вежливостью отступил в сторону на пару дюймов, но тот словно врос в пол и поддался толчку ровно на столько же, на сколько поддалось бы дерево. Майк, ведя за собой женщину и обоих парнишек, пританцовывая[22], удаляется по проходу, пинком оставляет вмятину на стойке лестничного ограждения и с громким топотом спускается и выходит. «Власть белых!» — доносится с тротуара приглушенный крик, и их нет.

Один из пенсионеров со всей серьезностью

---

[22] Примечания: 22

Имеется в виду танец «мунстомп» (*англ.* moonstomp), исполняемый под музыку в стиле ска, появившемся на Ямайке в 1950-х. Позднее танец стал ассоциироваться с неформальными группами, в т. ч. скинхедами.

принимается аплодировать. Тревор утирает лицо носовым платком.

— Дамы и господа, сейчас поедем, — обращается он к пассажирам на верхней площадке, а затем тихо говорит Бену. — Ты совсем из ума выжил?

— Прости, — шепчет Бен.

— Приятель, «везунчик» это очень, блин, правильное слово. Не знаю, что такого ты ему сказал, но имей в виду, что, ввязываясь в такие ситуации, ты и меня в них втягиваешь. А я не хочу вернуться домой с дополнительными дырками.

— Я не… я не хотел.

— А я ничего такого и не говорю. Какой из тебя зачинщик драк? Ты же вечно в своей гребаной стране чудес витаешь.

— Эй, водила, давай уже, — говорит полосатый пьянчуга, который вдруг решил проснуться и увидел, что автобус стоит, а водитель болтает с кондуктором. — Топ-топ.

— Попридержи коней, — отвечает Тревор, но отводит от Бена взгляд, которым все это время его сверлил. — Мы не договорили. В гараже перекинемся парой слов.

Тревор вздыхает и удаляется по проходу к лестнице.

— Я был за вас, — говорит аплодировавший

старичок, когда Тревор проходит мимо. — Потому что у вас, цветных, такие прекрасные манеры.

— Спасибо, милейший, — отвечает Тревор после короткой паузы и, вскинув брови, исчезает на лестнице.

Как только рутмастер снова оживает и они продолжают движение по лучшей части их маршрута, в голове у Бена воцаряется какой-то ошеломленный покой. Куинс-роуд, Нью-кросс, Ламберт-стрит, Бексфорд-хилл, бексфордское депо. Загроможденная котловина города остается позади, и, по мере того как они преодолевают последний зеленый подъем, крыши вокруг исчезают. Вдали виднеется шквалистый апрельский дождь, похожий на маленького смазанного дозорного, раскинувшего темные щупальца над пустырем, где когда-то были доки. Но покой, который ощущает Бен, не абсолютный. Он чувствует, что страх все еще на месте; чуть живой прячется в подвале и обязательно выберется обратно, как только пройдет потрясение от реального мира. Но сейчас он тише, чем когда-либо, даже тише, чем в хорошие дни. Ноги у Бена ватные, грудь болит, лоб вспотел, а руки ледяные и не слушаются — поэтому-то его страх и сидит тише воды. Его хилое, тощее тело городского примата каждую

минуту настойчиво напоминает ему о своей материальности и уязвимости, требует принять во внимание, что оно не просто сосуд, в котором можно хранить всякие ужасные мысли. Это с ним, с ним самим — с телом, с человеком, с личностью — чуть было не случилось нечто плохое. *«Твои пальцы такие же настоящие, как и твои мысли*, — говорят ему пальцы. — *Вообще-то даже более настоящие»*. Это поразительное ощущение и, честно говоря, не очень-то приятное. Ведь если бы кто-нибудь, какая-нибудь добрая крестная фея предложила ему избавиться от внутреннего страха в обмен на страхи из реального мира, он бы тут же согласился. Он подумал бы, как всегда думает, когда скован страхом: противоположностью тому, что его сковывает, является невообразимое и бесконечно желанное ощущение покоя. В сравнении с этим небольшой переполох с кучкой скинхедов это просто «как два пальца». Несомненно, выгодная сделка. Только все отнюдь не так. То, у чего хватило мощи заткнуть эти жареные ребрышки, далеко не умиротворение, а другое, более сильное и более острое ощущение. Быть может, если он не хочет жить в личном адском мангале для барбекю, ему придется согласиться впустить в свою жизнь все те ощущения, далеко

не всегда приятные, которые появятся, если он позволит жизни наполниться событиями. В голове начинают ворочаться гигантские, смутные, тревожные мысли. Может, это пустота его жизни создает весь этот ад или даже эта самая жажда покоя? Может, все это время он сам прижимал к себе этот личный ад? Эти мысли, не имеющие четких очертаний, как сталкивающиеся облака, размазывающие в лондонском воздухе разные оттенки серого, растворяются в большом небе, стоит лишь к ним приблизиться. И коль скоро это довольно тревожные мысли и за них сложно ухватиться, скорее всего, их просто сдует, так же как и чувство вины, которое Бен испытывает за то, что могло бы случиться с Тревором.

Бексфордское депо. Рутмастер занимает свое место в кирпичном гараже с заляпанным маслом полом. Урод в полосочку нетвердым шагом озадаченно удаляется, нахмурив красный лоб. Он, очевидно, не имеет ни малейшего понятия, где находится. Благодаря пробкам обратная дорога заняла так много времени, что они вернулись как раз к концу своей смены. Едва успев отметиться и сдать билетный аппарат и выручку в офис, Бен предпринимает попытку ускользнуть. У выезда на Ист-хилл он видит Родни, который околачи-

вается там, чтобы продать Бену спасительное средство, помогающее ему спать и избавляться от ночных тревог. Но Тревор ловит его в красном коридоре между их рутмастером и соседним.

— Так что все-таки там случилось? — вопрошает он.

— Не знаю, — неуклюже отвечает Бен. — Я не… Я… Кажется, я сказал ему заткнуться.

— Кажется?

— Я думал о другом.

— Но зачем ты *ему* это сказал?

— Не знаю.

— Ну же, приятель, все ты знаешь. Давай, выкладывай.

Невозможно объяснить, что он вообще-то разговаривал совсем не с тем скинхедом.

— Он что-то мне сказал, но я не помню, что точно.

— Как ты можешь не… Ладно. Что такого ужасного, по-твоему, он тебе сказал?

— Я не очень-то слушал, понимаешь… Кажется, он сказал, что засунет билетный аппарат мне в жопу.

Произнеся это вслух, вставив в разговор и осознав, что страх превратился в абсурд, Бен вдруг начинает хихикать. Он заражает Тревора, и тот

тоже принимается хохотать. Некоторое время они оба качаются от смеха, стоя между автобусами.

— Тогда понятно, — говорит Тревор. — Теперь я понял. — Он подавляет последний хохоток. — И ты просто вышел из себя, да? Просто вот так, ни с того ни с сего. — Он щелкает пальцами. — Но ты ведь не агрессивный парень? Я полагаю, у тебя просто не было достаточно возможностей научиться сдерживаться или справляться с ситуацией, когда все принимает такой оборот. Дело здесь в том, что…

Он пускается в рассуждения, судя по всему, являющиеся интерпретацией совета, который Дикон Тревор дает молодым бойцам в каких-нибудь боксерских клубах или даже собственным сыновьям о том, как сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях. Он делает это из самых добрых побуждений, и Бен не знает, как сказать, что сейчас его совет абсолютно не по адресу. Поэтому он просто затихает в ожидании, когда речь кончится и он сможет улизнуть. *Нам снова нужно остаться одним*, говорит страх. Тревор это замечает, и на его лице опять появляются замешательство и огорчение.

— Куда ты улетел, приятель? Я думал, мы друг

друга понимаем.

В этот момент в конце металлической автобусной аллеи появляется уставший ждать Родни. На нем его обычный смехотворный берет и оливковая куртка, на которой черным маркером написано ASWAD[23]. Он протягивает Бену его обычную дозу ливанской травки в маленьком пакетике.

— Эй, уйди, у нас тут разговор, — обращается к нему Тревор.

— А нам тут надо маленькое дельце порешать, — говорит Родни.

— Что? — спрашивает Тревор.

— Ну ты же знаешь. Целебные травки…

– *Что?* — повторяет Тревор. — Это худший закос под растамана, который я видел. Ты где всего этого нахватался? Пластинок переслушал?

— Да ладно тебе, дедуля, — отвечает Родни, стараясь бочком пробраться мимо Тревора. — Я просто выказываю уважение, там корни, культура… Понимаешь, о чем я?

— Это не твоя гребаная культура! Вот это новости, да?! Ты белый сопляк! И убери отсюда это дерьмо! Не забивай голову этому парню, он и так

---

[23] Примечания: 23

ASWAD (*амх.* черный) — Британская регги-группа, появившаяся в середине 90-х.

не в порядке. Посмотри на него!

Сам же Тревор в этот момент даже не смотрит на Бена, он выражается риторически, потому что уже начинает выходить из себя, а Бен тем временем хватает пакетик, сует в лапу Родни голубую пятифунтовую купюру и делает ноги, оставляя Тревора в отчаянии втягивать воздух сквозь стиснутые зубы.

Через дорогу, мимо заколоченного старого кинотеатра «Одеон», он дважды сворачивает и петляет на ноющих ногах. Страх начинает просыпаться; он знал, что *жареные ребрышки* так будет, но теперь у него, по крайней мере, есть лекарство, верная доза средства, размягчающего сознание, которое он так жаждет принять. Неуклюже справившись с ключами, он влетает в дом сестры, проносится мимо ее дочерей, делающих домашнюю работу перед телевизором, отказывается от своего чая, взмывает вверх по лестнице в свою комнату и закрывает дверь на задвижку. Непослушными руками забивает косяк, огонек потрескивает на кусочках смолы, а затем появляется густой маслянистый дым, дарующий забвение и долгожданную передышку после двадцати кругов наперегонки с демоном.

Как много дней проходит так.

Алек

— Оставь, я уберу, — говорит Алек Сандре, когда та машинально начинает собирать миски со стола.

— Серьезно? — спрашивает она, вскинув брови. Он старается, хоть его и не назовешь домохозяином.

— Да, без проблем, встреча только в десять, а пикет в час. Я сегодня праздный джентльмен.

— Ну ладно. Спасибо, милый.

Подавляя привычные рефлексы, она отстраняется от рутинных дел и направляется в коридор взять сумку и надеть пальто. Он слышит, как ткань трется о ткань, когда его пальто, висевшее снизу, соскальзывает с вешалки и ей приходится поднять его с пола. Затем она возвращается на кухню, чтобы заняться макияжем перед зеркалом у двери, потому что там лучше свет. Она задирает подбородок, крутит головой из стороны в сторону, накладывая румяна, и строит придирчивые гримасы с той бескомпромиссностью, которая свойственна женщинам, когда дело доходит до их лиц. Надуть-растянуть-подкрасить губы помадой. На верхних зубах остается след, и она

быстро тянется за бумажным платочком, чтобы его стереть. У нее крупные передние зубы, всегда такими были; и они прекрасно подходят к ее вытянутому, худощавому сложению скаковой лошадки, думает Алек. Он помнит, как сталкивались их зубы, когда они впервые поцеловались на автобусной остановке у Бексфорд-парк (страшно представить) двадцать лет назад. Наверняка она меняется с возрастом, предполагает он. Почти сорокалетняя Сандра, мать двух подростков, не может быть той же восемнадцатилетней девчонкой, небрежно отбрасывающей назад волосы. Но ты ведь не замечаешь этого, если живешь с человеком и видишь его каждый день. Изменения происходят слишком плавно. Более того, они, скорее, добавляют, а не замещают. Они делают свое дело лишь на поверхности памяти, которая сама по себе состоит из множества слоев. Девчонка никуда не исчезает, к ней просто добавляется что-то новое. Может, так это и работает, думает он. Может, именно это и происходит с теми пенсионерами, которых можно увидеть в пабе и которые то и дело заигрывают друг с другом. Все вокруг думают: как мило, что они все еще так нежны друг с другом, несмотря на морщины, его артрит и ее зад, ставший размером с бочку. Но может

быть, они просто не видят этого? Может быть, для них морщины и все остальное — лишь детали, которые можно отмести; потому что в собственных глазах они, по сути, все те же обхаживающие друг друга подростки, которые впервые сплелись языками на автобусной остановке в 1925 году.

— Уф-ф, — мягко произносит он, шутя и не шутя, дразня и не дразня, и тянется рукой к ее бедру.

Свободной рукой она показывает ему два пальца[24] и уворачивается. Кассы кооперативного магазина не ждут. Ей никогда не приходилось работать прежде. Она занималась мальчишками, а его зарплата на Флит-стрит обеспечивала им весьма неплохую жизнь. Они и до этого обсуждали ее возвращение на работу, но никогда не договаривались ни до чего конкретного. Теперь же, когда Алек получал лишь семьдесят долларов профсоюзного пособия по забастовке, им резко понадобилось, чтобы она вышла на работу и Алек сказал бы, что она была рада вернуться в мир, начать жить не только семьей. Она постоянно болтает о людях, стоящих с ней за кассой, которых он ни разу не встречал, но в конце концов,

[24] Примечания: 24

В Великобритании жест, когда указательный и средний палец подняты вверх (V), а рука повернута тыльной стороной наружу, считается оскорбительным и сопоставим с выставленным вверх средним пальцем.

думает он, в том, что он постоянно пересказывал ей сплетни из своей наборной, смысла было едва ли больше.

— Я побежала, — говорит она, подойдя к нему и взъерошив ему волосы. — Веди себя хорошо.

— Вообще-то, — осторожно начинает он, — я думал попытаться поговорить с этим ленивцем наверху. Если он покажется, конечно.

— Ох, милый, — хмурится она. — Стоит ли затевать это все опять? Вы оба в итоге только заводитесь.

Это правда, с тех пор как Алек стал больше времени проводить дома, участились и его стычки с Гэри. Алек и его старший сын вместе образуют весьма нестабильную, легко воспламеняющуюся субстанцию. Они оба зависели от Сандры в роли переводчика и парламентера гораздо больше, чем предполагали. Когда они оказываются один на один, все моментально идет наперекосяк. Но Алек не готов отказаться от затеи достучаться до сына; найти нужную отмычку, чтобы взломать загадочный замок, на который закрылся Гэри. Гэри, которому не так давно требовалась помощь, чтобы не свалиться со своего оранжевого «чоппера» за гаражами.

— Буду ходить на цыпочках, — обещает он.

— Хм-м. — Его слова ее не убедили, но ей уже пора бежать. Она целует его и уходит, а ровно через тридцать секунд после щелчка входной двери он, складывая миски в раковину, видит, как ее голова проплывает над шпалерами у дальней стены их карманного садика, срезая дорогу до Ламберт-стрит и магазинов. Ему видна лишь голова, и, судя по тому как дергаются и взлетают ее гладкие светлые волосы, она двигается длинным, размашистым шагом, тоже (думает Алек) оставшимся от той девочки, которая выиграла забег на сто метров в бексфордской средней школе и всегда двигалась так, словно гравитация действует на нее иначе, чем на других людей. В беговых шортах она была похожа на газель. Какие у нее были ноги! Есть. Были. Неважно. А вот выражение ее лица за тридцать секунд стало спокойнее, тверже, непроницаемее.

— Сохранять непроницаемое лицо в публичных местах, — цитирует Алек, наливая в мойку слишком много жидкости для мытья посуды, — мудрее и лучше, чем публичное лицо за закрытыми дверями[25].

Из раковины поднимается большая буханка

---

[25] Примечания: 25

Алек цитирует предисловие к поэме «Ораторы» англо-американского поэта Уистена Хью Одена (1907–1973).

пены. Алек шарит там в поисках посуды и приборов, вытаскивая каждый найденный предмет на свет, чтобы хорошенько отмыть. Ему приходится смывать пену под большим напором, и все равно, когда он составляет стопки тарелок на сушилку, все они подернуты пузырьками. Так дело не пойдет. Он берет в руки всю сушилку и пытается засунуть ее под кран целиком, чтобы еще раз все ополоснуть, но ему мешает пластмассовая миска в раковине. Он пристраивает сушилку балансировать на правой руке, а левой вытаскивает миску, но теперь ему некуда ее деть. Если он положит ее на сушильную доску, то она тут же покроет пеной всю беспенную зону. Он присаживается, наклоняется и ставит миску на своих «щеночков»[26], точнее на мыски, чтобы уберечь от пены хотя бы пол. Выпрямившись, он левой рукой включает воду, чтобы сполоснуть захваченную пеной раковину. Когда большая ее часть исчезает в сливе, он втискивает сушилку со всем ее содержимым под струю воды и начинает споласкивать. Успех! Пенные следы смывают-

[26] Примечания: 26

Имеется в виду американский бренд повседневной обуви Hush Puppies (англ. «Тихие щеночки»). Обувь изготавливают из мягких материалов, в основном из замши, и передвигаться в них можно почти беззвучно. В 1990-е «щеночки» стали необычайно популярны у манхэттенских модников, дизайнеров, а затем и у звезд шоу-бизнеса.

ся на удивление оперативно, но он слишком сильно наклоняет сушилку, и миски с блюдцами начинают соскальзывать в раковину, а когда он поспешно отклоняет сушилку назад, то тоже перебарщивает, и посуда с другого конца сыпется на пол, а струи ледяной воды из сливного контейнера брызжут ему прямо на джинсы. Он начинает смеяться, и от этого на пол сыпется еще больше мисок, но они не разбиваются, а просто отскакивают, даром, что все меламиновые.

Сверху доносится звук. Алек смотрит в потолок и перестает смеяться. Он подбирает посуду, убирает с ботинок пластиковую миску и все перемывает, на этот раз успешнее. В шкафу он находит швабру и вытирает пол. Все эти манипуляции он проделывает куда более шумно, чем мог бы, но, когда с уборкой покончено, он снова щурится на потолок, однако на этот раз никакого шума сверху не слышно. Он включает радио на подоконнике и обрабатывает кухню первой радиостанцией. Снова ничего.

Он кипятит воду и готовит чай для Гэри. Ловит себя на мысли, что понятия не имеет, какой Гэри любит чай, поэтому для безопасности с меньшей вероятностью прогадать кладет одну ложку сахара и несет кружку на второй этаж. Поравнявшись

головой с покрытой ковролином лестничной площадкой, он видит, что наверху царит полумрак. Дверь в их с Сандрой спальню закрыта; окно в ванной так и осталось зашторено, чтобы утренние водные процедуры Сандры не было видно с дороги; комната Стива открыта, но, уходя в школу, он не раздвинул занавески, и кажется, что ночь никуда не делась, в воздухе все еще витает мрак, плотный, как фланелевая пижама, мягко пронзаемый лучиками света и едким мальчишеским запахом. Запах, надо сказать, и правда едкий; теперь, когда обоняние Алека хорошенько прочистила жидкость для мытья посуды, он чувствует все домашние ароматы, как в первый раз. Пахнет нестираными трусами и другими предметами подросткового гардероба, туалетной водой «Брют 33», лосьоном от прыщей, и все это на фоне общего запашка пробуждающихся подмышечных и паховых желез. Возможно, даже затесался запах смегмы (отвратительное слово, однако крайне полезное, если нужно уделать кого-нибудь в «Скрэббл»). С-м-е-г-м-а. И против всего этого единственной женственной ноткой выступает цветочный запах шампуня Сандры.

Господи, она ведь совсем одна в этом зоопарке, — думает Алек. — *Удивительно, что она не*

выбегает по утрам из дома, кашляя и подавляя рвотные позывы.

Он ставит кружку на край перил и принимается распахивать двери, раздвигать шторы, открывать окна, представляя, как весь дом продувает очистительная буря. Высокие деревья на противоположной стороне квартала начинают зеленеть и вскоре закроют собой фасады больших старых домов. Они живут в небольшой современной заплатке, появившейся, вероятно, после того как прежнюю георгианскую симметрию в этом месте смела бомба. Это единственный современный участок и единственный комфортный для жизни. Динозавры напротив — сплошной мрак с кучей жильцов, вековым слоем пыли на окнах, студентами факультетов искусств, стариками с сотнями кошек и озадаченными всем этим нигерийцами. Хотя некоторые из них сейчас приводят в порядок — те, перед которыми припаркован «Сааб»[27] или «Ситроэн 2CV». Оконное стекло сбрызгивает апрельский дождь, апрельский воздух же нерешительно вползает в дом на пару дюймов и, очевидно, не придя в восторг, удаляется обратно. Ну что ж, он прекрасно знает,

[27] Примечания: 27

Saab Automobile AB — шведская компания, выпускавшая легковые автомобили в середине XX века.

что лишь зря тратит время; часы говорят, что уже почти девять и, если он хочет успеть на встречу вовремя, ему скоро нужно выдвигаться на остановку. *Сейчас или никогда, папаша.* Он берет кружку, стучит в последнюю закрытую дверь на тесной лестничной площадке и, не дождавшись ответа, входит в Гэриландию.

Со стен в пропотевшей темноте свисают древние на вид костюмы из комиссионных магазинов и одна, две, три шляпы-котелка, такие же винтажные. В комнате стоят проигрыватель и ряд пластинок, но нет ни одной книги. На полках, которые сколотил Алек, стоит обувь. Его первенец распростерся под одеялом, и Алека в очередной раз поражает вес этого парня. Сам он жилистый, Сандра — очаровательная гончая. Гэри же крупный, без пяти минут обрюзгший, с огромными покатыми плечами и мясистым валиком вокруг подбородка, который может запросто превратиться во второй подбородок. От кого, черт побери, он это унаследовал? Откуда взялся этот маленький Муссолини?

— Сынок, я принес тебе чай, — говорит Алек.

Гэри не отвечает и не открывает глаз, но притихает. Губы сжаты, брови слегка нахмурены. Алек почти уверен, что он не спит.

— Гэри?

Повисает тишина, точно голосу Алека приходится проделать долгий путь, прежде чем добраться до нужной инстанции. Его обращение летит по коридору, затем вверх по лестнице, пока не достигнет отдела «Назойливый отец» и функционер не снизойдет до того, чтобы обратить на него внимание и вздохнуть.

— Что? — в конце концов отзывается Гэри.

— Я подумал, может, ты захочешь посмотреть вот эти брошюры. Из колледжа. Со списком программ.

— Нет, — отвечает Гэри.

— Вообще-то тебе стоит. Когда будет минутка.

— Ага.

— Тут всякие есть. Изобразительное искусство, столярное дело, электрика.

— Пап.

— Можешь выбрать. Решить, куда ты хочешь попасть, а потом определиться, что для этого нужно.

— Пап! — повторяет Гэри. Его глаза все еще закрыты, но в голосе начинает сгущаться недовольство.

— Что?

— Мне не нужна никакая программа. Я тебе

уже говорил.

— Но тебе же надо чем-то заниматься. — Алек чувствует, как в нем самом беспомощно разгорается раздражение. — Ты валяешься в кровати посередь дня. Не хочешь оставаться в школе — прекрасно, но тогда надо получать какую-то профессию. Надо поднять задницу и…

— Я сплю! — взвывает Гэри. — СПЛЮ, БЛИН!

В порыве ярости он подтягивает огромные ноги и, укрывшись с головой, исчезает из виду. Диалог явно окончен. Чтобы еще четче обозначить свою позицию, Гэри высовывает руку и тыкает кнопку на радио с часами. «Радио Кэпитал» на полной громкости заполняет комнату, Кенни Эверетт завывает почище банши.

Алек ретируется. Его самого переполняет ярость, сдавливает грудь; он крепко сжимает кулаки. Он тяжело топает по лестнице и выплескивает чай в раковину. Тот брызжет во все стороны, и Алек, сделав над собой усилие, вытирает капли, выжимает тряпку и споласкивает кружку. Но злость не отпускает; он часто и раздраженно дышит, а песня, чем бы она ни была, все еще прорывается сквозь потолок. Всем известно, что родительство меняет людей, но он полагал, что это означает те начальные пертур-

бации, когда ты привыкаешь к тому, что твоя жизнь отныне служит защитным коконом. Он не понимал, как справиться с этой недавней, новоиспеченной яростью от того, что надежды и ожидания, которые ты лелеял все это время, начинают трещать по швам и рассыпаться по воле чада; когда оно дает тебе понять, что ему все равно, чего ты от него хочешь, что оно, в сущности, даже не понимает, чего тебе от него надо; когда жизнь, которую ты для них придумал, со всеми возможностями, которые сам бы хотел иметь, со всеми решениями, которые хотел бы принять, оказывается не чем иным, как их собственной жизнью, которую они живут сами. Прошло то время, когда они с Гэри старательно делали его домашнюю работу; все эти проекты с лампочками, батарейками, проводами. Гэри это не нужно. Гэри нужно… Да бог его знает, что ему нужно. Маленький засранец. Ленивый, эгоистичный, неблагодарный маленький засранец. Нет, так он точно не успокоится. И вообще ему уже пора выдвигаться. Свитер, ветровка, книга в кармане. Он демонстративно осторожно закрывает дверь. Без хлопков.

Встреча назначена во дворце профсоюза мебельщиков, стоящего на углу Джокиз-филдз, в

тени самого «Грейс-инн»[28]. Выйдя из автобуса, Алек тут же попадает в водоворот барристеров, облаченных в парики и мантии, загружающихся в черную флотилию такси с коробками документов. Это-то и есть самое забавное в этой части Лондона, в этом конкретном его закутке. На южном конце Грейс-инн-роуд расположилась эдакая закрытая игровая площадка для юристов с деревьями, дорожками, величественными фасадами — точно какой-нибудь Оксфорд или Кембридж решил перебраться поближе к Олд-Бейли[29]. Но стоит подняться по улице на пару сотен ярдов, и район превращается в промышленный. Там, в здании «Таймс», работает четыре тысячи человек — когда они на самом деле работают, конечно, — печатают газеты и рассылают их по точкам в больших грузовиках. Если уж на то пошло, в главном почтовом сортировочном центре по одному

---

[28] Примечания: 28

Почетное общество «Грейс-инн» — одно из четырех судебных иннов Лондона, представляющее собой адвокатское сообщество. Чтобы получить право на адвокатскую деятельность в Англии и Уэльсе, юрист обязан принадлежать к одному из четырех иннов.

[29] Примечания: 29

Центральный уголовный суд, где разбираются тяжкие уголовные дела, относящиеся к подсудности Большого Лондона, но исторически юрисдикция суда также распространяется на всю Англию и Уэльс. В XVIII–XIX вв. суд вместе со знаменитой тюрьмой Ньюгейт приобрели зловещую популярность из-за многочисленных смертных приговоров, справедливость которых во многих случаях была очень сомнительна.

только восточному направлению работают тысячи людей, так что скопление синих воротничков здесь внушительное. А если подняться еще выше, еще на полмили, Грейс-инн-роуд в конце концов утонет в грязи вокзала Кингс-кросс. Пьянчуги, шлюхи, мелкие мошенники, на которых торопливые пассажиры упорно не обращают никакого внимания. И все это на одной улице протяженностью меньше полмили. Похоже на схему общественного деления: от аристократии до самых низов с рабочими трудягами посередине. Но эти части не сепарированы, они смешиваются между собой. Меняются лишь пропорции.

И вот Алек стоит в вотчине аристократов, где доминируют парики, и даже собрание забастовочного комитета проходит как-то по-университетски упорядоченно. Дворец профсоюза мебельщиков располагается в одном из эдвардианских зданий, как старый городской совет или публичная библиотека, которые призваны нести величие в массы. Изнутри же он напоминает упрощенную, профсоюзную версию больших залов в зданиях по соседству. Панели из темного дерева и замызганные стулья из фанеры.

Он немного опоздал. Другие члены объединенного координационного комитета уже собрались,

а Терри Фицнил постукивает шариковой ручкой по списку пунктов сегодняшней повестки. Терри обожает повестку. Забастовка «Таймс» длится пять месяцев, и, хоть в последнее время процесс сдвинулся с мертвой точки, конца на горизонте пока еще не видно. Однако энтузиазм Терри непоколебим. У него словно иммунитет от апатии. Это по-своему впечатляет, так же как, например, абсолютная нечувствительность некоторых людей к боли. Отцы-представители[30] пяти других профсоюзов, представляющих работников «Таймс» и «Сандей таймс», сидят на стульях с помятым видом и собирают всю свою выносливость в кулак, заранее готовые к тягомотине, хоть встреча и не успела еще толком начаться. «Знаешь, в чем залог успешных переговоров? — сказал ему как-то старый Клайв Бёрнхем, перед тем как эмигрировать в Австралию. — Железная задница, вот что». Терри же, наоборот, доволен, как хомяк в колесе. Глаза сверкают, усы подрагивают. Его секретное оружие в защите интересов своих подопечных из НАЦОПа

[30] Примечания: 30

Отец-представитель и мать-представительница — в Великобритании такие звания официально даются сотрудникам компаний, представляющих интересы своих коллег в качестве членов профсоюза журналистов и печатников.

— машинистов, секретарей, барышень, которые записывают объявления, — неограниченная готовность говорить. В любом предложении любого чернового соглашения он обязательно отыщет хотя бы одну двусмысленную формулировку, которую необходимо уточнить. Уточнить дотошно. Уточнить пространно. Уточнить терпеливо. Этот же принцип он использует, когда дело доходит до поддержания братских отношений между профсоюзами.

— На сегодня у нас много всего, господа, — говорит Терри. — Есть кое-какие новости по подготовке к пикету; пришло несколько очень приятных слов поддержки, я вам их зачитаю; кое-какие новости насчет истории со штрейкбрехерами[31] и, я надеюсь, предварительный отчет по плану создания кооператива. Что у нас там с ним, Джош?

— Продвигается, мистер Фицнил.

Изящный реверанс классовому этикету. Джош Иден входит в представительство журналистов «Таймс». Социалист из среднего класса, знающий подход к работягам. Все зовут его Джош, так же

---

[31] Примечания: 31

На профессиональном жаргоне обозначает работника, отказавшегося вступить в профсоюз или продолжающего работать во время забастовки.

как все они друг для друга просто Терри, Алек, Пат, Джордж и Иэн, сам он никогда не называет их по именам. Слишком большая вольность. Признание в форме обращения «мистер» от работника пятого этажа крайне важно, даже если этот конкретный представитель руководящего класса оказывается по ту же сторону баррикад. Наполовину свой Джош продолжает:

— Я подумал, что сперва стоит поговорить о вчерашней встрече представителей Национального союза журналистов? Там случился прогресс.

— Вообще-то я думал поместить это третьим пунктом. Это срочно?

— Я бы сказал «да».

— Ладно. Сделаю пометку, подождите.

Все ждут, пока Терри аккуратно водит ручкой. Кто-то прикуривает новую сигарету от бычка предыдущей.

— Вот так, — говорит Терри. — Тебе слово, Джош.

— Отлично. Спасибо, Глава…

— Глава? — усмехается Пат. — Он тебе что, какая-то сраная книжка?

— Полегче, — говорит Алек. — В таком месте нельзя поносить книги, сам знаешь.

— Я просто стараюсь избегать сексизма, — го-

ворит Джош.

— А немножко секса бы не помешало, в такую-то холодищу, — вклинивается старый литограф из ОЛИХУГа[32], ставший в их компании сертифицированным похабщиком, возможно, потому, что все шуточки он произносит неизменно чопорным голосом.

— И твоя миссус еще в деле? — спрашивает Пат.

— Рад сообщить, что миссис Эдвардс по-прежнему остается тигрицей, коей всегда и была.

Свист и улюлюканье по заведенному порядку. Обычное дело.

— Секс-*изм*, — с упреком произносит Терри.

Он кивает Джошу, и они продолжают.

— Итак, что ж, — начинает Джош. — Как я уже говорил, вчера проходила встреча нашего исполнительного комитета[33], и там обсуждался вопрос с немецким изданием. И я рад сообщить, что было принято решение, согласно которому корреспонденты и журналисты «Таймс» не долж-

---

[32] Примечания: 32

ОЛИХУГ (*англ.* SLADE — Society of Lithographic Artists, Designers and Engravers) — Общество литографов, художников и граверов.

[33] Примечания: 33

Имеется в виду исполнительный комитет Лейбористской партии Великобритании.

ны принимать участие во всей этой схеме.

— Не принимать участие — значит не писать? — спрашивает Алек. — С журналистами непростая ситуация, прошлой осенью их представители добились нового соглашения с «Таймс Ньюспэйперс Лимитед», и их не уволили, когда случился локаут. Технически они все еще работают, хоть и писать им не о чем, ну, или было не о чем, пока не появилась эта идея печатать «Таймс» во Франкфурте только на экспорт. Журналисты единственные, кто появляется в здании, не считая руководства.

— Да, — говорит Джош, и вокруг стола прокатывается волна одобрения. — Но, к сожалению, тут есть один момент, — продолжает он, повысив голос, чтобы его услышали. — Исполнительный комитет сказал «нет», но я не смог добиться такого решения на нашем внутреннем голосовании. Перевес был совсем небольшой, но представительство журналистов «Таймс» проголосовало за то, чтобы участвовать. Некоторые будут писать для немецкого издания. Понимаете, люди очень недовольны, ведь на носу выборы в парламент. Они хотят внести свою лепту. Мне очень жаль, знаю, это все очень нелепо.

— Вот именно, что нелепо, — говорит Пат.

— Подождите-ка, а как тогда быть с пикетом? — спрашивает Алек, подавшись вперед.

Пикет волнует его больше остальных, потому что, когда всплыла вся эта история с немецким изданием, именно наборщики взяли инициативу в свои руки, потому что наборщики и только наборщики удерживали пикет у всех семи входов в здание.

— Если они пересекут черту, они считаются штрейкбрехерами или нет?

— Технически нет, — отвечает Джош. — Согласно нашей конституции, в случае разногласий последнее слово остается за отдельным представительством.

— Пожалуй, стоит уделить этому вопросу внимание, когда будет подходящий момент, — задумчиво произносит Терри. — Может, сформируем рабочую группу?

— Мы не единственные, кто признает важность автономии представительств. — В голосе Джоша звучат нотки протеста. Представительства НАЦОПа были известны своей неуправляемостью и с самого начала этого диспута полностью игнорировали национальное руководство.

— С этим разберемся, — не унимается Алек. — Но что прикажете говорить людям сегодня? Что

мои ребята должны сказать вашим, когда те попытаются войти?

— Перевес был очень маленький, мистер Торренс, — говорит Джош Алеку. — Очень. Я думаю, многим из тех, кто проголосовал за то, чтобы работать, в глубине души очень неловко. Так что я полагаю, если вы сегодня и пропустите кого-то, в долгосрочной перспективе это лишь добавит вам человечности в глазах других.

Пат недовольно хмыкает, но Алек кивает. От троглодитов в типографском подвале журналистов отделяет могущественное социальное течение, но они зачастую работают с наборщиками напрямую или в редких случаях с помощью почти прозрачного посредничества помощников. Он знает большинство авторов «Таймс» в лицо, даже если никогда не разговаривал с кем-то из них. Он набирал их слова последние пятнадцать лет. В этом есть что-то интимное; это то, на что можно сослаться.

— Ну, человечность так человечность, — говорит он.

Через пять часов Алек уже стоит у маленького

прохода в здание «Таймс» с повязкой НПТ[34] на руке. Он уже отстоял свое у главного входа, где пикет наиболее заметен и организован и, соответственно, намного больше шансов нарваться на стычку. Хотя надо сказать, что, не считая громких выкриков, сопровождавших появление Мармадюка Хасси после ланча и проходящих раздатчиков листовок, его смена прошла без излишнего драматизма. Если журналисты «Таймс» сегодня и работают, то делают это из дома. Теперь Алек занял не самый вожделенный другими пост у бокового выхода и, по правде говоря, был даже рад возможности поскучать в одиночестве, а не в компании. Он привалился к стене, облицованной потрескавшейся коричневой мозаичной плиткой, опустил подбородок на грудь и растворился в Марио Пьюзо.

Во всяком случае попытался. Но в состоянии самого здания была какая-то настойчивая, всепоглощающая убогость. Сквозь закрытую решетчатую дверь он вглядывается в короткий узкий коридор, заканчивающийся темной лестницей; точно по ней кто-то может спуститься. Но, разумеется, никто не спустится. Здание пу-

[34] Примечания: 34

НПТ (*англ.* The National Graphical Association, NGA) — Национальный профсоюз типографов.

стует, и от этой пустоты его безжизненность становится лишь очевиднее. Это место никогда не было привлекательным, не было в нем той атмосферы, как в старом здании «Таймс» рядом с собором Святого Павла, где во всем ощущается дух истории, где кирпичная кладка веками пропитывалась чернилами с самой зари печатного дела, со времен ручных прессов и ручного набора. Новый печатный дом, как его назвали в попытке сохранить хоть какую-то преемственность, оказался скучной и неприметной постройкой с искусственными арочными мозаиками над окнами, а единственной приметой того, что это не просто офисное здание, служили огромные ролевые ворота, скрывающие пандус, уходящий в подвал. И потом, какой «дом»? Он ведь даже не квадратный. Форма здания скорее напоминает латинскую букву D, между засечками которой примостился клочок офисного сквера.

Но если что-то и отличало его от других, так это энергия. Когда здание было полно людей, оно гудело как улей. Склочный, разумеется, склонный к перебоям и завалам улей, но даже в моменты раздрая и раздражения где-то там нервно пульсировала срочность, набирая обороты с наступлением вечера и приближением време-

ни печати. Тогда, после того как ребята Пата из НАЦОПа наконец получат свое, а Терри добьется уточнения слова «секретарь» от какого-нибудь особенно незадачливого редактора, прессы оживут, и здание наполнится вибрирующим ревом. Задрожат полы, запрыгают оставленные на столах карандаши, в кружках с остывшим недопитым чаем поднимутся волны. А потом, когда Алек ступит на тротуар и в зимней темноте или задержавшихся летних сумерках пойдет в сторону автобусной остановки, сделав свою часть работы, первые фургоны уже будут тесниться у пандуса, заставленного связками свежеотпечатанных газет, подготовленных к отправке по железной дороге. И тогда утром за завтраком люди в Гриноке и Мерионете смогут прочитать, что Бернард Левин думает об «Аиде» или редакторскую колонку Уильяма Риз-Могга, содержащую такие слова как «претенциозный» или «церемониальный». Ц-е-р-е-м-о-н-и-а-л-ь-н-ы-й.

Сейчас же «дом» стоял бесхозный, как негодный к плаванию корабль. Сильнее всего это бросалось в глаза еще до того, как дни стали длиннее, когда ко времени вечернего чая во всем здании загоралась лишь жалкая парочка окон на шестом этаже, где сидит руководство, а все остальное

здание тонуло в мраке. Темнота пряталась за металлическими оконными рамами, в то время как снаружи все еще серели городские сумерки. В апрельском свете эта заброшенность видна не так явно, но она все еще ощутима и убога. Он сторожит улей без пчел; современные руины; полотно, распускающее само себя. По кабинетам и наборным комнатам крадется энтропия. Копится пыль. У подножия лестницы уже, должно быть, неделю валяется пластиковый стаканчик. Энергия угасает и обездвиживается.

И, по правде говоря, Алек не уверен, что все когда-то вернется в живое русло. Похоже, руководство решило тупо упорствовать в своем желании принять бой, несмотря на то что они понятия не имеют, как его выиграть. Сплоченность профсоюзов же удается поддерживать только на уровне болтовни Терри, но когда дело доходит до чего-то существенного, сразу начинаются препирательства. Единственное преимущество, которое имеют профсоюзы на Флит-стрит, заключается в том, что производимый там продукт скоропортящийся — если «Таймс» не успеет попасть в киоски в определенное временное окно, он потеряет всякую ценность. Но как можно взять в заложники производство, когда работу издания

остановило само руководство? Чем наборщики, и литографы, и девушки, записывающие рекламные объявления, и операторы печатных станков могут напугать их теперь?

Но помимо всего этого есть проблема, связанная только с его профсоюзом; проблема, угрожающая только наборщикам. В обозримом будущем газеты в любом случае должны будут печататься, и для этого будут нужны люди, которые будут управлять печатным прессом. Пусть и не пятьсот с лишним человек, которым, как уверяет Пат, он платит пособие. Да, там на половине конвертов стоят имена вроде «М. Маус» и «Д. Дак», думает Алек, и его губы наборщика кривятся от того, насколько НАЦОП не гнушается ничем. Но где-то на верхних этажах руководство уже закупило и установило автоматизированную систему фотонабора. Там есть клавиатуры, позволяющие набрать в печать сразу целую страницу, а не отдельные строки. И никаких отливных форм или тарахтящих машин времен королевы Виктории. Профсоюз стоит на том, что никто не против пересесть из душных наборных за тихие, чистенькие мониторы, но только если за этими мониторами будут сидеть именно члены профсоюза. Но руководство, вполне закономерно,

обратило внимание на то, что в таком случае наборщики будут просто перепечатывать то, что уже напечатали журналисты. Можно посадить за клавиатуру журналистов, дать им доступ к «прямому вводу» и одним росчерком пера (а если точнее, нажатием клавиши) избавиться от наборщиков. Избавиться от ремесла, которое восемьдесят лет неплохо кормило рабочих. Избавиться от отца Алека и от его деда. Избавиться от самого Алека. Вот чем грозит победа руководства. Вот что они пытаются протащить. Разумеется, не все сразу, они понимают, что им это не удастся. Начать с крохотных лазеек, подточить плотину, обрезать края. Может, вы согласитесь, чтобы девушки напрямую набирали рекламные объявления? Только рекламные объявления! Может, вы согласитесь, чтобы кто-нибудь из вашего профсоюза последил за тем, как один журналист будет набирать текст? Только в качестве эксперимента! До сих пор эти прощупывания в поиске слабых мест не увенчивались успехом. Лес Диксон, президент профсоюза наборщиков, добросовестно приходит на Грейс-инн-роуд каждую неделю, чтобы отчитаться, и его слова звучат так, будто они с легкостью смогут сохранить позиции; будто старшие сержанты профсоюза

на верхних этажах имеют влияние на офицеров. (Во время войны Диксон и правда был старшим сержантом Королевской военной полиции, в то время как Мармадюк Хасси был капитаном Гренадерского гвардейского полка.) Может быть, думает Алек. Может быть. «Миррор» и «Гардиан» же согласились, чтобы за фотонабор отвечали члены профсоюза. Но наедине с оглушительной меланхолией здания, облицованного мрачной коричневой плиткой, сложно не предаваться меланхолии самому. Возле этого перекрытого входа в мертвое здание так и витает ужасающая мысль о том, что его двадцатилетний путь наборщика может в конце концов оказаться дорогой в никуда.

Ой, да ладно, — думает он. *Кончай с этим*. Как бы там все ни обернулось, напоминает он себе, это была хорошая жизнь. Он смог накормить, одеть и дать крышу над головой и Сандре, и их мальчикам. Смог заплатить за школьные поездки, за походы в кинотеатры, за цветной телевизор и за машину. Да и за отпуск тоже. Правда, когда они ездили в Испанию, мальчики очень шумно демонстрировали, как скучно им было разглядывать старые соборы. Стив боготворит Гэри, всегда боготворил, с тех пор как научился ходить, и это

проблема. Если старший брат что-то делает, младший повторяет. Но это уже боковая улочка его личной меланхолии. Год назад все было гораздо лучше, когда они с Сандрой оставили мальчишек самостоятельно барахтаться в ворохе упаковок из-под рыбы с картошкой и на выходные уехали в Кент. И было это, кстати, примерно в то же время года. Стоял бело-зеленый день, они гуляли по гравийному карьеру, лишь они двое, а висевшая в воздухе молочная дымка сливалась с цветами терновника. Словно обрывки тумана запутались в кустах или же, наоборот, бледное небо готово было вот-вот расцвести. Бело-зеленый мир, а в нем — он и Сандра, идущие рука об руку.

Ну и чего ты, нюня, — думает он. Засовывает позабытого «Крестного отца» обратно в ветровку и заглядывает в дверной проем. Тишина. Он просто сбегает к основному месту пикета, убедиться, что все тип-топ.

— Все в порядке, парни? — только и успевает спросить Алек, как парень с бакенбардами, недавно закончивший обучение и переведенный в «Таймс» прямо перед локаутом, чье имя ему никак не удается запомнить, начинает тыкать во что-то у Алека за спиной.

— Эй-эй-эй! — кричит он.

Алек оборачивается и видит, как какая-то фигура катится через дорогу к опустевшему входу. Сходство с шаром для боулинга, конечно, приблизительное, но траектория очень четкая.

— Пойти с вами? Ну, для моральной поддержки? — спрашивает парнишка.

— Нет-нет! — кричит Алек на ходу. — Я его знаю. Один на один шансов больше.

Он успевает добежать как раз вовремя, чтобы перекрыть вход Хьюго Корнфорду. Тому перевалило за сорок, но он все еще в форме, аристократическая корочка нисколько не размякла — наследие регбийных матчей частных школ остается с некоторыми на всю жизнь. У него на ногах вельветовые брюки и броги, а вокруг шеи повязан один из тех бесполезных шарфов, похожих на длиннющий вязаный галстук. И судя по его румяному лицу и несколько беспорядочным движениям, он и в самом деле один из журналистов, что выходили пообедать.

— Вот черт, — говорит он. — Думал у маленьких дверей никого не будет. Привет, Алек.

— Привет, Хьюго. Прости, но пикет везде. Тут тоже закрыто.

— У меня, — голос Хьюго громыхает в груди, точно эхо, стремящееся вырваться из пещеры, —

вообще-то есть ключ. И, как говорят джентльмены, «Извините, я вхожу».

— Я не буду тебя останавливать, — начинает Алек.

— Ты и не можешь, надо полагать. По закону.

— Но я прошу тебя подумать.

— Ладненько. Думаю, думаю. Подумал. Все равно вхожу.

Когда трезвый, Корнфорд совсем не такой говнюк, напоминает себе Алек. Он был иностранным корреспондентом, потом стал писать политические заметки, и Алек читал его материалы уже почти десять лет. (Некоторые наборщики, возможно, даже большинство, пропускают тексты через сознание, совершенно не обращая внимание на их содержание, как морзянку. Но не Алек.) Атмосферные, лаконичные, возбуждающие праведный гнев отчеты из Вьетнама; недавние едкие очерки из палаты общин, где лейбористское правительство мечется от одной чрезвычайной ситуации к другой. Он хорош. Набирать его предложения одно удовольствие. Он один из тех аристократов-троцкистов, плавающих в собственном маленьком мире и иногда выныривающих на протестных маршах, чтобы побыть добрым стариной и «своим в доску». По

крайней мере, был таким.

— Полагаю, ты пришел написать что-то для немецкого издания? — спрашивает Алек. — Я прав?

— Для жалкой ветоши, которая осталась от великой газеты, да. А почему нет?

— Потому что идет пикет, а ты социалист.

— Да неужели? — Корнфорд потирает лицо. — Я даже не знаю, что это слово теперь значит.

Не очень многообещающе.

— Сигаретку? — Алек протягивает пачку.

— Нет, мне пора идти, — отвечает Корнфорд и принимается шарить в вельветовых брюках в поисках ключей.

— Ладно, ладно, — говорит Алек. — Немецкое издание, может, еще вообще не выйдет.

— Вот как?

Динь-дон.

— Ага. Не знаю, в курсе ли ты, но мы попросили немецкие союзы печатников выяснить, кто там этим занимается, и когда они выяснят…

— Надо полагать, попытаются прикрыть? Очаровательно. Очень конструктивно.

— Когда они выяснят, — Алек сам уже начинает злиться, — они дадут им понять, что это все просто полная профанация, чтобы обойти ле-

гальную забастовку в Англии. И тогда пусть сами решают, хотят ли они в самом деле подергать за усы немецкий профсоюз и навсегда попасть в черный список.

— О, ясно. Как достойно. Как праведно. И что?

Он наконец находит ключи.

Алек смотрит на Корнфорда. Ему кажется, что шаткое, но все же достижимое понимание, существовавшее между ними раньше, пропало, а вместо него появилось — или же вернулось — нечто более… жесткое.

— Получается, — не сдается Алек, — ради того, что может вообще не случиться, ты готов рисковать своими… как бы получше сказать… своими отношениями с теми, с кем ты работаешь.

— С кем я работаю? — Взгляд Корнфорда суровеет. Теперь он похож на быка, выглядит почти угрожающе. — Я не работаю *с тобой*. С тобой я отвлекаюсь и теряю время.

— Со мной? — спрашивает Алек, не отводя взгляд.

— Не с тобой конкретно. Я имею в виду с вашими ребятами, со всеми вами. Последние пару лет мы даже не можем быть уверены, снизойдете ли вы до того, чтобы позволить газете выйти. Каждый вечер как на гребаном вулкане.

— Это не мы, это НАЦОП.

— Да какая разница, кто из вас это делает? НАЦОП, НТП, ОЛИГУХ — зла на вас на всех не хватает.

— Ну, за последние пару лет мы превратились в самых низкооплачиваемых работников на Флит-стрит. Ты об этом знал? Руководство увязло в этой чертовой государственной доходной политике, а платим за это мы. Может, ситуация немножко накалилась именно из-за этого, не думал об этом?

— Да мне все равно. Прости, но это так. Я просто хочу писать, что пишу, и быть уверенным, что меня опубликуют. А теперь дай мне пройти, пожалуйста.

Я хочу писать, что пишу. Алеку внезапно становится очевидно, почему Корнфорд так вспетушился и почему он так спешит. Он решает разыграть этот гамбит.

— У тебя есть какая-то история, — говорит он, нарочито ухмыляясь.

— Да!

— И тебе не терпится ее опубликовать, да? Зудит поделиться с миром?

– *Да,* — говорит Корнфорд. — Ну же, дай пройти.

— Если ты туда войдешь, материал все равно

не напечатают. Может, лучше расскажешь мне?

Корнфорд начинает хохотать, но потом замолкает.

— Ты серьезно? — спрашивает он.

— Да. Выкладывай.

— Не обижайся, но я метил немножко в другую аудиторию. Ты, скорее, материал.

— Что ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать, что только что был на обеде в палате общин. Времена вот-вот изменятся.

— Мы можем справиться с тори, — говорит Алек. — Мы вынудили их отступить в прошлый раз.

— В этот раз все по-другому. Это уже не те вялые патриции, к которым вы привыкли. Теперь… Теперь, боюсь, ребята, вас сдует, как одуванчики. Дорогу!

Корнфорд протискивается мимо, оставив позади себя облачко алкогольных паров, отпирает дверь, закрывает ее за собой и исчезает на лестнице. Поднявшись на один этаж, он, должно быть, щелкает выключателем — над ступеньками в конце мертвого коридора оживает маленькая, бледная флуоресцентная лампочка.

Джо

Джо живет в маленьком доме на холмах. Вообще-то это просто летний домик при большом стеклянном особняке, но обособленный от него во время какой-то бракоразводной тяжбы между хозяевами. Теперь он сдается отдельно вместе с небольшим участком на склоне, усеянным темно-зелеными соснами, суккулентами, кустами бамбука и юкки — калифорнийской зеленью, благодаря которой можно ненадолго забыть про вездесущую калифорнийскую коричневость. Терраса располагается на втором этаже, на одном уровне с верхушками деревьев и выходит на запад, прорываясь сквозь небольшой кусочек неба на горизонте к сине-фиолетовой, похожей на покрытый слюдой негатив фотографии, долине Лос-Анджелеса. Когда она там завтракает, на дворе уже обычно далеко не утро. Во время записей, как, например, сейчас, она становится полуночницей, и к тому времени как ей удается избавиться от любой компании — в которой она испытывает все меньше нужды в последнее время, — и выйти на трассу с чашечкой кофе и холодным нарезанным персиком, часы уже

показывают пять часов вечера. Солнце, набухшее и кровавое, уже клонится к западу, а она сидит, купаясь в алом свете. Глаза режет за темными очками. Но затем траектория солнца уводит его за каньон. Последний полукруг его диска вспыхивает ослепительной линией и исчезает, а ее внезапно окутывает мягкий воздух, теплый, как кровь, наполненный длинными тенями. Цикады принимаются настраивать свои инструменты, смог над городом тускнеет, становясь почти перламутровым, огни внизу только начинают неустанное призывное мерцание. Она наливает себе вторую чашку кофе и, пользуясь парой часов, оставшихся в ее распоряжении до вечернего рандеву в очередном ресторане, достает четырехтрековый рекордер и пробует создать немного музыки для себя.

Сначала гитара. Она пытается подобраться к этой песне с обоих концов. У нее есть несколько слов и намек на мелодию, но ничего из этого целиком. Она знает наверняка, лишь какого цвета должна быть песня. Серой, серебристой и коричневой; коричневой, как старое дерево или старая коричневая стена, но никак не теплая коричневая кожа, для которой нужна абсолютно другая музыка. Прохладные цвета, которых на

калифорнийской палитре не бывает даже в такие мягкие вечера, как этот. Может, А-минор? И конечно, только акустика. Она пристраивает на колене свою «Овацию» и подхватывает простой четырехтактный перебор. Она цепляет струны ногтями, чтобы придать звукам меланхолическую, звенящую, почти жалобную резкость. Но не увлекается. Не хочет дергать стальные струны слишком сильно и скатиться в кантри. Хм-м.

Еще и еще, пока чувство мелодии не начинает обретать форму и заявлять о себе. Что-то проклевывается. Структура куплета (три строки: две короткие и одна вдвое длиннее), который пойдет так: *Та-та та ТАА, Та-та та ТААаа, Та та-та та та ТАА та та та-та ТААаа.* И высокий припев из трех респонсорных строчек даст тоскливый, осторожный, напряженный мотив, во всяком случае, в первый раз, а потом наполнится мощным горестным чувством, перед тем как она пропоет его последнюю строчку во весь голос. *Та-та-та, ТАА-та; Та-та-та, Та-та; Та-та-та, ТАА ТАА; Та та та та та-та ТАА ТАА ТАА.* Как-то так. Что-то в этом есть; те цвета, которые ей нужны — серый, серебристый, коричневый, — цвета ее памяти, оттенки того, что она помнит, а не того, что было. Но ее ли они? На этой стадии, когда она лишь

пытается нащупать мелодию, сложно понять, сочиняет ли она ее сама, или же вспоминает что-то давно забытое. Пожалуй, все-таки сама, но она оставляет в голове маленькую заметку, чтобы не сильно удивиться и расстроиться, если когда-нибудь, позже, она услышит, из какой песни к ней пришел этот мотив.

Так. Надо ловить, пока клюет. Тени удлинились и накрыли все сумеречным покрывалом, упразднив золотой блеск по краям листвы; небо стало темно-фиолетовым, а огни города засияли ярче. Подключить звукосниматель. Протянуть конец ленты из новой бобины через головки к принимающей кассете. Немного промотать вперед. *Щелк щелк щелкщелкщелк.* Обнулить таймер. Включить первую дорожку и проверить, как работают иглы на паре аккордов. Убедиться, что вторая, третья и четвертая дорожка отключены. Нажать комбинацию кнопок, чтобы перейти в режим записи и зажать «Паузу». Вдох-выдох и… Отпустить «Паузу». Сладкий, меланхоличный звон А-минор плывет над темными лопастями кактусов и смолистыми звездочками на сосновых ветках. Той частью сознания, которая не концентрируется на том, чтобы максимально точно перебирать струны, она замечает, насколько неотвратимо

звучит эта мелодия: как осознанно, как продуманно — эта мелодия, которую она собирала из бог знает откуда взявшихся фрагментов, бог знает как. Отдельные фрагменты песни нужно усилить. В противном случае при переходе получится каша. А если нужно усилить то, что уже звучит сильно, сначала нужно это ослабить, смягчить ненадолго. Что она и делает. Она играет гитарную партию и очень ей довольна, но тут ей в голову приходит идея, и она перезаписывает ее, на этот раз добавив немного реверберации. Да, теперь хорошо. И хотя она играет в комнате с распахнутыми стеклянными дверьми, выходящей на террасу, перебор стальных струн словно звучит в месте куда большем и пустынном, отражаясь коротким эхом от далеких поверхностей. Возможно, название песни придет из воспоминаний, из того, чего больше нет. Вот так нарастает чувство, облеченное в мелодию, объединяя мысль и звук.

Если бы это была настоящая студийная запись, а не домашняя импровизация, она бы написала партию для басов и для одиноко звучащего синтезатора. Но здесь только она и ее четырехтрековый рекордер, и там есть место только для гитары. Она хочет использовать три другие дорожки для вокала. Вот с ним-то придется повозиться, вот где

надо будет передать всю палитру настроений. У нее уже есть идея. Не целиком — часть ее все еще не оформлена, недоступна и будет недосягаема, пока она не услышит мелодию целиком. Нежный вокал на двух дорожках, ее дуэт с ней же, звучащий с небольшим отставанием, чтобы эхо усилило песню, подчеркнуло тоскливую пустоту. На последней же дорожке она подпоет сама себе. Хор трех Джо: две впереди, лицом друг к другу, а третья подвывает поодаль. *Дуу-уу, юуу-уу, йей-йей.* Все так, как хочет она сама.

Тем временем земля уже совсем почернела, а небо вдалеке, цвета индиго, прозрачное, кинематографичное, словно беззастенчиво ждет, когда засияют прожекторы и зазвучат литавры. (В этом и есть самая главная проблема жизни на Голливудских холмах. Реальность так и тянет в сторону клише, особенно когда сумерки сглаживают дневной налет Лос-Анджелеса, украшая многочисленные одноэтажные шлакоблоковые здания винотек и поручительских фирм светом фонарей и сиянием неба.) Она смотрит на часы. Нет времени этим заниматься. Но есть время начать. Если она поторопится. И если сможет не дать этой поспешности проявиться в собственном голосе.

Вторая дорожка. Подключить микрофон. Достать блокнот, где она начала набрасывать и зачеркивать слова песни. В свете мигающих лампочек рекордера ей едва удается разглядеть, что там написано, но поблизости обязательно должна быть бумага, даже если слова она берет в основном из памяти. Еще одна кристаллизация, еще одна дверь, ведущая к тому, что только начало оформляться. Распеться без записи под гитарный трек, чтобы определить высоту. Вот так пойдет. Не забыть нажать кнопку «Синхр», чтобы между фонограммой и голосом не закралась случайная рассинхронизация в одну двенадцатую секунды. Ошибка в данном случае будет не просто невинной игрой со временем, а, скорее, столкновением мизинца с временны**м** откосом. Вдох-выдох. Постараться отогнать все ночные тревоги и поймать серый, серебристый и коричневый — мелодию тоски по тому, что ушло; ощущение удаленности всего, чему ты дашь имя. Снова становится жарко, словно с уходом солнечного света все воздушные потоки на холмах замерли. Лос-анджелесская ночь наступает. Джо отпускает «Паузу» и подает голос: тихий, лишенный надежды, летящий прямо в жаркую темноту.

Любовь, что мы не познали,

Росток, что не загубили,

Может стать деревом с живыми цветами.

В следующий раз повезет,

Больше беда не придет,

И не лопнет та нить между нами.

Потом припев, и сила, которую успел набрать голос, снова устремляется вверх, тоскливо раскачиваясь туда-сюда. Почти срывается, почти дребезжит, эмоция почти на самой поверхности. И пока она погружается все дальше от поверхности, в настолько глубокое забвение, насколько может, туда, где ничто не может ее отвлечь, ей в голову приходит настойчивая мысль, что она (помимо всего прочего) могла частично украсть мотив *Makin' Whoopee* Рэя Чарльза. Нет-нет-нет. Заткнись, голос разума. А ты — пой.

Надеюсь на Следующий раз, Цепляюсь за Следующий раз Все потому, что В этот раз…

Теперь добавить голосу силы: но не переусердствовать, а просто показать, насколько мощной будет эта строка, когда припев зазвучит второй раз и превратится в полногласное стенание

разгневанной женщины. Немного. Сменить передачу. Наполнить. Усилить. И тем самым подготовить почву для тех слов, которые в этом месте подпоет ее второе «я».

… дуэт наш пою одна.

Сделать паузу. Пусть будет длиннее, чем кажется нужным, чтобы голос с других дорожек точно уместился. Если пауза окажется слишком долгой, она всегда может урезать ее во время обработки. И снова куплеты, но в этот раз сила голоса на протяжении всех строк должна уступать лишь последней строчке припева. Поднажми, Джо. Выпусти на волю Диву. Оглуши эту ночь яростью и отчаянием. Пусть серебристый и серый звенят, а коричневый резонирует.

Дождь шел стеной,
Когда ты сказал,
Что нам лучше порознь: тебе и мне.

Мы чуть-чуть помолчим,
А потом разбежимся
И станем историей: ты и я.

* * *

Что-то с историей, во всяком случае. Канем в историю? Исчезнем в истории? На этот раз мысль слишком настойчиво требует к себе внимания и сбивает ее с нужного настроя. Вся песня становится историей, исчезает, рассыпается, а ее место бескомпромиссно занимает тревога, которую Джо все это время старалась держать на расстоянии.

Черт. Нажать «Паузу».

Судя по часам, времени у нее все равно больше нет. Перемотать к началу, подписать запись «В следующий раз 1» и убрать к другим, в маленькую коллекцию идей, для которых (как ей кажется в моменты отчаяния) вечно или нет времени, или момент не тот, или запала не хватает. Она обещает себе, что точно закончит эту. А еще, напоминает Джо себе, она обещала, что даст послушать что-то из этого Рики, пока может с ним связаться. Пальцы нервно танцуют по полке. «В следующий раз» еще не готова. «Потерянную душу» ему вообще нельзя давать слушать. Она выбирает «Никто не виноват» — бодрый фанк о землетрясениях.

После быстрого душа и недолгих препирательств с собственным лицом в попытках наве-

сти марафет, она садится в свой «жук» и, открыв все окна, отправляется к подножию каньона. В этих местах, когда ночной воздух замирает и застаивается, можно или закрыться в доме с кондиционером, или ворваться в этот воздух, создав ветерок самостоятельно. Возможно, это как раз одна из причин, почему августовскими ночами шоссе забиты чуть ли не до полуночи, а на перекрестках бульваров собираются нетерпеливые очереди. Дело не том, что всем этим людям срочно понадобилось куда-то попасть. Они просто не могут оставаться неподвижными. Горячие порывы ветра, пропитанные запахом шалфея, обдувают ее на каждом повороте, снова и снова, пока она петляет по извилистой дороге. Двигатель гудит, как стиральная машинка, свет фар скользит и прыгает по мусорным бакам, почтовым ящикам, глинобитным стенам, корням сосен, выложенным неровным узором бортикам и стенкам бассейнов, остову старого фортепьяно, вытащенного на дорогу и отданного на заселение сойкам. Кажется, что оно стоит и выцветает там уже лет десять, со времен золотого хипповского века. Для тех, кто поднимается по шоссе, оно отмечает въезд в страну фриков, выезд — для тех, кто спускается. Дорога впереди выпрямляется,

перепады сглаживаются, и уже через минуту она пересекает Сансет-стрит и присоединяется к красно-белому автомобильному паломничеству в никуда. Ее несет поток света. Тропический неон поглощает ее.

Ресторан находится в Беверли-Хиллз. Время от времени Рики ударяется в фанатизм по какой-нибудь малоизвестной национальной кухне или какому-нибудь мексиканскому местечку, описанному где-нибудь как поражающее своей аутентичностью, и тогда они все покорно выдвигаются в Лонг-Бич или Калвер-Сити. Но все-таки по большей части он питает слабость к старой доброй роскоши. Он любит коктейли, стейки, услужливого парковщика, симпатичных официанток и метрдотеля, который знает, кто есть кто, и всегда предложит столик, за которым можно уединиться, но при этом получить свою долю восхищения. Джо подъезжает к ухоженной дорожке, подсвеченной прожекторами, стилизованными под каменные японские фонарики, и какой-то парнишка, напоминающий сильно разбавленную версию молодого Тони Кертиса, бросает насмешливый взгляд на ее «Фольксваген». Но как только выясняется, что она тоже в некотором роде принадлежит к этому окружению, начинает

поспешно перед ней пресмыкаться. Она находит всю компанию в приватной («приватной») беседке у бассейна. Приземистое, вытянутое бунгало из тика, освещаемое голубоватыми бликами с поверхности воды, находится вне зоны слышимости других посетителей, но вместе с тем решетчатые окошки и жалюзи расположены так, чтобы досуг рок-звезды во всех возможных позах оставался на виду.

Она приходит последней или одной из последних. Стол уже заставлен бокалами и едой, а Рики сидит посередине, точно Иисус на «Тайной вечере», с обеих сторон окруженный стайками людей, склонившихся в его сторону и ловящих его слова, пусть даже периодически они переключают внимание друг на друга, чтобы потрепаться об отвлеченных вещах. Она не очень хорошо со всеми знакома, даже несмотря на то что они все уже вторую неделю работают вместе. Вот Си, менеджер Рики, и его спутница, блондинка, изо всех сил стремящаяся вывалиться из укороченного топа. Вот Джонсон, грубоватый басист, которого она недолюбливает. (На все предложения Рики добавить в треки немного соула, он просто молча вздергивал бровь.) Вот Рубе́н, продюсер лейбла; а там Эд, собственный

продюсер Рики и его фаворит, приглашенный, чтобы усложнить территориальное деление. Вот Мелисса, личная ассистентка Рики, XSдевушка из Нью-Йорка. Еще там сидит звукорежиссер из «Аврора Студиос», которого начиная со второй встречи приглашают каждый раз по настоянию Рики, убежденного, что надо быть на короткой ноге со звукачом и его ассистентом, коротко стриженной, опиумно бледной лесбиянкой, которую, в общем-то, интересно послушать, когда она не прячется в туалете. Чуть подальше располагается постоянно сменяющаяся команда сессионщиков, к которым технически относится и Джо, не считая того факта, что на самом деле нет. Ближе всех — фактически прилепившись к Рики с правой стороны, как пятифутовый бронзовый уплотнитель от сквозняка, — сидит его нынешняя девушка, двадцатидвухлетняя Анжелина из Буэнос-Айреса, разыгрывающая очередную партию своего душного моноспектакля «Вечная кокетка». Она пожимает плечами, она надувает губы, она закатывает глаза. Она ковыряет его рубашку заостренными алыми ногтями. Сам же Рики стряхивает пепел в фужер с недопитым «Дом Периньоном» и ерошит свои платиновые, с дорогой укладкой волосы торчком.

— Здоро́во, лягушонок, — говорит она.

— Здоро́во, Джо! — говорит он, поднимая взгляд. За семь лет, проведенных в Америке, его выговор приобрел универсальный акцент кокни-экспата. С ним было бы гораздо проще иметь дело, если бы она могла сконцентрироваться на том, как смешно он звучит, и не замечать того, как озаряется его лицо при виде ее.

— Что еще за «лягушонок»? — встревает Анжелина, глядя волком.

— Та просто старая шутка, крошка, — отвечает Рики и снова обращается к Джо: — Все в порядке? Думал, ты нас продинамишь.

— Просто надо было кое-что закончить.

— Ясно-ясно, — говорит Рики.

Он не спрашивает, что именно. Никогда.

— Ты нам здесь нужна, детка. Сама знаешь, без тебя никак.

Что в ней такого, без чего он не может обойтись, — вот в чем вопрос. Зачем она ему, что она для него? Когда-то это было очевидно. В тот золотой год, когда «Ра́кет» открыли для него Америку и они месяцами путешествовали по всему континенту, музыка была тем, что они делали вместе. Она была с ним каждую минуту, на сцене и вне ее, делила с ним постель в каждом гости-

ничном номере от Нэшвилла до Сиэтла. Это была их постель, не его. В Атланте они вместе пошли на воскресную службу в баптистскую церковь и вкусили госпелы прямо из источника. В Орегоне, в коттедже среди секвой, они всю летнюю ночь играли на мандолине, пока промеж невозмутимых красных стволов не заиграли зеленоватые лучи рассвета. В Уичитском «Хилтоне» он так беспощадно ее щекотал, что она описалась. В тот год она была… чем-то безымянным. Но вместе с тем чем-то большим, чем просто подружкой рок-звезды. Соавтором, лучшим музыкальным другом, верным слушателем, подельщицей во всех абсурдных перипетиях его славы. От Сан-Диего до Бостона она была таким же центральным и незаменимым членом группы, как и он сам. Но только не на бумаге, без каких-либо авторских прав, что сильно упростило ее вылет из группы, когда она забеременела (Бангор, штат Мэйн, сильная пурга), а он запаниковал, не захотел мириться даже с намеком на какую-либо стабильность и вдруг оказался не в состоянии находиться рядом с ней.

Но и совсем отпустить ее он не мог. У нее была вполне стабильная, хоть и мелкая по меркам Восточного побережья жизнь. Она больше не приближалась к хедлайнерам, но и без работы не

сидела, а он добился настоящей славы, немного приукрасив свой белый блюз стразами глэм-рока. Но когда ему надо было что-то записать или когда он просто бывал в городе, он оставлял у нее на автоответчике бодрое, нетерпеливое сообщение, и она оказывалась с ним в студии или в постели, и они ненадолго снова селились в болезненном эхе ушедших дней, которое никто из них не мог до конца забыть. Это была не просто ностальгия. Будь это так, сопротивляться было бы проще. Между ними было что-то затихшее, изодранное в клочья, но все еще вполне живое. Незаконченное дело со слишком долгим периодом распада, в замедленном времени становящееся почти прозрачным.

На прошлой неделе они работали над хриплым шлягером, который она нашла полностью искусственным, куском пластмассового соула, созданного для того, чтобы домохозяйки закидали его трусиками. Он заметил скептицизм у нее на лице.

— Чего, не нравится?

— Не знаю… Какие-то леопардовые леггинсы от мира музыки, нет?

— Ой-ой! А что такого в леопардовых леггинсах?

Шутит, скалится, но на лице все равно написана тревога. Ее мнение все еще для него важно. Он все еще ищет ее одобрения. Он никогда не сделает так, как она скажет, если сам до этого не планировал то же самое, но ему надо быть уверенным. И в этом тонюсеньком смысле она как будто была его женой, способной его успокоить. Или наоборот.

Сегодня все идет по обычной программе. Еда, выпивка, препирательства, дорожка или две; заплыв в неоново-голубом ресторанном бассейне, где Анжелина будет демонстративно брызгаться и требовать к себе внимания; ее с Рики отсутствие, затянувшееся аккурат на время, достаточное для отсоса; неловкие подкаты Си к ней, Джо. Он заметил, что она важный человек для Рики, но так и не смог догадаться, почему именно. И она не собирается облегчать ему задачу. Ближе к часу ночи они выдвигаются в студию. Рики пытается убедить ее поехать вместе со всеми в длинном лимузине, но она выбирает плестись позади в своем «Фольксвагене». (Такой у нее принцип: никогда не оказываться без личного средства отступления.) Еще один раунд бурного веселья, перед тем как настроиться, — переход отмечен торжественным исполнением законченного накануне трека с нотками диско, повергнувшего Джонсона

в состояние ироничного молчания. Затем они наконец могут приступить к сегодняшней задаче — простенькой вещице, напоминающей балладу, у которой, слава богу, есть все шансы стать по-настоящему цепляющей, если сделать все как надо. Писал ее не Рики, это кавер, но очень хитро подобранный под его голос. Он всегда был способен беспристрастно оценить свой талант. Именно это, помимо прочего, восхищало Джо в нем. Он надевает наушники, закрывает глаза и становится серьезным. Она входит в привычный ритм работы с ним, то входя в кадр, то покидая его, как и требуется от бэк-вокалиста, но в остальном безоговорочно становится частью группы, окружающей звукорежиссера в рубке. Когда она дает Рики какие-то советы через наушники или останавливает его, потому что он сбивается с такта, он благодарно кивает.

К половине четвертого они почти закончили. Анжелине уже стало скучно, она зевает, пока они прослушивают запись. Им нужно перезаписать часть с нарастающими стенаниями Джо в третьем куплете, и она снова отправляется за звуконепроницаемое стекло.

— Кто-нибудь, наиграйте мне мелодию.

Ее удивляет, хоть и не сильно, когда за ней

следует Рики и усаживается за фортепьяно. По эту сторону стекла только они вдвоем.

Плинь-плинь-плинь. Он вступает с До первой октавы. Она настраивается на высоту, показывает Эду два больших пальца, звукорежиссер включает запись, она напрягает диафрагму и начинает петь; словно сама себе, тихая рябь голоса банши, которая сольется в унисон с голосом Рики. Он слушает и улыбается. Анжелина недовольно хмурится за стеклом. Пусть все ее умственные усилия направлены только на управление собственными бедрами, она не может не замечать простых вещей, хоть и не понимает, почему должна соперничать с угрюмой, лишенной всякого обаяния и без малого сорокалетней женщиной. Джо указывает в ее сторону.

— Ты выводишь кое-кого из себя, — говорит она Рики.

— Да?

Он ловит взгляд Анжелины, опускает руки на клавиши и без предупреждения начинает стучать по ним в бодром запале пианиста из дешевого бара.

О, королева красоты-ы-ы,

Малышка из Аргентины-ы-ы-ы…

Пусть Анжелина многого не знает, зато она точно понимает, когда над ней издеваются. Она уносится из поля зрения.

— Эд, останови, пожалуйста, — говорит Рики в микрофон.

Зеленая лампочка гаснет.

— Не очень красиво вышло, — говорит Джо.

— А тебя это волнует?

— Нет.

— Я так и думал.

— Мне интересно… — начинает она.

— Я надеялся… — одновременно произносит он. — Что?

— Нет, ты первый.

— Ну, — тянет он, опустив взгляд и тихонько наигрывая. — Я надеялся…

Она знает, что у него на уме. Она по опыту знает, чем все закончится, если она согласится. Двадцать четыре бурных часа в дорогом отеле, отличный секс (потому что они слишком хорошо друг друга знают), некоторое количество кокса в зависимости от состояния Рики и почти наверняка невероятно приятное дурачество с гитарой и фортепиано. Он всегда просит номер с фортепиано. «Эй, Либераче!» — крикнет она, и он станет гоняться за ней вокруг кровати. Будет

весело. А закончится все очередными торжественными заверениями, и он отправит ее домой на каньон в лимузине, против чего она не будет возражать. Они будут притворяться, они оба. Это будет маленькое путешествие в мир, который мог бы быть. Путешествие, возможное лишь потому, что они не будут касаться сложных тем, не будут задавать вопросов и расстанутся, прежде чем притворяться дальше станет невыносимо. И возможно, она все-таки пойдет на это, потому что ей тоже этого не хватает. Но просить его сейчас ответить на вопрос, который она хочет задать, будет слишком похоже на *quid pro quo*, услугу за услугу.

— А как же?.. — Она кивает в сторону рубки.

— Ничего серьезного.

Ей хочется спросить «*А между нами?*», но она молчит. Он видит, что она колеблется, но не допытывается. Что-что, а чувство такта у него есть.

— Так что ты хотела спросить?

— Ты скучаешь по Лондону? — спрашивает она, стушевавшись, но стушевавшись в сторону темы, которая и вправду не дает ей покоя.

— О господи, нет, — отвечает Рики с изумлением. — Был там во время весеннего тура. Мрак-мрак-мрак. Грязно, убого, и атмосфера ка-

кая-то, знаешь, обреченная.

— Говорит человек из Клэриджа.

— Говорит человек из Дорчестера, милая. А что?

— Да так, ничего.

— Скучаешь по дому, да? — Он бросает на нее пронизывающий, оценивающий взгляд.

— Может быть.

— Я тоже скучаю. Правда! Но не по Лондону. Я ведь там и задерживался нечасто, и то только во всяких жутких каморках, но Бристоль… Да, я скучаю по Бристолю. О, любовь моя! — Его голос слегка вздрагивает на высоких нотах. — Но только иногда. Вот сижу я в каком-нибудь отеле, занимаюсь своими делами, то-се, пятое-десятое, и вдруг понимаю, что я уже несколько часов у себя в голове гуляю по Филвуду. Просто где-то на фоне медленно, одна за другой сменяются картинки. И все прямо сжимается. — Он тычет себе под ребра. — Но ты ждешь, и постепенно тебя отпускает. Нужно просто переждать.

— И ты никогда не хотел вернуться туда по-настоящему?

— А разве я могу? У себя в голове я гуляю не по нынешнему Филвуду, а по тогдашнему, где почтовые ящики выше моего роста, а я иду домой

с Лонни Донеган. Вот в чем фишка. А всего этого уже нет. Кроме как здесь. — *Пам-пам.* — Если я сяду на самолет, все равно ничего этого не найду, так ведь?

— Наверное, нет.

— Ты не можешь вернуться домой, детка. Не можешь вернуться назад. Надо идти вперед. Подумай об этом. Что тебя там ждет? — Его голос смягчился. — Точно не мама, милая. И чай на столе не остывает.

— У меня там сестра.

— Та, что вышла за нацика?

— Она самая.

— Заманчиво. Очень заманчиво. Можешь поехать и помочь им спеть «Дойчланд, дойчланд» на улицах Левишема.

— Бексфорда.

— Да без разницы. Нет уж, милая, оставайся на солнышке.

Он исполняет триумфальную концовку — *там, там, та-дам* — из чего становится ясно, что он готов закончить разговор и получить ответ на свое предложение. То, с каким очевидным удовольствием он воспользовался шансом продемонстрировать свою доброту и мудрость, склоняет внутренние весы Джо, и она решается

сказать то, что хотела сказать с самого начала.

— Могу я поставить тебе кое-что?

Он непонимающе моргает.

— В смысле, что-то твое?

— Ага.

— Конечно! В любое время, детка, в любое время.

— Запись у меня с собой.

— О-окей… Хорошо. Хорошо! Давай послушаем.

Они возвращаются в рубку. Рики чуть заметно хмурится в недоумении, а она выуживает из сумки пленку с записью «Никто не виноват».

— Теперь послушаем кое-что от Джо, — объявляет он Эду, Рубену, опиумной Дайк, Джонсону и остальным выжившим. — Я ведь всегда говорил, что когда-нибудь Джо выпустит альбом. Всегда говорил, что она сделает что-то грандиозное.

Все кивают, но, скорее, из вежливости; они не совсем понимают, что происходит. Никто из них не был с ними в турах в семьдесят втором и семьдесят третьем, не видел дней их славы. Рики перестал общаться со всеми теми людьми, вообще со всеми, кто был знаком с его незнаменитой версией. Кроме, разве что, нее. Собравшиеся в рубке улавливают только отголоски из прошлых отношений, и все.

— Рик, — зевая обращается к нему Эд еще до того, как она успевает просто приблизиться к проигрывателю, — а мы можем это отложить? Нам сейчас очень надо свести трек.

— Да-да, — отвечает Рик, прищелкивая языком. — Пожалуй, ты прав. Прости, Джо, труба зовет. В следующий раз, хорошо?

Рассвет застает ее в магазине, на полпути к каньону. Он только что открылся. Обычно она тормозит на обочине и быстро забегает внутрь, только чтобы купить молока и выбрать фрукты из ящиков, выставленных в тени у входа: мохнатые персики, сливы с пурпурно-белым налетом, арбузы, полосатые, как цирковые шатры. Но сегодня она почему-то решает взять чашечку свежего кофе из автомата и присесть с ней под виноградной лозой. Все время, что она здесь живет, на фасаде магазина красуется фреска: девушка-хиппи, похожая на Джоан Баэз[35], с короной из звезд на голове. Цвета, выжигаемые лос-анджелесским солнцем, неумолимо бледнеют. Но недавно владельцы ее обновили. Они планируют

[35] Примечания: 35

Джоан Баэз (р. 1941) — американская фолк- и кантри-певица, получившая известность начиная с 60-х. Социальная активистка, участница антивоенных движений и кампаний против расовой сегрегации, подруга Мартина Лютера Кинга.

наживаться на их славе вечно. Глаза Джоан снова стали пронизывающе бирюзовыми, волосы снова превратились в струящийся черный водопад. А выше непоколебимо сияет голубое небо, не знающее дождя.

Она скучает по дождю.

Верн

Во всех уголках Лондона дождь — обычное дело. Непрерывным угрюмым потоком он обрушивается на мосты, статуи, парки, ржавеющие подъемные краны в доках, двадцать тысяч тесных улиц; пропитанную влагой зелень бексфордского парка и серые башни жилого комплекса Парк-Эстейт; смывает с тротуаров вчерашнюю блевотину, смешивая ее с размокшими бумажными свертками из-под рыбы с картошкой, застрявшими в водостоках; льет на поля для гольфа в Суонли и на авеню, названную в честь цветка, где стоит большой дом, купленный Верном перед вторым банкротством и откуда его теперь вышвыривают.

— Все забирай, — говорит Кэт, глядя, как он тащит по лестнице картонную коробку и чемодан. — Ничего не буду тебе отправлять.

— Да хер там! — отвечает Верн. — Тут вещи на эту неделю. Половина всего, что тут есть, — моя.

— Черта с два. И будь добр, при девочках следи за языком.

Салли и Бекки, четырех и шести лет, прячутся за ногами матери.

— Папочка скоро вернется.

Верн пытается приободрить девочек, но он никогда не был с ними близок, и теперь они жмутся к матери. Две коренастые малышки и одна коренастая женщина, как горошины из одного стручка. Женское царство, полноценное и без него.

— Нет, не вернется, — говорит Кэт. — Папочка сматывает удочки. Папочка! Да когда ты им был? Если бы не я, у нас бы даже чертовой крыши над головой не было! Ты влип, а разбиралась со всем я. Так что ничего твоего тут больше нет.

Это правда, именно Кэт, работавшая бухгалтером в «Албемарл Девелопментс», уговорила его записать дом на ее имя — просто на всякий случай, — только поэтому дом не изъяли в уплату долга, когда «Албемарл Девелопментс» всплыл брюхом кверху. Но он помнит и другие вещи. Сейчас нет смысла спорить, но он ничего не может с собой поделать.

— Ты была за идею с торговым центром так же, как и я!

— Но я даже не думала, что ты так с ним облажаешься.

— Нас похоронили гребаные проценты, ты это знаешь!

— Да мы бы справились, если бы прибыль росла. Но она не росла, и кто в этом виноват? Ты выбрал место. Ты выбрал арендаторов. Ты решил сэкономить на страховке. Ты!

Верн, зажатый между перилами, коробкой и чемоданом, чувствует, как его переполняет знакомая ярость. Кэт тыкает воздух у себя перед носом маленьким острым пальчиком, а лицо застыло в отвращении. Но в ее выражении есть что-то еще, какое-то удовлетворение, удовольствие от того, что она побеждает, пусть даже в споре о том, что разрушило их бизнес. Глядя на нее, он внезапно задумывается, не была ли эта жажда триумфа единственным, почему она вообще решила с ним сойтись. Вот Кэт ухмыляется ему в офисе агентства по недвижимости, где он впервые ее встретил. Вот Кэт в свадебном платье торжествует над своими сестрами. Вот Кэт в постели, резво скачет на нем, впившись в него нетерпеливым взглядом. Вот Кэт в родильном отделении, вручает ему спеленатую Бекки, словно своевременную оплату. Вот в фирме начинаются проблемы, и Кэт впадает в непреклонный пессимизм, в то время как он продолжает кормить себя сказками о том, что все еще может наладиться. Вот Кэт отстраняется, вот занимает оборону, вот нацеп-

ляет каменное лицо. Она же дочь букмекера. Он должен был понимать, что она точно сможет почувствовать, когда удача им изменит. На хер все.

— Раз так, — говорит он, — я ухожу.

— Отдай мне ключ от конторы. Где он?

— Не знаю.

Он лжет. Использует толику того гнева, что раздувает ему шею, чтобы протиснуться мимо нее, схватить первый попавшийся зонт и, оставив дверь открытой, протопать по дорожке прямиком в сырость.

Даже этой короткой дороги до «миникупера» достаточно, чтобы россыпь холодной воды с неба прилепила волосы к лицу и промочила уголки картонной коробки. Вокруг царит мир жидких звуков: стук по карнизам, бульканье на красноватой мощеной дорожке, поросшей сорняками, повыдергивать которые у него никогда не доходили руки. Подъездная дорожка блестит, омываемая потоками воды. К тому времени, как ему удается втиснуть чемодан и коробку на заднее сиденье, а себя — за руль, он успевает промокнуть так, что ему приходится утирать брови галстуком, чтобы хоть что-то разглядеть. «Купер» выглядит таким крошечным. Когда-то это казалось забавным, аккуратная визитная карточка «Албемарла»:

большой мужчина в синем костюме выходит из маленькой синей машинки. *«Албемарл. Большое в маленьком»*. Они хотели сделать это своим новым слоганом, когда компания будет строить второй, третий, четвертый торговый центр. Теперь все это в прошлом. Теперь машина больше похожа на тонкую кожицу, слишком туго натянутую на его отсыревшей и раздувшейся ярости. Ублюдская машина. Ублюдская жизнь. Ублюдская жена. Верн раскачивается взад-вперед, рычит и, не найдя другого занятия для кулаков в таком крошечном пространстве, молотит ими по рулю. Кнопка сигнала залипает, и пригородное спокойствие Суонли гулко и протяжно нарушает звук автомобильного гудка. Если бы не дождь, кто-нибудь из ублюдских соседей обязательно высунулся бы из-за ограды, чтобы посмотреть, что случилось. Ему приходится покрутить руль туда-сюда, чтобы кнопка снова встала на место. Он включает передачу и уезжает.

Трафик в северном направлении шипит, колеса автобусов и грузовиков поднимают фонтаны брызг, сквозь стену дождя, корчась, вспыхивают габаритные огни. Стеклоочистители «Купера» не справляются с ручьями, бегущими по лобовому стеклу. Он горбится и вглядывается в дорогу,

но все вокруг движутся с одинаково медленной скоростью, и дождь все равно не вымоет из его памяти дорогу в Бексфорд. Он бы доехал туда даже с завязанными глазами. Весь путь пролегает по трассе A20: съезд на Суонли, съезд на Сидкап, потом съезд на Элтем — плавные повороты асфальтированной дороги, посреди ничто, и указатели поворотов, всплывающие из сумрака, как неубедительные обещания.

Где-то около поворота на Сидкап он выуживает из бардачка кассету Джоан Сазерленд, исполняющей *«Лючию ди Ламмермур»*[36]. Однажды он видел, как она исполняет ее; давно, лет десять назад, когда выбрался из-под обломков «Гросвернор» и только начал придумывать план «Албемарла». Тогда он еще не встретил Кэт, это случится позже, когда он будет искать агентства, обслуживающие небольшие супермаркеты. И вот раздается этот божественный, парящий голос, закупоренный, выдержанный, только вот пленка уже начала стираться и заедать, умалять то, что однажды было необъятным. Но это все же лучше, чем ничего. В последний раз, когда ставил кассету, он остановил запись в конце части, где Лючию

---

[36] Примечания: 36

Трагическая опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти, основанная на романе Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста».

охватывает безумие, и ему надо отмотать назад всего на восемнадцать минут, и вот она, в окровавленном платье, поразительная, обезумевшая. Верн подпевает тенорам во время движения, пока никто не слышит его душераздирающей фальши, но на сопрано даже не замахивается. Просто слушает и дает даме Джоан рвать душу за него.

Когда он проезжает Элтем, начинают появляться светофоры, отбрасывая красно-желто-зеленые блики на лобовое стекло. Красные кирпичные стены и обступающие дорогу деревья затемняют серый свет, пронзающий насквозь промокший воздух. Пока он тормозит, трогается, рассекает потоки воды в тех местах, где ливневки переполнились, вокруг него смыкается знакомая матрица города. Дуплексы 30-х годов, вскинувшие треугольные брови; здания школ — старые, эдвардианские, и новые, в стиле брутализма; магазинчики на углу, где теперь торгуют чечевицей и пажитником; железнодорожные арки, занятые маленькими гаражами; платаны, сикоморы и конские каштаны, настолько мокрые, что напоминают мясистые канделябры, пускающие слюни, блокируют свет, погружая тротуары во мрак. Он снова под крылом своего Лондона. Ему в голову приходит мысль, что он, пожалуй, в

последний раз проезжает по этому маршруту, а обезумевшая Лючия поет:

Un'armonia celeste, di, non ascolti?
Ah, l'inno suona di nozze!
Il rito per noi s'appresta! Oh, me felice!
Oh gioia che si sente, e non si dice!

Ну что, Верн, гармонию небес ты слышишь ли? Его лицо снова промокло, хоть машина и защищает от дождя. Но, честно говоря, он не слышит. Если задуматься — а сейчас он задумывается, то он никогда не чувствовал ничего из того, что пытается передать Джоан Сазерленд. Он хочет почувствовать, топчется на периферии этих чувств, по крайней мере, когда слушает оперу, но сам он никогда не испытывал такой любви, от которой можно было бы сойти с ума, за которую можно было умереть. Самые сильные из доступных ему эмоций связаны со злостью в ключе отчаяния или ярости. Вот им почти удавалось заставить его потерять голову, позабыть свою расчетливую осторожность. Где-то в глубине души, в надежно защищенной ячейке сердца он надеялся, что брак с Кэт пробудит в нем то, о чем поют теноры и сопрано. Но этого так и не случилось. Быть может, тех великих чувств, о которых пишут оперы, на

самом деле и не существует. Быть может, это все притворство, игра, в которую все соглашаются играть. Быть может, они сродни новостям из далекой страны, которой тоже не существует. Он не знает.

И еще не знает, в более приземленном смысле, что ему делать дальше. У него нет дома, нет денег. Хотя вообще-то ни то ни другое не совсем правда. В конторе «Албемарла» у него лежит небольшая заначка. Именно поэтому ему нужно вернуться туда в последний раз. А счет, где лежит эта заначка, предусмотрительно нигде не упомянутый, пополняется арендной платой с единственной недвижимости, о которой он умолчал, когда они запускали «Албемарл». Это один из старых домов на Бексфорд-райз, чудовищная мрачная древность с изъеденными древоточцами рамами и искрящими пробками, испускающими паленый запах. Но иммигранты и студенты на лучшее и не рассчитывают, а он для них всего-навсего собиратель арендной платы. Что-то внутри, какая-то привычка к осторожности побудила его не распространяться об этом доме, держать его подальше от лап Кэт. Так что теперь ему не придется начинать все с нуля. Он не совсем банкрот, у него есть какая-никакая собственность.

Если понадобится, он сможет выставить парочку студентов и заехать в дом сам, хотя он, конечно, предпочел бы гостиницу. И это все равно лучше, чем последствия развала «Гросвенор», когда у него буквально ничего не осталось и ему пришлось на полгода вернуться в дом матери.

Но вот чего у него не было, так это плана. «Гросвенор» должен был стать империей, стоящей на аренде небольших торговых помещений, но, после того как мясные и овощные лавки уничтожили супермаркеты, все пошло наперекосяк. Тогда его ответом был «Албемарл». Это был способ перейти к более крупным площадям, которые требовались торговым сетям. Он сильно замахнулся, но все-таки недостаточно. Единственными арендаторами, которых он смог заполучить, стали мини-маркеты однодневки, сетевые химчистки и несетевые бургерные. Теперь же такие гиганты, как «Сэйнсбери» и «Сэйфуэй»[37], искали большие новые помещения. Он не смог пробиться в эту лигу даже во времена, когда «Албемарл» подавал какие-то надежды, и уж точно не сможет сейчас. Он перебрал в уме все возможности коммерческой недвижимости и зашел в тупик.

---

[37] Примечания: 37
Крупные сети супермаркетов.

Куда, черт возьми, он еще мог податься, кроме этих проклятых жилых помещений? Разумеется, он имел с ними дело — если занимаешься мелкой коммерческой недвижимостью, жильцы тоже прилипают, как блохи, этого невозможно избежать. Но это все так мелко. Удручающее, душное, малоприбыльное занятие; сектор, со всех сторон теснимый муниципалитетом и частными домовладельцами. Чтобы иметь хотя бы ручеек, не говоря уже о постоянном потоке прибыли, надо костьми ложиться. Протекающие потолки, проваливающиеся ступеньки, бесконечные жалобы. Нет, он грезил о стеклянных башнях, а не об этом дерьме.

Это сводит с ума. Это должно быть его время. Он слушает новости и думает: наконец-то правительство на моей стороне. Мир должен быть его жемчужной устрицей, быть у его ног, должен наконец дать ему то, к чему он стремился всю сознательную жизнь. Но вместо этого он под проливным дождем паркует «Купер» на аллейке, наполовину занятой самосвалом, и с трудом закрывает замок, придерживая сухой остаток своего брака, сложенный в отсыревшую коробку.

Spargi d'amaro pianto il mio terrestre velo. Горькие слезы роняй, на земное свое облачение, Верн.

Из-за непогоды в конторе царит полумрак. Застоявшийся воздух пахнет неиспользуемым пространством, на полу — мышиный помет. Водянистый свет льется через передние окна, выходящие на площадку мини-маркета, чей неосвещенный стеклянный фасад возвещает о кончине бургерной, химчистки и магазинчика. Снаружи неразборчиво барабанит дождь, создавая шум влажных помех. Он мог бы включить лампы, и голубоватый свет осветил бы хлорофитум, зловещие пухлые письма на коврике, составленные на столе папки. Но в том, что комната напоминает темную защищенную пещеру, есть что-то утешительное. И потом, кто-то из местных кредиторов «Албемарла» может заметить свет. Он ставит коробку и взбирается на стул. Четыре потолочные плитки от левой стены, три к центру комнаты. Кэт никогда бы не догадалась туда залезть, да и роста бы не хватило. Мелкая сучка. Он надавливает на плитку, и та, тихонько скрипнув, поддается. На обратной стороне он находит нетронутый, приклеенный скотчем пакет с заначкой — сберегательной книжкой и тоненькой пачкой коричневых десяток и фиолетовых двадцаток. Как только они оказываются в кармане его куртки, ему сразу становится легче.

В потолке зияет огромная, очевидно заметная дыра, и Верна подмывает оставить все как есть, чтобы этот черный квадрат в следующий раз с ходу объявил Кэт: ты кое-что упустила, тупая корова. Хотя, пожалуй, не стоит. Он уже усвоил, что не стоит недооценивать ее способность создавать проблемы. Если она догадается, что осталось что-то еще, точно за этим придет. Но каков соблазн. Стоя на пластиковом стуле, он крутит в руках пенопластовую плитку; она такая хрупкая, такая рыхлая, такая зернистая. Он чувствует, как мог бы разломить ее пополам и еще раз пополам, а потом рассыпать белые крошки на неподметенный пол. И не останавливаться на этом. Он мог бы слезть со стула и продолжить крушить. Разнести это место. Метаться, как мечется в старой берлоге разъяренный медведь, сбросить папки на пол, перевернуть стол, разбить стеклянные дверки шкафчиков, швырнуть в стену печатную машинку. Потоптаться на бумагах. Помочиться на них. Устроить хаос. Рвать, бить и расшвыривать. Сука, сука, сука.

От одной лишь мысли об этом у него учащается дыхание, а в пальцах начинает покалывать. Лучше не надо. Он боится, что если войдет в разрушительный раж, то может и сам рассыпаться

на куски, и Кэт, придя, обнаружит его по частям, валяющимся среди обломков. *Шух, шух, и-и-и.* Он спускается, ставя на землю сначала одну толстенную ногу, затем другую. Стоит, закрыв лицо ладонями.

Чашка чая, вот, что ему нужно. Где-то здесь должен быть чайник. Ага, вот и он, пылится в углу рядом с почти полной пачкой имбирного печенья. Он наливает воду и, пока чайник закипает, усаживается за стол и одно за другим поедает печенье. Сладкая каша налипает на зубы, и ему становится лучше. Он наблюдает, как капли дождя, ветвясь, стекают по оконному стеклу — медленно, медленно и вдруг, раз, и вниз — и в сером свете дня посверкивают, словно ртуть. Лужи на земле рябят и морщинятся. Ливень ослаб, стена дождя превратилась в мелкие брызги, но за размеренным гудением чайника все еще слышится его бормотание.

Никакого молока, естественно, нет, и перспектива пить едкую, черную, безмолочную жидкость не очень-то привлекает Верна. Но к тому времени, как чайник вскипает, ему уже все равно, потому что у него зарождается идея. Не то что бы что-то грандиозное, на чем можно построить следующий бизнес, но вполне подходящее для

того, чтобы вернуться в игру, чтобы быстро приумножить (он пересчитывает) две с небольшим тысячи фунтов из его заначки и — что, пожалуй, не менее важно — чтобы голос у него в голове, рассказывающий о его жизни, как о романе, сказал бы: «Да-а-а, Верн снова в деле». Он знает одного парня, Малкольма Дикина, который планирует вложиться в муниципальное жилье, когда в следующем году вступит в силу право на выкуп[38]. Финансируешь жильцов, которые не могут получить ипотечный кредит, потом, когда дело доходит до продажи, вносишь львиную долю цены. У Дикина уже очередь из инвесторов. Верн из любопытства разузнал обо всем этом подробнее, и дело в том, что хотя программа еще не вступила в силу и это никто не анонсировал, но скидки на жилье для жильцов уже действуют. И если появится какой-нибудь независимый агент и уже сейчас приведет несколько человек, Дикин наверняка не откажется их выкупить. Для него, Верна, никакой возни и гарантированная прибыль. Что ему нужно сделать, так это использовать свои две тысячи и устроить сделку, которая в перспективе принесет семь или восемь,

[38] Примечания: 38

Программа, предусматривающая продажу сдаваемых в аренду муниципальных помещений тем, кто уже давно их арендует.

и перепродать ее Дикину, немедленно получив три или четыре. Бам! И все по новой. С двумя тысячами начать можно только с квартир или мезонетов. Но можно ведь!

Верн взвешивает все еще раз и печатает на машинке несколько документов, тыкая по клавишам двумя пальцами. Перед уходом он раскрывает бухгалтерские книги, которые, скорее всего, понадобятся Кэт, когда она придет, и поливает их водой из чайника. Чернила плывут, размазываясь и завихряясь. *Получай, дорогая.*

Выходя, он закрывает дверь, ломает ключ, оставляя одну половину в замке, а другую бросает обратно в почтовую прорезь. *Слесарю и всем остальным сама заплатишь.* Да, точно, сначала завтрак, а потом работа.

Час спустя, даже плотно позавтракав беконом, сосисками, жареными яйцами и бобами, Верну не удается сохранить бодрость духа. Он стоит в тесно застроенном комплексе, заплатке, прикрывающей следы бомбежки по одну сторону Бексфорд-Райз, растянувшейся на две трети улицы, неподалеку от его монструозного дома, куда он планирует заглянуть после. Низкие облака все еще шлют на землю мелкие, пронизывающие иглы. Они уже пронзили его дешевый складной

зонтик, совершенно не предназначенный для продолжительного ливня; маленький, помятый — неважное укрытие в руках крупного мужчины. Голова чуть влажная, а плечи уже вымокли насквозь. Яркая синева его костюма потемнела, засверкала пурпурным. Вдобавок ко всему, несмотря на окоченевшие пальцы, сам он чуть ли не горит под мокрой тяжестью костюма. Вниз по кирпичным стенам ползут потоки воды, льющейся из переполненных сливных желобов.

Он стучался во все мезонеты, растянувшиеся напротив больших домов по другую сторону улицы, но ему никто не открыл. Должно быть, здесь живут в основном семьи рабочих, и их вряд ли заинтересует его предложение. Он ищет больных, старых и одиноких. Но он решил, что лучше начать с мезонетов, а уж потом переходить к беспроигрышным вариантам, вроде квартир на высоких этажах, кредиты на которые строительные компании одобряют крайне редко[39]. Мезонет окупится гораздо лучше квартиры, если ему, конечно, удастся его заполучить. Он ни на что особенно и не рассчитывал, но блуждание под дождем от двери до двери с честной, но невос-

[39] Примечания: 39

В Лондоне и в Англии в целом сложно оформить ипотеку на квартиры в высотках, расположенные выше пятого-шестого этажа.

требованной улыбкой наготове, как ни крути, удручало.

Из-за последней, шестой двери, однако, доносились признаки жизни. Когда он постучал, ему открыл жилистый, загнанного вида мужчина приблизительно его возраста.

— Да? — говорит он.

Вернее, начинает говорить, но пока слово еще частично находится у него во рту, откуда-то сверху вырывается мощный голос.

– Эй, ты, туда не смотри — сюда смотри! А здесь тяжелый-претяжелый чудовищный звук! Самый чокнутый звук в округе![40]

— Гэри! — кричит мужчина в дверях, обернувшись в сторону лестницы. — Гэри, твою мать! Сколько раз тебе надо повторять, чтобы ты выключил эту сраную музыку!

— И если ты заглянул к нам с улиц, и уже чувствуешь, как тут жарко, тогда, чувак, начинай уже двигать ножками под самый роковый рокстеди ритм…

— ГЭРИ! Выключи, блядь, свою сраную музыку!

– НА ШАГ ВПЕРЕ…

Тут музыка выключается; по крайней мере, сти-

---

[40] Примечания: 40
Песня «One step beyond» группы Madness.

хает так резко, что можно счесть это за тишину.

— Извини, приятель, — говорит мужчина, устало потирая лицо. — Чем могу?

— Ох уж эти подростки, — понимающе отвечает Верн. Но, прежде чем он успевает хоть что-то добавить, мужчина подается вперед и пристально в него вглядывается.

— Господи Иисусе, — говорит он. — Да это же Вреднон Тейлор.

— Что вы сказали?

— Прости! Прости. Нечестно было кидаться школьными кличками. Но это же ты, да? Вернон Тейлор?

— Мы знакомы?

— Мы учились в одном классе. Холстед Роуд?

— Точно. А… А вы кто?

— Алек Торренс, — говорит малый и сует ему руку.

Верн опасливо ее пожимает. Теперь, зная имя, он вглядывается в лицо человека (измотанное, небритое) и видит, как на него накладываются черты более юной версии, а может, наоборот, проступают откуда-то из глубины.

— Точно, точно… — говорит он. — Наглый мелкий говнюк. Вечно доводил того директора, как его там…

— Генри Харди.

— Точно. Ты ведь специально слова коверкал, да?

— Каюсь, было дело.

— А он весь краснел и такой…

– *Научись хотя бы разговаривать правильно, мальчик!* — говорит мужчина в дверях.

Они оба неуверенно улыбаются.

— Да-а, — говорит Верн.

— Да-а, — говорит Торренс.

Но момент быстро проходит. Воспоминания о прошлом вытаскивают на свет детей, которыми они были тогда: толстяк и хитрожопый умник. Они недолюбливали друг друга тогда, и у них нет причин начать любить друг друга сейчас. Вреднона Тейлора Вернон не забыл, не простил. Ему приятно видеть, что этот маленький говнюк-всезнайка вырос таким жалким. Зачуханный, сидит дома посреди дня чуть ли не в пижаме, орет на детей. Определенно попахивает неудачником. Может, стоит этим воспользоваться? Разъяренный медведь, которому до этого не позволили рвать и метать, снова дает о себе знать. Он поднимается откуда-то из глубины, потягивается и дает понять, что в том, чтобы выжать этого хитрожопого умника ради необходимой рекапи-

тализации, было бы определенное хищническое удовольствие.

— Так как поживаешь? — участливо спрашивает Верн. — В поисках работы?

— Не-а, я работаю в печати. Всю жизнь работал. Наборщик в «Таймс». Только сейчас мы без работы. Ну, технически это не забастовка, но суть та же. Уже год почти.

— Ох. Непросто, наверное, — говорит Верн. — Трудные времена, да?

— Да нормально. — Торренс слегка вздергивает голову, явно отмахиваясь от сочувствия. — Но, если ты вдруг что-то продаешь, то тебе точно не сюда. Ты что-то продаешь?

— Я, что тебе, гребаный торгаш? — взрывается Верн без всякого внутреннего предупреждения, без какого-либо зазора между манипуляторским спокойствием и полной его потерей. От нуля до ярости за ноль секунд.

— Воу! — Торренс вскидывает перед собой руки, брови тоже взлетают вверх. — Приятель, вообще-то это ты стоишь у меня на пороге.

— Извини, — бормочет Верн, прижав к лицу руку — большой розовый хомут, сжимающий вялую маску, которая отказывается вести себя как надо.

Торренс, уже было взявшийся за ручку и собравшийся отступить внутрь и закрыть дверь, останавливается и медлит.

— Я думал, это у меня сегодня паршивый день, — говорит он. — Слушай… Может, зайдешь и выпьешь чаю? Ты весь мокрый.

В обычной ситуации он бы с презрением отмахнулся от подобной мерзкой демонстрации жалости, в особенности от какого-то напыщенного, переоцененного, изнеженного, ни разу в жизни не рисковавшего большевистского мудака с Флит-стрит. Но сегодня он покорно протискивается через темный узкий коридор, увешанный пальто, в маленькую кухоньку, где у стены торчит стол, рассчитаный от силы на четыре стула. Откуда-то сверху доносятся звуки музыки. *Туц-бум, туц-бум.* Торренс поднимает к потолку сердитый взгляд. Капли дождя все еще бродят по оконному стеклу над раковиной, за которым открывается хлюпкий, мрачный пейзаж. Верн подмечает, что жилище хоть и маленькое, но опрятное. Все лежит на своих местах. Рядом с настенным телефоном стоит стакан с шариковыми ручками. На пробковой доске фотографии с семейного отпуска и записка с напоминанием о чьей-то записи к зубному. Кто-то недавно вымыл

посуду, предположительно, Большевик. В кухне пахнет мылом и жидкостью для мытья посуды: запах чистоты, так пахнет в тех местах, где все идет как надо. Верну все это напоминает музей забытых вещей.

— Садись, снимай мокрую одежду, — говорит хозяин.

— Я намочу мебель, — говорит Верн.

— Да ничего. Вот, тут есть бумажные салфетки, а я пока поставлю…

— Моя жена вышвырнула меня из дома, — говорит Верн, обращаясь к столешнице.

— Ох, приятель… Ох, приятель! Так, к черту чай.

Торренс ставит на стол стакан, достает из шкафчика бутылку виски и наливает золотистую жидкость на два пальца. Затем садится напротив и упирается лбом в пальцы, очевидно, приготовившись слушать.

Но Верн не знает, как это делается. Он опрокидывает виски и согревается, но все еще понятия не имеет, как уложить все мучения этого дня в мало-мальски приемлемую форму. Да хоть в какую-нибудь форму, вообще-то, потому что помимо необходимости оставить при себе подробности о бизнесе, он не представляет, как в

принципе сложить в историю все эти мысли о доверии и осознании того, что у него нет никакой поддержки.

— Она, — пытается он. — Я думал… — пытается он.

Торренс ждет. Но дальше ничего не следует. Между бровей закрадывается озадаченная морщинка.

— Ну ладно, — вкрадчиво начинает Алек. — Вернон, а чем ты занимаешься вообще?

— Недвижимость, — отвечает Верн.

— Правда?

Снова тишина.

— Тогда здесь для тебя, наверное, и правда ничего нет. Тут же все муниципальное. Или… А, понял! Ты тоже участвуешь во всем этом цирке на Бексфорд-Райз?

— В каком цирке? — вяло спрашивает Верн.

— Ну, эта бригада на «Саабе» и «Вольво». Хьюго и Иокаста. Наши новые зажиточные соседушки, которые просто «абажа-а-ют эту чуде-е-сную георгианскую архитекту-у-ру». Ты с ними, да? Нет?

— Погоди-ка. На Райз?

— Ага, сам можешь посмотреть. Четыре или пять домов уже, наверное. Но, слушай…

— Мне пора. — Верн вскакивает, задевая стол.

— А, ну… Хорошо, но…

Торренс, сбитый с толку, следует за ним к входной двери и делает еще одну попытку, пока Верн раскрывает свой карикатурный зонтик.

— Ты ведь что-то хотел, нет?

— Тебя это точно не заинтересует, — жестко отвечает Верн. — Спасибо. Было очень… мило.

Было очень странно, написано на лице у Торренса, когда тот закрывает дверь. Но Верн тут же разворачивается и по лужам спешит к аллее в конце ряда домов, по которой можно выйти прямо к Райз. Дождь все еще идет, но водяные иглы превратились скорее в брызги, перемежаемые редкими крупными каплями, а ветерок уже начал шевелить деревья и отгонять серые тучи.

Он выходит из-за ограждения и видит их — темные остовы Бексфорд-Райз, выстроившиеся в длинные шеренги по обеим сторонам улицы насколько хватает глаз. Они тянутся от Ламберт-стрит и парка до пышных крон Бексфорд-хилл. Штук семьдесят или восемьдесят — некогда величественные жилища банкиров, брокеров, юристов, врачей и процветающих торговцев, светлые и просторные, возвышающиеся над грязным муравейником, где сколачивались состояния на их содержание. И вот двести лет

спустя почти все они представляют собой то, что Верн всегда в них видел: разваливающиеся, перекошенные, непрактичные чудища, слишком большие, чтобы их ремонтировать, годные лишь на то, чтобы, пока не пошли под снос, набить их самыми нетребовательными жильцами. Куда ни глянь, повсюду въевшаяся сажа, растрескавшаяся штукатурка, следы затоплений, выпирающие кирпичи и трещины в тех местах, откуда вывалились крепления. Оград не осталось еще со времен войны, когда их забрали на металлолом, земля задыхается от мусора; на окнах — серые хлопья застарелой грязи.

Но Торренс прав. Поднявшись по холму, Верн замечает дом, о котором тот говорил, а потом еще один и еще. Перед ними и правда стоят старенький зеленый «Сааб», болотный «Ауди», серебристый «Вольво» с недостающим колпаком — не самые модные и не самые дорогие автомобили, но несомненно принадлежащие каким-нибудь манерным мещанам. На заднем сиденье «Сааба» лежат две бутылки вина и мешок цемента. Дома, напротив которых припаркованы машины, облеплены строительными лесами, с входных дверей полностью или частично соскоблили краску. На первом этаже в одном из домов ярко

горит свет, в окно видны стены, выкрашенные в белый цвет, с маленькими серыми прямоугольниками картин. В другом доме темно. Верн по дорожке подбирается к окну, чтобы заглянуть внутрь, и замечает желтоватое мерцание: бородатый парень в комбинезоне сдирает старые обои при свете трех свечей, торчащих из видавшего виды, заляпанного краской канделябра. Да-да, настоящего, вашу мать, канделябра, который свисает с потолка на бесполезных, вышедших из строя проводах.

Все это явно не производит впечатление высокобюджетного ремонта, больше похоже на самодеятельность энтузиастов-любителей. Водители «Сааба» пытаются организовать зажиточный островок в центре бексфордской глуши. А это значит, по крайней мере, должно означать, что им и правда все это нравится: эти перекошенные двухсотлетние решетки, скрипучие дубовые полы, зарытые под геологическими отложениями в виде линолеума, подложки и фанеры, старая вздувшаяся дранка и штукатурка, заклеенная дешевыми обоями. Причем нравится настолько, что они готовы сами обустраивать здесь все, задешево, потому что они не смогли бы позволить себе ничего подобного, если бы эти дома с тече-

нием времени не утратили своей роскошности, как, например, в Белгравии. А это значит, думает Верн, что на каждого бородатого архитектурного фанатика, готового делать все своими руками, почти наверняка найдется целая куча чуть менее фанатичных людей с подобным вкусом, готовых заплатить, чтобы такой же дом для них привел в порядок кто-то другой.

Он так пристально таращится на парня в комбинезоне, обдумывая эту мысль, что тот в конце концов оборачивается, почувствовав на себе взгляд, и подпрыгивает от неожиданности, обнаружив голубого овального призрака, витающего в сырой темноте его крыльца.

Верн кивает и удаляется к крыльцу своего собственного дома на этой же улице. Он складывает зонт и, не обращая внимания на дождь, задирает голову, силясь разглядеть в этом здании хоть что-то ценное, хоть что-то желанное. Дом нависает над ним, как полуразрушенная черная скала. Его собственное впечатление от этого дома: старый, старый, старый. Пожеванный временем, использованный временем, в каком-то смысле зараженный временем; словно люди, жившие в этом гигантском человеческом гнезде, от аристократов в париках и бальных

платьях до беднеющих клерков, бродяг и работяг со всего света, с их вечно кашляющими детьми, газовыми горелками и ужинами, сделали это место непригодным для какого бы там ни было обновления. Здесь было прожито и окончилось так много жизней, что они уже неотделимы от этого места; они промаслили все поверхности, осели на них толстым слоем грязи. Но есть еще кое-что, эти жуткие разговоры о том, что иногда вещи — материальные вещи — проживают более длинный и медленный цикл, чем одушевленные предметы; что иногда они переживают нас, затмевают нас; что они останутся на своих местах, когда нас ликвидируют, как смертный мусор, как бы ни хотелось нам, чтобы было наоборот; чтобы наши потрепанные пожитки отправлялись в утиль, а тела оставались бессмертными. Фу. Он не будет тут жить. Он однозначно поедет в гостиницу. Старинный, старинный, старинный. Ему надо приучить себя воспринимать все это именно так. И изучить, что именно интересует этих переселенцев, чтобы ненароком не избавиться от чего-нибудь, над чем они трясутся. Или найти кого-то, кто сможет ему все объяснить. Быть может, в этом и была главная причина всех его неудач в бизнесе. Он хотел что-то создавать, а

надо было работать с тем, что есть.

Но если он собирается начать скупать и приводить в порядок Бексфорд-Райз, ему нужен капитал, а лучший способ быстро его собрать — это Дикин. Поэтому, в то время как дождь стихает до разрозненных капель, а светлый узелок промеж туч начинает потихоньку распутываться, он возвращается к квартирам на седьмом этаже, стучит, стучит и стучит, пока в конце концов ему очень кстати не открывает сбитый с толку пенсионер в майке.

— Здравствуйте, — тепло здоровается Верн. — Я представляю фирму «Фезерстоун Инвестментс». Сэр, как вы смотрите на то, чтобы прямо сейчас заработать две тысячи фунтов?

Вэл

Майка мучают головные боли. Такие сильные, что порой он по полдня не может встать и смотреть на свет. На пивоварне начинают жаловаться, что он пропускает смены. Сегодня суббота, на работу ему не нужно, и вот в половине одиннадцатого утра он лежит в постели, в ворохе простыней, крепко зажмурившись от жиденького света ноябрьского дня, пробивающегося в щель между занавесками. В комнате так неестественно темно, что она несколько секунд медлит на пороге, давая глазам привыкнуть, прежде чем войти и поставить на тумбочку его чай. (С молоком, три ложки сахара.) У него под глазами залегли фиолетовые тени, признаки слабости, появившиеся на лице взамен синяков и фингалов, которые он обычно гордо приносил домой, как знаки силы; или чудовищно опухшей половины головы, с которой он вернулся, когда кто-то шарахнул его молотком. Он тогда был похож на хэллоуинскую тыкву и точно так же ухмылялся; ухмылялся, несмотря ни на что. Но сейчас его охватывала боль, которую он не выбирал сознательно и которую никто ему не причинял, и от этого его

лицо как будто смягчилось. Сейчас можно было разглядеть не только тонкую нежную кожу у него под глазами, но и мелкие гусиные лапки, появившиеся в уголках. Ему тридцать девять, как и ей, и в такие моменты, как этот, когда он никак не может скрыть свой возраст, тот проступает на свет. Невозможно без нежности, или чего-то похожего на нежность, смотреть на то, как он вытянулся в простынях во весь животный рост, на время умерив свою мощь. Он то единственное прекрасное, что есть в ее жизни. Он же причина всего ужасного.

Она с негромким стуком ставит кружку на тумбочку, и он бормочет: «Спасибо, мам». После этого она возвращается в гостиную резать сэндвичи с солониной под портретом Гитлера.

Она кое-как убедила его обратиться с головными болями к врачу, но, к сожалению, им досталась доктор Шарма, молодая азиатка. Майк был в рабочей одежде, но доктору прекрасно были видны и его татуировки, и что на них написано. Они пристально разглядывали друг друга.

— Вижу, вы работаете на пивоварне, мистер Стоун, — сказала врач. — А сами, случайно, не злоупотребляете?

— Чо за дерьмо? — сказал Майк. — Я не дам ей

трогать меня своими руками.

— О, поверьте, я не горю желанием.

— Доктор, может, вы хоть кровь у него возьмете? — попыталась вклиниться Вэл. — Он говорит, что у него перед глазами какие-то вспышки во время этих болей.

— Что ж, думаю, это разумно. Мистер Стоун, закатайте рукав.

— Нет! — ответил Майк. — Нормальная у меня кровь. Нордическая.

Доктор Шарма рассмеялась.

— Рот закрой, пакистанская пизда, — бросил Майк.

Доктор Шарма перестала смеяться.

— Думаю, вам стоит уйти, — сказала она.

— Зачем ты это делаешь? — спросила Вэл, когда они вышли на улицу.

— Что?

— Ты знаешь.

— Ну это же бред, крошка. Полное дерьмо.

И он зашагал напыщенной походкой, распугивающей пешеходов, а она засеменила следом. Столько нехоженых мест, столько непуганых людей. В определенном смысле Майку нравятся люди. Он совершенно точно не любит бывать один и поэтому устроил их жизнь так, что одни

они почти никогда не остаются. Два верхних этажа в их доме в Парк-Эстейт закрепились за Британским Движением, поэтому вечерами и по выходным в их квартиру постоянно набиваются младшие скины из группы Майка, вечно вьющиеся вокруг них девушки и тертые мужчины постарше, главари стражи, как он сам. (И все же Майк все равно самый старший из них.) Ей редко удается побыть одной, как сейчас, когда она один за другим намазывает маслом квадратики белого хлеба, снова и снова открывает банки с солониной, доставшиеся им практически даром, когда закрывался продуктовый магазинчик. Маленькие колечки, за которые нужно тянуть, чтобы открыть банку, усердно ломаются, стоит ей лишь наполовину высвободить красное мясо и желтоватый жир. Она могла бы включить радио, но, стоит заиграть песне, которая не нравится Майку, из спальни сразу раздастся негодующий рев. Оно того не стоит. Вместо этого она наблюдает за чайками, парящими и пикирующими в просветах между зданий; словно дома, сетка закрытых мастерских и магазинов внизу, да и весь бугристый ковер Лондона, расстилающийся впереди, — не более чем незначительные декорации, окружающие его главное достояние.

Двадцать сэндвичей готовы, осталось еще десять. Кто бы мог подумать, что национал-социализму необходимо так много сэндвичей? И так много портновской работы. Помимо уличной одежды Майка, которая, разумеется, должна быть безупречной, ей пришлось самостоятельно смастерить ему форму главаря стражи. В авангарде белого движения не так много членов, чтобы заказывать форму на фабрике. Приходится шить вручную. Эмблему с крестом в круге вышили на машинке, но пришивать ее к зеленой рубашке пришлось руками, а еще шить куртку и повязку на руку, мастерить импровизированную портупею. Когда они с Майком ходили на тот ужасный день рождения, все жены переглянулись — собачонки с кислыми, безрадостными лицами, такими же, какое она каждый день видит в зеркале, — и она заметила, что форма у всех немного отличается. И он даже ничего не может, не изменить. В этой форме его фотографировали на членский билет, и теперь она висит в шкафу в чехле из химчистки.

Двадцать девять, тридцать. Как только она заканчивает с сэндвичами и принимается заворачивать их в бумагу, заканчивается и ее недолгое уединение. Она слышит, как лязгает и завывает

лифт, после чего раздается стук в дверь. Мистер Броклхерст со своим фирменным галстуком гольф-клуба и мегафоном.

— Здравствуйте, миссис Майк! — приветствует он, хохотнув. — А Он дома?

— Поздно лег вчера, — механически отвечает Вэл. — Давайте я к нему постучусь. Чашечку чая, пока ждете?

— Было бы чудесно.

Она стучится в спальню и снова ставит чайник. Пока закипает вода, она слышит, как Майк за дверью приходит в себя. Броклхерст не знает, куда деться. Он приходит сюда погладить своих тигров, но понятия не имеет, как общаться с ней. Она его не выносит. Она не выносит той почтительности, с которой к нему относится Майк, словно он представляет собой что-то важное и внушительное, а не просто кучку зажиточных психов с барными шкафами, напичканными коллекциями касок и кинжалов. Она давно перестала воспринимать это всерьез, но когда Майк заговаривает об этом, в этом видится какая-то… привязанность; гордость за то, кто ты и откуда. Майк обычно не изменяет своей незамутненной ненависти к социальным работникам, юристам, инспекторам, учителям — напыщенным ублюд-

кам и богачам всех мастей, которые оскорбляли его своим существованием даже до того, как выяснилось, что они, ко всему прочему, еще и предатели расы. И среди всех напыщенных ублюдков, которым случалось попасться Майку на глаза, только мистер Броклхерст в итоге не захлебнулся кровью и выбитыми зубами. О чем Вэл иногда немного сожалеет.

— Какая восхитительная работа! — говорит он, глядя на гору сэндвичей. — Бог мой, как много вы для нас делаете, миссис Майк.

Делаете для нас. Можно подумать, она какая-нибудь домработница.

Она молча протягивает ему чай. Он делает глоток, хотя чай, должно быть, еще настолько горячий, что можно обжечься.

— Да, да… — говорит он. — Домашнее хозяйство, очаг. Вот к чему все сводится в конце концов.

— Разве? — спрашивает она.

Если он думает, что это место — уютный очаг, то он, похоже, слепой. Все вокруг истерто и затоптано непрерывным маршем огромных мужских ботинок. Затасканный диван на затасканном ковре напротив затасканного телевизора. Вечный запах пота. Больше похоже на казарму или мальчишеский клуб, но не дом.

— У вас есть дети, мистер Броклхерст?

Она знает, что нет.

— Увы, нет. Так и не посчастливилось встретить правильную женщину.

Ага, только ты и твоя коллекция Железных крестов.

По лицу мистера Броклхерста пробегает тень, словно он испугался, что допустил досадный промах.

— Мне было так жаль, когда Майк сказал, что у вас не может быть детей, — добавляет он, шаркнув ногами по полу. — Ужасно грустно. И такая потеря для нашей расы, с такими-то данными, как у него.

Ах, так вот что сказал Майк? Она не сомневалась, что он придумает что-нибудь в этом роде, но было бы неплохо как-то ее посвятить. На самом же деле правда была в том, что женская анатомия повергает Майка в крайне неустойчивое состояние. Он словно перестает быть собой — отнюдь не самое любимое его ощущение. Поэтому в тех редких случаях, когда между ними что-то происходит, в процесс обычно вовлечены его член и ее рот — какие уж тут дети. Вэл представляет, как объясняет все это мистеру Броклхерсту, и уголки ее губ слегка растягиваются в кислой ухмылке.

Он опасливо пятится. Обычная реакция. Может, Майк ее и не хочет, но она принадлежит ему, и ужас, который он внушает людям, создает вокруг нее зону отчуждения. Ее нельзя расстраивать, ее нельзя оскорблять. К ней нельзя притрагиваться.

К облегчению мистера Броклхерста открывается дверь спальни. До этого момента, доносящийся оттуда шум постепенно нарастал: звук поднимающегося с постели тела, полоскания горла, умывания в раковине; звук, с которым мокрая собака отряхивается от воды, шуршание полотенца, стук вешалок, с которых соскальзывает одежда. Бормотание. И вот Майк здесь, восставший из сна, в «левисах» и зеленой куртке, ухмыляется и позирует в дверном проеме на радость всем смотрящим. Он пару раз смаргивает, и это единственное, что выдает жуткую головную боль, которая мучает его. Торжество воли. В животе у Вэл все скручивается в привычный узел первобытного страха. Когда Майк встает, все часы словно выходят из строя и не возобновляют ход, пока день не закончится, а закончится он лишь тогда, когда Майк посчитает, что уже достаточно. Достаточно смеха. Достаточно насилия. Достаточно стычек. Достаточно преклонения перед его силой. Достаточно кровоподтеков и переломов.

Весь день она будет спрашивать: «*Уже достаточно? А теперь?*»

Люди начинают прибывать и прибывать, и квартиру быстро наводняют, кажется, все скинхеды Бексфорда: весь костяк Британского движения и еще больше тех, кто следует стилю ради стиля, прибился к стае просто ради того, чтобы быть в стае. Насколько она может судить, для таких, как они, свастика и кидание зиг — просто шуточки, способы выводить людей из себя. Конечно, может статься, что стадное чувство трансформируется в преданность стае и они пополнят ряды армии Майка, но едва ли он станет брать кого-то из них в свои маленькие яростные ночные вылазки в поисках врагов, чтобы разобраться с ними по-настоящему. Такой привилегии они не удостоятся, поэтому вполне вероятно, что, повзрослев, многие из них вырастут из скинхедовских ботинок и станут похожи на своих отцов — будут качать головами и вспоминать за пинтой, что они вытворяли в свое время. Если уж на то пошло, даже самые идейные могут это перерасти. Удача, тюрьма и пара сломанных костей им в помощь. Перерасти могут даже Пики и Тафф — верные знаменосцы и главные поклонники Майка. У них еще есть время. Им обоим нет и двадцати. Когда-

то она думала, что с годами Майк изменится. Что случится обычная метаморфоза из плохого парня в ответственного мужчину. Но Майк не позволит себе измениться. Или не сможет. Теперь она это понимает.

Когда количество скинхедов в этом тесном пространстве достигает определенной плотности, они начинают сталкиваться. На диване уже полно тел. Какой-то парень с кружкой чая усаживается на спинку, а затем соскальзывает на колени сидящих, точно рок-звезда на концерте: круглое лицо сияет, чай расплескивается в разные стороны, все размахивают локтями.

— Аккуратнее с подлокотниками, они отвалятся, — говорит Вэл, но никто, кроме Майка, ее не слышит.

— Эй, — грохочет он. — Слушайте, когда миссис говорит!

Он ослабляет давление на подлокотник, подняв здоровенный, безукоризненно зашнурованный темно-красный высокий ботинок и пнув под зад двух крайних седоков — шутливо, но не ласково. Оставшиеся разваливаются посвободнее, и Круглолицый, потеряв опору, делает полное сальто назад — чай взлетает в воздух, как перекрученный коричневый шарф, — и приземляется

на пол, прямо на осколки разбившейся кружки. Получить меж ребер керамическим осколком должно быть больно — одна из особенностей стрижки наголо в том, что так мальчишеские выражения на мужеском лице иногда проступают отчетливее, — но парень быстро вскакивает и усмехается. Майк отворачивается. *Достаточно? И близко нет.* Она принимается собирать осколки в совок. Какой-то парнишка пытается ей помочь, но тут же отвлекается на приятелей, ухвативших его шею в замок. В те моменты, когда они ее замечают, на их лицах проступает знакомое замешательство. Кто она, эта тихая женщина Майка? Не подружка и не мамочка, ведь матери не позволяют так вести себя в доме.

Но эта небольшая суматоха на диване служит своего рода сигналом, и толпа, пихаясь и дурачась, начинает рассасываться по коридору. Мистер Броклхерст со своим мегафоном, листовками и парой «юнион джеков», прикрепленных к рукояткам швабр, спускается на лифте, остальные же с гиканьем спускаются десять этажей по ступенькам. Она с сумками, набитыми едой, как обычно, идет в арьергарде, в компании небольшого отряда девиц. (Не той группки, куда входит Толстая Мардж. Та побывала в колонии для несо-

вершеннолетних, она — почетный член.) Быть скинхедом настолько мужская прерогатива, что у девушек даже нет стиля, которому они могли бы соответствовать, не считая внезапных вспышек агрессии. Некоторые копируют внешний вид парней, но подтяжки не очень хорошо сочетаются с выпирающей грудью, а одна носит короткий светлый ежик и густо подводит глаза. Красивая девочка, хорошо, если ей есть пятнадцать, и каждый раз Вэл глядит на нее и думает: *«Милая, ну какого хрена ты тут забыла?»*

Первая остановка — рынок. По субботам он раскидывается между Ламберт-стрит и Тэлбот-роуд: два ряда палаток между выставочным залом бытового газового оборудования и церковью Святого Спасителя. Многие улицы вокруг уже превратились в котлованы, на их месте скоро вырастет квартал «Парк Эстейт», но здесь Бексфорд остался таким, каким Вэл всегда его помнила; что-то менялось со временем, но никогда радикально. Возможно, Броклхерст тоже думал об этом, а может быть, они просто пошли туда, где были люди, потому что, стоило им взобраться на ступеньки военного мемориала и водрузить Броклхерста между флагами, чей синий блейзер тут же окружили блестящие бритые головы, из

мегафона раздалось и полетело над овощными палатками, пирамидками акриловых джемперов, носков и радиоприемников с часами следующее:

— Леди и джентльмены! Узнаете ли вы еще то место, где родились? Оглядитесь вокруг. Оглядитесь, они забирают его у вас! У вас, мадам! И у вас, сэр! У всех нас!

И люди начинают поворачивать головы. Но белые покупатели не бросают на выходцев из восточной Индии или сикхов ядовитые взгляды, как предполагается. Прищелкнув языком, они вжимают головы в плечи и, даже не двигаясь, будто бы отступают, словно говоря на языке тела: «Перестаньте. Оставьте нас в покое». На темных лицах читается еще более нарочитый отказ реагировать, но и они начинают тихонько пробираться через толпу, чтобы, не привлекая внимания, оказаться как можно дальше от ступеней мемориала. Вэл кивает девушке рядом, совершенно ее не слушая, и в двух палатках от себя замечает женщину, примерно ровесницу, которая покупает плантаны. (Которые в Бексфорде и в самом деле раньше не продавались.) Кожа цвета молочного шоколада «Кэдбери», клетчатый плащ, руки лежат на плечах мальчика лет четырех, слишком маленького, чтобы демонстри-

ровать стоицизм. На лице ребенка, наполовину скрытом горой зеленых бананов, вспыхивает страх. Мать крепко держит его, поглаживая детскую щеку тыльной стороной ладони. Этот уютный жест выглядит очень привычным. Стыд и зависть, зависть и стыд медленно охватывают Вэл, и на мгновение она и правда чувствует укол ярости, который нужен Броклхерсту. Почему у них есть то, чего нет у нее? Здесь, прямо перед ней, в ее месте. Но она просто продолжает наблюдать за ними, пока мать с сыном не скрываются из виду за спинами других.

Единственный, кто как-то реагирует, это мальчишка-панк, продающий газету рабочих социалистов у витрины фирмы, торгующей газовым оборудованием, заставленной газовыми плитами. Он задами пробирается к телефонной будке и кому-то звонит, а спустя некоторое время, в тот момент, когда мистер Броклхерст начинает объяснять, что доки закрываются из-за нечестной конкуренции с «цветными странами», появляется сопротивление. Не контрдемонстрация, а, скорее, контртолпа в спецовках со значками АНЛ[41], в таких же огромных, как у скинов, ботинках и с

[41] Примечания: 41

Антинацистская лига (АНЛ) — организация, основанная в Великобритании в 1977 году по инициативе социалистической рабочей партии.

выражением на лицах, до боли знакомым Вэл.

Она смотрит на Майка и видит на его лице тот же азарт. Вот где начинается веселье, вот зачем они все пришли; не ради речи Броклхерста. В обувном магазине у церкви закрываются металлические жалюзи; ближайшие к мемориалу палаточники начинают сворачиваться.

Но пока оскаленные зубы, тычущие пальцы и другие приемы демонстрации мужской агрессии еще не успевают перерасти в реальное столкновение, в пространство меж двух толп у подножия ступенек забредает старый пьянчуга. Тощий, с многодневной белой щетиной, в древнем, даже близко не чистом костюме и явно впитавший пару пинт (бар в ярмарочный день открывается рано).

— Уйди с дороги, дедуля, а то случайно огребешь, — нетерпеливо говорит один из антинаци в первом ряду.

Пьянчуга неуклюже отмахивается от него и тычет пальцем в скинхедов.

— Вы, — шепелявит он, для согласных у него не хватает зубов. — Вам, блядь, должно быть стыдно. Стоите тут…

— Давай, двигай! — говорит антинаци.

— Ага, отъебись, — вторит Майк. — Мы тут

заняты.

– *Тут* стоите, — как ни в чем не бывало продолжает старик. — Вот в этом во всем! Вот *в этом*! — Он указывает на свастику Пики. — Люди, чьи имена написаны на этой стене… Они все *умерли* на хуй! Умерли, чтобы защитить вас от этого, от этого… *зла*, мелкий ты говнюк.

— Ну все, хорош, — снова подает голос антинаци.

Парень, стоящий рядом с ним, — кудрявый, эдакий интеллигентный профессор, предусмотрительно снявший очки и сжимающий в руках доску, — начинает улыбаться. Ему кажется, что это импровизированное уличное представление можно использовать как удачный политический ход.

— Нет, дай ему сказать. Давай, мужик, скажи ты им.

— А мне, блядь, не нужно твое разрешение! — огрызается пьянчуга. В каком-то смысле он настроен не менее воинственно, чем все собравшиеся. — На чем я остановился? — добавляет он уже менее внушительно.

— Наверное, хотел рассказать нам, как шлялся по ебучей пустыне с генералом Монти, — говорит Пики.

— Нет, гребаный ты поганец. Я был в зенитной батарее в Блекхите. Пытался сбить са-м-молеты с *вот этой* херней на борту. И смотрел, как Лондон горит. Так что, если вам тут что-то не нравится, знаете что нужно сделать? Пожаловаться! Ага, пожаловаться вашим приятелям из гребаной Люфтваффе, которые наделали тут дырок. Так или не так?

— Послушайте, сэр, — неосмотрительно встревает мистер Броклхерст, — мы все благодарны вам за то, что вы сделали. Война в Европе стала ужасной трагедией, во многом спровоцированной международными финансовыми…

— Да заткнись ты! — отвечает старик. — Я не с тобой разговариваю, гомик в галстучке. Кто ты вообще такой?

При этих словах Пики и еще парочка молодых скинов не могут сдержать улыбку.

— А вы не скальтесь! Нечего тут скалиться. Я к вам обращаюсь. Вы все отсюда, а все эти имена — это ваши отцы, ваши деды, ваши, блядь, дяди! И знаете, что вы делаете, играясь со всей этой нацистской херней? Вы *плюете* на их имена! Стыдно должно быть.

Старик чуть не плачет, пьяные слезы подкатывают легко и быстро, и все вокруг чувствуют

смущение.

— Так, — тихо говорит Майк, — если ты не уйдешь с дороги, старый трухлявый алкаш, я тебе позвоночник на хуй сломаю.

Но к этому времени прибывает полиция. Полицейские высыпают из фургона и врываются в толпу с дубинками наготове. Они далеко не всегда враждебно настроены против Британского движения или Национальной гвардии, а иногда не прочь и присоединиться. Большой марш в Левишеме в начале года в итоге вообще превратился в огромную трехстороннюю потасовку: скины, антинаци и ребята в синем — все кидались на всех. Но здесь и сейчас, на глазах у покупателей, после того как их вызвал кто-то из владельцев магазинов или даже викарий, полицейские становятся жирной синей точкой в стремлениях обеих сторон. Армия Майка отступает, недовольно бормоча. Вэл проверяет выражение лица Майка и видит ожидаемое разочарование. *Достаточно? Нет.*

И в течение дня удача не спешит ему улыбнуться. Мистер Броклхерст садится в свой «Хильман Хантер» и укатывает обратно в Сурбитон. Затем начинается дождь. Поливает их, пока они едят сэндвичи в бэксфордском парке, и портит все

веселье от игр в захват территории и отпугивание черных семей с игровых площадок. Карусель и горку медленно накрывает влажная вуаль. Толстая Мардж дает Тафту коленом по яйцам чуть сильнее, чем хотела, и тот, хромая, уходит домой. Затем девицы, всем своим видом продемонстрировав, как им скучно, увлекают за собой парочку не самых ярых юнцов, и они удаляются заниматься тем, чем можно, несмотря на погоду, заниматься на автобусной остановке с бутылкой сидра, пожертвовав соблазнительной перспективой грядущего футбольного матча. Но в конце концов и футбол не оправдывает ожиданий. Майк не жалует женщин на трибунах, поэтому он оставляет Вэл в кафе у стадиона с парочкой других жен, в том числе с Джинни, которая работает вместе с Вэл в мебельном магазине неподалеку от бэксфордских высоток. Работу ей, конечно, нашел Майк. Он предпочитает держать ее там, где она будет под присмотром. Им с Джинни особенно не о чем разговаривать ни в рабочие дни, ни в выходные. У Вэл нет валюты семейной болтовни, которой можно было бы сделать вклад в беседу.

Они сидят, курят, пьют заваренный до черноты чай и прислушиваются к звукам, доносящимся со стадиона, а когда мужчины возвращаются,

раздражение на лице Майка проступает еще сильнее, потому что победа была легкой, «Львы» обыграли «Борнмут» 2:0, а сама игра оказалась невыносимо чистой. Да и кого, блядь, может бесить гребаный «Борнмут»? *Достаточно? Отъебись.*

К этому времени Вэл начинает молиться, чтобы ему уже попался хоть кто-нибудь, кого можно отметелить. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Только чтобы побыстрее и чтобы не очень сильно.

Вечер кажется многообещающим: они собираются на концерт в Камден. Группа белых, сочувствующих скинхедам парней, исполняющих симпатичную скинхедам музыку. (Это значит ска; это значит ямайскую музыку; это значит, что ненавистные негритосы им в какой-то извращенной степени даже нравятся; по крайней мере, за их способность подарить миру Принца Бастера, Байрона Ли и Скаталитов[42]. Но не настолько, чтобы как-то изменить их отношение.) Вылазка в чужой Камден-Таун, куча незнакомцев, пинта или три. Да, там определенно есть возможность благополучно удовлетворить Майка.

---

[42] Примечания: 42
Ямайские исполнители ска и рокстеди.

В метро по пути на север они занимают весь последний вагон. Пики с парнями стоят в дверях, раскинув руки, и скалятся, следят за тем, чтобы туда точно никто не зашел. Но Майк выглядит подавленно. Он даже не присоединяется к остальным, когда на станции «Камден» те замечают гея, спускающегося на эскалаторе, в то время как они поднимаются на поверхность. Они скачут вниз, прыгают через ступеньки в надежде перекрыть жертве путь, но парень исчезает из виду до того, как они успевают спуститься. Майк же в это время просто стоит и смотрит под ноги, стиснув челюсти. «Голова так и болит, милый?» — спрашивает она. «Нет!» — яростно отвечает он, словно один этот вопрос уже сам по себе предательство.

Пинта выручает. Вторая выручает еще сильнее. Когда они приходят в клуб, Майк уже почти беспечен. Внутри так много скинхедов: члены Британского движения, Национальной гвардии и просто примазавшиеся со всего Лондона, что все это напоминает сходку кланов. Ботинки, подтяжки, фетровые шляпы, рубашки и пальто «Фред Перри», насколько хватает глаз. Свет софитов мерцает на сотнях голых мужских черепов, сталкивающихся и перемешивающихся, как белые хлебные крошки или как консервированные

фасолины в банке. («А вот тебе скинхеды на плоту», — говорит Вэл, когда делает ему тост с бобами к чаю, а он каждый раз улыбается.) Они все одинаковые или почти одинаковые, и это забавно. Тут и там кто-то в кого-то врезается или старается покрасоваться — бексфордские парни двигаются фалангой, с Майком на острие — но неизбежные столкновения скорее радостные, словно каждый с достоинством решил не замечать, когда кто-то начинает теснить его с боков. Это стойка для своих, вражеской тут нет; тут только «Мы» и никаких «Их», которых можно ненавидеть. Здесь явно становится заметно, что все скинхеды отчасти большие дети — весь зал в одночасье словно заполонили высокие девятилетние мальчишки (не считая таких исключений, как Вэл, пристроенная у огнетушителя), собравшиеся, чтобы повеселиться. В потоке и толчее взгляд Вэл периодически выхватывает Майка, который гарцует, сняв футболку; как всегда, неотразимый в движении и в кои-то веки почти безобидный, наслаждающийся чистыми, отточенными маневрами. Может быть, в кои-то веки этого будет достаточно. Может быть, это приятно проведенное время, без рассеченной кожи, заманит чудовище в спальню?

Но затем появляется группа разогрева, и выясняется, что у них черный солист. Для концертного тура по стране, из которого только что вернулись хедлайнеры, это было совершенно нормально, но для этой аудитории солист оказывается пресловутой красной тряпкой. В мгновение ока агрессия возвращается в повестку. Они не дадут им играть. Они кричат, они улюлюкают, они рычат, они кидают банки и бутылки. Группа поддержки покидает сцену, а к микрофону выходит сам Натти Бой, солист хедлайнеров.

— Ну же, ребята, — говорит он, обращаясь к толпе, — дайте им шанс. Они крутые. — Когда это не срабатывает, он добавляет: — Ну же, я *знаю*, что вы не такие.

Но когда и *это* не срабатывает, он явно выходит из себя. Другие музыканты тоже пытаются. «Вы же здесь, чтобы развлечься, а не заниматься политикой, разве нет?» — говорит парень, который обычно приплясывает у края сцены, оголив грудь. «Мы не будем играть, пока они не сыграют», — в конце концов говорит саксофонист, и его слова делают свое дело. По залу проносится стон, толпа раскалывается, и вдруг становится очевидно, что, если отделить обывателей и тех скинов, которых в первую очередь интересует

именно музыка, — нацистов в зале отнюдь не большинство. Вэл видит, как Майк крутит головой из стороны в сторону и обнаруживает, что его окружают вовсе не чистокровные братья. Музыканты возвращаются на сцену, и на этот раз протестные выкрики уже недостаточно громкие, чтобы обращать на них внимание; на этот раз, когда начинает звучать первая песня, большинство принимается вежливо пританцовывать, а всех остальных попросту заглушают басы.

Майк не танцует. Он просто стоит там и мрачно пялится на сцену. Он остается неподвижен, и когда появляются хедлайнеры, а зал взвивается от первых саксофонных аккордов песни «На шаг впереди». Теперь он за гребнем волны всеобщего веселья, качающей толпу. Теперь он просто часть мелкого кислого сопротивления, зигующей горстки несогласных на периферии всеобщей радости.

Когда музыканты заканчивают играть блок, солист, мокрый от пота и воодушевленный ролью проводника веселья, видит небольшой островок вскинутых в нацистском приветствии рук и надменно ухмыляется. «Значит так, — говорит он. — Я вижу, кто вы такие, я не слепой». В его громком, ясном голосе слышится явное

презрение.

Но что еще хуже, когда они уходят, когда все высыпают обратно на Камден-Хай-стрит, становится очевидно, что раскол, случившийся в зале, оказался в миниатюре воспроизведен и в их бексфордской компании. Большинство из них отлично провели время. Ярость Майка — это ярость меньшинства. Каково бы ни было их почтение, сейчас они просто не хотят слушать, как он поносит выступление, не тогда, когда они гудят, смеются, бодро топают на станцию метро. Они дурачатся. Они дурачатся и ведут себя как двадцатилетние. Они готовы скакать по эскалатору через три ступеньки. «Не кисни!» — говорят они. «Увидимся завтра!» Поразительно быстро остаются лишь они с Пики.

— Не расстраивайся, милый, — осторожно говорит она.

Он игнорирует ее.

— Ну ладно, — говорит он, — еще не так поздно. Думаю, мы немного пройдемся.

Они с Пики обмениваются взглядами.

Она никогда не принимала участия в этой части его жизни, да и никогда не хотела. Страх сковывает ее нутро еще сильнее.

— Я, наверное, пойду домой, — говорит она.

— Одна? Не-е, — отвечает Майк.

И ей приходится присоединиться, семенить за их массивными фигурами в оранжевом натриевом свете. В этом малознакомом районе Северного Лондона многолюдно: кебабные и стоянки такси забиты людьми, мимо проносятся патрульные машины, сверкая мигалками; вокруг полно самых разных людей, которые здесь живут. Их слишком много, учитывая, что Майк и Пики только вдвоем. Они сворачивают на боковую улочку и вдруг оказываются совсем одни в окружении тесно припаркованных машин и высоких, благополучных на вид домов с толстыми, плотно задернутыми шторами. Тоже не лучшее место для охоты. Но в конце улочки есть небольшая бетонная парковка, двухуровневая, как будто детская, и там кто-то есть. На нижнем уровне стоит машина с открытым капотом, внутри которой горит свет. Кто-то пытается завести двигатель, но в ответ раздаются лишь хрипы и щелчки.

— Проблемы, приятель? — спрашивает с вершины пандуса Майк, и застигнутый врасплох водитель вскидывает голову.

Кроткий, большеглазый молодой индус, судя по всему, студент, неуверенно улыбается, зная, кто перед ним стоит, но тот говорит дружелюбно,

приветливо. В голосе Майка слышится теплота, и Вэл точно знает, что это.

— Просто небольшие проблемы с движком, сэр, — говорит он голосом индийца-индийца, не индийца-лондонца. Он наверняка даже не знает, чего ему надо бояться.

— Ну, давай посмотрим, — говорит Майк. — Может, мы сможем помочь.

Пики хихикает, но лицо Майка остается непроницаемым. В прошлом году был случай, когда семью, у которой по дороге в Брайтон сломалась машина, выручила компания скинов, так сказать «комплимент от Британского движения». Майк видел по телевизору, что так иногда делают американские «Ангелы ада», и ему нравилась сама идея: люди сначала испытывают ужас, а потом облегчение. Но тогда это была белая семья. И тогда у Майка был хороший день.

И вот они спускаются по пандусу: цементные колонны, цементный пол, цементный потолок — все в пятнах оранжевого света. Майк и Пики делают вид, что изучают содержимое под капотом, на секунду оставив ее один на один со студентом. (На суде она узнает, что его звали Питер Икбаль.)

– *Беги*, — произносит она одними губами, но он в ответ лишь улыбается и непонимающе хлопает

глазами.

— Ага! — говорит Майк. — Вот в чем дело. Вот тут. Да нет, вот тут, сзади. Смотри…

Крышка капота обрушивается на голову паренька и начинается избиение. Питера Икбаля прижимают к колонне, чтобы Майк мог поработать кулаками, и с каждым ударом Вэл снова и снова думает: *«Теперь достаточно? А теперь?»* Лицо Питера Икбаля превращается в скулящее месиво. Настает очередь Пики; Питер Икбаль снова падает, и на него обрушивается новый град пинков, сопровождающихся все более хлюпающими звуками. Пики устает и уже готов остановиться, Вэл думает *«Боже, пусть этого будет достаточно»*. Снова вступает Майк, раздражение не исчезло с его лица. Майк вступает и принимается топтать парня. Пики произносит: «Эй, приятель», но Майк не останавливается. Пики смотрит на нее, и Вэл, сглотнув, говорит: «Достаточно» и пытается схватить Майка за руку, но Майк, который ни разу в жизни ее не ударил, отшвыривает ее, и Вэл, ударившись о стоящую рядом «Кортину», падает на бетонный пол и видит из-под машины, как ботинок Майка снова и снова опускается на голову Питера Икбаля, и что голова Питера Икбаля уже приняла совершенно

неестественную форму, и что голубые огни приближаются слишком поздно. Слишком поздно.

И что достаточно, достаточно, достаточно.

Теперь наконец достаточно.

T + 50: 1994

Бен

Плавный коричневый склон ее лопатки — первое, что Бен видит после пробуждения. Все, что он видит, вообще-то. Он так крепко прижался к ней во сне, что его лоб упирается ей в шею, и когда он, моргая, приходит в сознание, ее кожа раскидывается перед ним как поле, как карта. Он видит ее так близко, что взгляд не фокусируется. Туман цвета темной карамели с россыпью розоватых веснушек и редких более темных точек, которые в фокусе бокового зрения оказываются порами; ниже — крошечные морщинки, разбегающиеся от мягкого изгиба лопатки — безграничной, как настоящий холмик; целый пейзаж, который можно исследовать и целовать вдоль и поперек, пора за порой, коричневый миллиметр за коричневым миллиметром. Кровь согревает кожу, она равномерно растягивается и сжимается в такт дыханию Марши. Эта кожа принадлежит той, является частью той, кто — невероятно и удивительно — его любит. Это она. Это все она. Он лежит, укутавшись в исходящее от нее сияние, словно настолько полна жизни, что та не заканчивается границами ее тела, а просачивается

наружу, пропитывает простыни и подушки, наполняет полость, образовавшуюся под одеялом. Она сказала бы, что они согревают друг друга, но для Бена — это все ее милость, дар, который она отдает, а он получает. Она пахнет шампунем и вчерашним ужином.

Он приподнимает голову, чтобы взглянуть, — она возится на подушке, но все еще во власти сна, в растрепанном коконе ночи. Она не знает, что ее рот то приоткрывается, то закрывается, что она гримасничает во сне и трется губами о голубой хлопок, словно пытается аккуратно в него зарыться. Днем она болтушка, трудяга, неутомимая деятельница; днем на ее лице постоянно сменяются эмоции: мимолетная веселость, мимолетное раздражение, мимолетная надменность. Только в такие моменты, как этот, он может восхищаться ей — томной, плавной, замедленной; когда мышцы на ее круглом лице мельком сокращаются и расслабляются, так и не превратившись в настоящую эмоцию, — верный знак того, что где-то там в калейдоскопе снов встречаются и сталкиваются воспоминания, образуя комбинации, слишком причудливые, чтобы вызвать какую-то определенную реакцию. Сейчас она знает то (и знание это — сплошь нечеткая

текстура), что забудет, как только проснется. В этом больше ее, чем когда-либо можно успеть заметить в деловом дневном свете. Марша Адебиси Симпсон в глубинах Марши Адебиси Симпсон. Но она приближается к поверхности, движется навстречу свету, притягиваемая, приманиваемая пальцами Бена.

Он проводит по ее виску, где сглаживается граница роста волос. Она что-то бормочет. Он рисует линию между двух тугих косичек-колосков. Она что-то бубнит. Он опускается ниже и переключает все свое внимание на ее прекрасную спину. Кончиками четырех пальцев он рисует четыре параллельные линии, так медленно, как только может; легко, как перышко, опускаясь с правого плеча к лопатке, стараясь двигаться так, чтобы на коже оставался невесомый, щекочущий след, поддразнивающий тепло, исходящее от ее тела. Затем он проделывает то же самое кончиками ногтей, легонько царапая те же четыре линии, южнее, южнее и южнее.

— М-м, — отзывается она.

С легчайшим нажимом нарисовав на ее коже эти линии, эти нежные царапинки, он снова мягко пускает в ход кончики пальцев и обводит контур ее тела, от чего по ее коже бегут мелкие

мурашки. Вниз по мягкой коже предплечья, по выступающим бугоркам ребер, по изгибу ее талии (не девичьей, осиной, а добротной, зрелой), вверх по округлому холму ее бедра и вниз по ноге (насколько дотягивается рука). Мягкое прикосновение и нежное царапание, мягкость и царапины. Он словно рисует ее фигуру под лоскутным одеялом, рисует карандашами: один скользит и оттеняет и другой выделяет и обводит. Занимается с ней графитовой любовью, по крайней мере, так это ощущается. Любовь 2B и любовь HB. Только он ее не выдумывает, она и правда здесь. Он просто открывает эти вздымающиеся богатства. И снова, в который раз ими сражен.

– *М-м-м,* — тянет она уже более внятно, с внятностью пробуждающегося человека, и прижимается к нему спиной. Бен протягивает руку и пальцем художника обводит ее рот. Ее губы покрыты мелкими морщинками, как скорлупа бразильского ореха, только намного, намного мягче.

— Привет, — говорит она.

— Привет, — говорит Бен.

— А кто это тут? — говорит Марша.

— Бен, — отвечает он, внезапно замерев.

Она легонько вздыхает и покусывает его кисть.

Затем она протягивает назад сильную, прямолинейную руку и прижимает его к себе.

— Знаю, дуралей ты мой, — говорит она. — Не останавливайся.

— Ох, — говорит Бен.

— Ох, — говорит Марша.

— Ах, — говорит Марша.

— М-м-м, — говорит Марша.

— О-о! — говорит Марша.

— О-о! — говорит Бен.

Среди прочих вещей, о которых Бен не подозревал до недавних пор, — до того как Марша прибрала его к рукам и дала возможность узнать — было то, как трясутся, почти подкашиваются ноги, когда солнечным субботним утром после занятий любовью с женой спускаешься на кухню поставить чайник. Из него ушло столько напряжения, словно во всех конечностях разжались пружины. Расслабились сухожилия в локтях, плечах, бедрах, коленях, лодыжках. Скользя через коридор по натертой плитке, он чувствует себя как новорожденный жеребенок, впервые вступающий в переговоры с гравитацией, но никак не седым пятидесятипятилетним мужчиной, которого он видит, проходя мимо зеркала. В кухне все сияет. Страсть Марши к чистоте в кафе дома

лишь усиливается. Ослепительный свет, проникающий сквозь жалюзи над раковиной, играет на каждой поверхности. Нет ни одного темного уголка или забытого места, где пылилась бы одинокая сережка или старый конверт. Каждая вещь ежедневно поднимается, и пространство под ней натирается до блеска. Можно спокойно лизнуть столешницу под блендером или кофеваркой, и на языке останется только привкус свежей хлорки. Все чашки, все тарелки, все приборы сочетаются. В этом состоянии рассеянного покоя бульканье закипающей воды звучит чертовски убаюкивающе, и, доставая чайные принадлежности, Бен опирается на столешницу, на случай если от счастья он расплывется лужей.

Учитывая обстоятельства, он решает, что сейчас самое время проверить пол своего сознания на наличие трещин, хотя он так или иначе сознательно делает это каждое утро. Вот и сейчас. Он мысленно топает, но пол не поддается — никакой угрозы, ничего не скрипит и не трескается. Под ним хрустальная дорожка многометровой толщины. Ему не страшно. Ему *не страшно*. Временами ему кажется, что его способность чувствовать благодарность за это притупляется. Он не хочет принимать это как должное. Разве ему

не следует активно радоваться и сознательно ликовать после такого колоссального избавления? Но чем сильнее притуплялся его страх, тем дальше уходило ощущение того, какой долгий путь он проделал, как сильно изменилась погода у него внутри. Почувствовать масштаб изменений он может, лишь вернувшись в прежнее состояние, а это последнее, что ему нужно или хочется. Представляя себя тогдашнего, он каждый раз качает головой, словно это был кто-то другой, кто-то загадочный. Как он *мог* потратить все свои двадцатые, тридцатые и большую часть сороковых лет на страх? И страх чего? Чего-то связанного с костями. Но сейчас он может мысленно произнести это слово, и ужас уже не будет вторить ему. От этого он чувствует растерянность и грусть, и, чего уж говорить, некоторое отчаяние при мысли о двух потерянных в автобусах десятилетиях и тысячах отчаянно накуренных вечеров.

Закипает чайник. Он заливает кипятком чайные пакетики, отжимает их, аккуратно опускает в нужное ведро, добавляет в чай молоко, выпивает свои таблетки и прячет баночку обратно в шкафчик. Затем возвращается наверх. Без тостов, потому что Марша не одобряет крошки в постели. Суставы начинают соединяться обратно. Он под-

нимается на лестничный пролет второго этажа, словно его возносит дружественный ветерок благополучия, и, войдя в спальню, видит, что Марша сидит на кровати, выставив свои прелести напоказ. Он чувствует внезапное желание швырнуть поднос в угол, как тарелку для фрисби, и заняться женой еще раз. Бексфордский Геракл!

Но хоть Марша и похлопывает по месту рядом с собой, она уже надела дневное деловое лицо. Она сверяется со списком дел и поглядывает на него поверх очков.

— Жареный цыпленок, — говорит она. — Эуа агойн[43]. Суп из окры. Перечный суп. Карри из козленка. Картофельный салат. Рис с горошком. Маленькие сосиски для малыша. На десерт мороженое и лимонная меренга. После церкви надо будет поторопиться.

Марша — это вечные списки. Будто вся жизнь — это какая-то кампания, требующая тщательного планирования. По факту же цыпленок маринуется в специях со вчерашнего вечера, плотно закрытый пищевой пленкой противень занимает в холодильнике целую полку; внизу, там, где обычно стоят контейнеры для овощей,

[43] Примечания: 43

Нигерийское блюдо, представляющее собой острое пюре из фасоли с томатным соусом.

козленок пропитывается травами и карри; фасоль тоже стоит, замоченная с вечера. Марша играет на опережение, как всегда. Но в три часа у них в саду будет обедать четырнадцать человек, а состав этой многочисленной семьи предполагает, что на столе должны быть и ямайские, и западноафриканские блюда. Когда она кормит незнакомцев в кафе, единственное, что стоит на кону, это благополучие их желудочно-кишечного тракта. Здесь же речь идет о ее гордости.

— Все будет замечательно, — говорит Бен. — Ты же сама знаешь.

— Все будет замечательно, потому что мы все сделаем замечательно, — отвечает она.

Бен не знает, можно ли считать его спасение отступлением Марши от свойственной ей практичности или же примером оной; спасла ли она его потому, что раз в жизни решила совершить что-то безумное, или же просто применила к его заблудшей душе свой методичный подход, с которым редактировала меню и просматривала ежемесячные счета от поставщиков.

После того как с маршрута 36С убрали кондукторов, он целый год слонялся с одной работы на другую: расставлял, разгружал, мыл — в общем, делал все, что попахивало стариной и плохо

оплачивалось. Но однажды агентство направило его в кафе «Метро», в облагороженный уголок Бексфорд-Райз. При виде цветов в букетиках и золотых завитушек на окнах он решил, что по договоренности с юркими официантами в черных фартуках его сразу отправят в изгнание к раковине, с глаз долой, но в итоге обнаружил, что управляла всем этим маленькая женщина-оркестр — пухлая резвая темнокожая матрона, которая сразу же отправила его мыть руки и стояла над ним, неодобрительно шмыгая носом от стойкого запашка вчерашней ганджи.

— Так, теперь приготовь бекон, — скомандовала она.

Он взглянул на блестящую горстку розового мяса, испещренного бледными полосками сала, так похожего на человечину, и побелел.

— Я не могу, — сказал он.

— Это почему это? — рявкнула она.

Он что-то пробормотал и приготовился бежать. Но, вместо того чтобы махнуть на него рукой, она взяла его за подбородок и развернула лицом к себе. (Позже он спросил ее: «Почему ты так сделала», а она ответила: «Ты выглядел как человек, который уверен, что его никто не видит. Но я тебя видела».) Бен не мог припомнить, когда в

последний раз кто-нибудь дотрагивался до него с такой добротой. Возможно даже, Марша была первой после его матери, кто так сделал. Его это поразило, у него заколотилось сердце и кровь застучала в ушах. Но помимо этого он почувствовал, что впервые за столь же долгое время среди окружавших его мучительных испарений, где мысли всегда были сильнее вещей, он ухватился за что-то по-настоящему надежное. Или скорее что-то надежное ухватилось за него. Он мог биться, трепыхаться, паниковать, но в том месте, где она коснулась его, он был недвижим, каким-то образом обретя твердую почву.

— Почему нет? — повторила она.

Она не отпускала его и не отводила взгляд, и Бен, измученный своим отчаянием, сделал то, чего не делал никогда. Он разрыдался и все рассказал. Во всяком случае, попытался рассказать. И хотя его страхи были для него абсолютно очевидны, проговоренные вслух они прозвучали куда бессвязнее и нелогичнее, чем казались. Но даже попытка их объяснить принесла неимоверное облегчение.

— Я плохой человек, — заключил он. — Я полон… жутких вещей.

— Ты плохой человек, — повторила она, но не

так, как если бы соглашалась с ним.

К этому моменту они уже переместились за один из маленьких черных круглых столиков. Ей пришлось выпустить его из объятий, когда они сели, но, чтобы не потерять способность говорить, он потянулся за ее рукой, и она позволила ему за нее держаться.

— Ты плохой человек. Ну хорошо, расскажи мне, что плохого ты сделал?

— Я… Я не знаю.

— Ты убийца?

— Нет.

— Сколько людей ты съел?

— Нисколько.

— Ты вор? Ты выходишь на улицу и грабишь людей?

— Нет.

— Ты обижаешь детей?

— Нет!

— Ну вот и все. Я пожарю бекон, а ты займешься всеми этими булочками. А потом я рассчитываю, что ты будешь готов учиться работать с кофеваркой. Не сиди, мы открываемся через двадцать пять минут.

И она взяла его в свой бизнес; отвела его к своему терапевту, чтобы тот выписал ему анти-

депрессанты; отвела его в свою церковь, чтобы из него изгнали беса; и в конце концов, уже два года на тот момент будучи вдовой, она пустила его в свой дом, в свою постель и в свое сердце.

— Почему? — спросил он.

— Мне понравилось, как ты выглядел. Как существо, которое вылезает по ночам, большеглазое, но милое. Вот такая я простая. Прекрати задавать вопросы, дуралей. Я могу и передумать. Ой, да я шучу. *Olorunadefune*[44]. Благослови и заткни тебя Бог.

Марша — убежденный сторонник праздничных воскресных облачений, поэтому в церковь Ассамблей Спасения, расположившейся в старом здании «Одеона», Бен едет в костюме с галстуком и отполированных ботинках. Это меньшее, что он может сделать: по сравнению с полным парадным африканским облачением жены он просто отдает мужской знак уважения воскресному дню. На ней цветастый фиолетовый наряд с пышными рукавами, пестрящий зеленым и золотым, на голове платок в тон, царственно свернутый в высокий тюрбан. Все это великолепие почти полностью скроет хоральная мантия, но это неважно.

---

[44] Примечания: 44
Благослови тебя Бог *(йоруб.)*

Оно все равно будет там, и Господь увидит. Да и все остальные женщины из хора тоже заметят.

Их приветствует пастор Майкл.

— Кертис и Кливленд сегодня не с вами? — добродушно басит он.

— Мы позже соберемся на обед. Всей семьей, — говорит Марша, высоко подняв голову. — С малышом Кертиса и Лизы.

— Великолепно, великолепно, — говорит пастор. — А имя у малыша уже есть?

— Тео, — отвечает Марша.

— О да, благочестивое имя. Великолепно. А как ты поживаешь, брат Бенджамин? — спрашивает пастор, заключая маленькую ладонь Бена в свои лапы.

— Очень хорошо, — отвечает Бен.

— Отрадно слышать. — Пастор властно похлопывает Бена по руке.

Бен считает, что, когда они впервые встретились, пастор Майкл его невзлюбил. Еще бы, ведь Марша, будучи вдовой и владелицей процветающего бизнеса, могла бы стать настоящим призом для кого-нибудь из прихожан — кто знает, возможно, и для самого пастора: от Бена тогда не ускользнул его странный заинтересованный взгляд. Но все это сошло на нет после того, что цер-

ковь триумфально сотворила с ним; с жилистым, потрепанным, вторгшимся на их территорию белым парнем. Теперь Бен объект их гордости, одно из чудес бексфордской Ассамблеи. «Оставь его!» — кричал пастор Майкл, и примерно тогда, то ли благодаря молитве, ураганом пронесшейся по его внутреннему дому, то ли по причинам, ее включающим, злой дух его оставил. Бен был потерян, а теперь был обретен. Он был сухими костями и теперь вернулся к жизни. Он был остовом, но неистовая священная буря пронеслась над ним, очистила его, собрала его из осколков, поставила прямо и снова сделала человеком. Он — живой и говорящий пример избавления, так что нет ничего страшного в том, что он держит руку Марши.

Иногда по воскресеньям устраивают «Воскресения юности», там почти постоянно играет музыка, перемежающаяся торжественными выступлениями бексфордских подростков, которые пытаются не сбиться с пути и не поддаться соблазну вступить в банду и попробовать крэк. Иногда по воскресеньям дети помладше гордо маршируют в костюмчиках серафимов и херувимов. К ним часто приходят приглашенные проповедники, циркулирующие в Ассамблеях Спасения. Но

сегодня снова очередь самого пастора Майкла. Он проводит часовую службу, вышагивая по сцене и между рядов с микрофоном в руке, потеет, выкладывается, хрипнет, возносит преданность Господу, а хор подхватывает, возносит ее еще выше, исполняя на манер госпелов старые гимны, добавляя нотки западноафриканского хай-лайфа для тех, кто скучает по Ибадану, и добывая новые молитвенные мотивы из сакральных (но не чуждых блюзу) уголков души.

— Если Господь не созиждет дома, — говорит пастор Майкл, — напрасно трудятся строящие его. Псалом сто двадцать шесть. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Как они трудятся? Напрасно! Аминь. Все так. Вы можете построить высокий дом, и он падет, если Господь его не охранит. Он падет! Превратится в груду кирпичей. Рухнет! Неважно, насколько он высок, неважно, насколько прочен. Хоть десятиэтажный дом, хоть двадцатиэтажный, хоть небоскреб, хоть великая башня, все одно — если Господу не по душе, он падет. Что Господь сделал с башней? С какой башней? Вавилонской! Аминь. Он ее обрушил. Раз — и все, и ничего не осталось. Подумайте. Представьте, сколько трудов уходит на то, чтобы построить башню; сколько дней

нужно катать тачку, возить кирпичи и цемент. Как вы знаете — а кто-то, возможно, и нет: когда я приехал в эту страну, я искал работу, а для парня из Лагоса это не очень-то дружелюбное место, понимаете, о чем я? У меня в кармане было всего пятьдесят шиллингов. Но у меня, знаете ли, были крепкие руки, и мне дали работу на стройке. И ох, как это тяжело. (*Аминь.*) Каждый день я катал тачку, тяжелую тачку, по шатким доскам. Так что я знаю, скольких трудов стоит построить дом, даже маленький домик, и чем выше дом, тем больше трудов. Но Господь может его обрушить! Слава Господу, он может! И тогда вся работа, все труды будут напрасны. *Напрасно* трудятся строящие его. Это жестокое слово, так ведь, брат? Так, сестра? Ты трудишься и трудишься, и все впустую. Это жестоко, это приводит в отчаяние. И знаете почему? Вы знаете. Господь милосерден, Господь сам говорит вам почему. Вы забыли его благословить. Вы забыли, что надо отдать его Господу, чтобы тот его сохранил. Если дом строит не Господь, дом падет. Если Господь не хранит дом, вы его потеряете, лишитесь всех своих трудов. Ваши дети провалят экзамены, ваша дочь случайно забеременеет, ваш сын пристрастится к наркотикам. Без благословения ваш дом — маг-

нит для бед. Плохой магнит для плохих духов. Так получите же это благословение! Мы должны попросить этого благословения. Господь, благослови нас! Благослови наши дома и наши сердца. Благослови нас полно, благослови нас надежно, благослови нас с избытком. И знаете, когда мы просим, Он отвечает. Он всегда отвечает. *Ты мог бы меня покинуть*… (Поддержите меня, сестры.)

Ты мог бы меня покинуть,

Мог бросить меня одного,

Но ты обещал, что будешь рядом,

И слово свое сдержал.

(Я сдался.) И ты благословил меня.

(Я все отпустил.) И ты благословил меня.

(Господь, ты вел меня, я теперь другой человек.)

(Я сказал, иди своей дорогой.) И ты благословил меня.

(Я останусь здесь.) И ты благословил меня.

(Господь, ты обещал, что услышишь мой зов.)

И слово свое сдержал.

— И вы знаете, что надо делать, так ведь, братья? Так, сестры? Господь сказал вам, как строить дом, сам сказал. Евангелие от Матфея, седьмая глава. На чем нужно строить дом? На камне! А на чем не нужно? На песке! Верно. Потому что пойдет дождь, и разольются реки, и подуют ветры, и устремятся на дом ваш, и если он стоит на песке… Ох-ох, ничего хорошего не ждите, случится катастрофа. Ваш дом падет, рухнет с треском. Но если вы строили его на камне, тогда неважно, что грядет, неважно, что на него обрушится. Хоть все разом! Пускай! Пусть идет дождь, пусть разольются реки, пусть дуют ветры — вам ничего не страшно. У вас под ногами твердая почва, самая твердая на свете. «И дом тот не упал, потому что основан был на камне». Этому дому не страшны угрозы. Никакие! Беды? И пусть. Болезни? И пусть. Воры? И пусть. Проблемы с полицией? И пусть. Безработица? И пусть. Наговоры и колдовство? И пусть. Беспокойный ум? И пусть. Злое сердце? И пусть. Вам не нужно бояться, братья и сестры. Совершенно не нужно бояться. Ваш дом устоит. Под ним твердая опора. На чем он стоит? На камне! Аминь. На камне. А что есть камень? Камень есть Господь Всемогущий. Камень есть

Его священное слово, Его писание. Камень есть Господь наш Иисус, он спасет. Камень есть святой дух Господа, Бога Израилева. Именно так. *Господь — мой пастырь…* (Пойте со мной.)

Господь – мой пастырь,
И поэтому у меня есть все.
Он ведет меня по зеленой поляне,
Он ведет меня вдоль тихой реки.
А когда я опускаю руки,
Помогает найти мне путь.
И поэтому я спасен,
Спасе-е-ен в руках его.

— Спасены, братья и сестры. Спасены сегодня. Завтра. Навсегда. Хвала Ему за это! Хвала Его великому имени. Это уже очень много! Разве недостаточно этого, чтобы славить Его? Аминь! Но это не все. Это не все. Господь хочет не только, чтобы ваш дом выстоял. Он хранит вас — тебя, брат, и тебя, сестра. Но Он хочет большего. У Него большие планы. Он хочет взять в руки весь этот заблудший город. Слушайте Его! Снова псалом сто двадцать шесть. Если Господь не охранит *города*, напрасно бодрствует страж. Вы слышите? Страж просыпается посреди ночи и смотрит по

сторонам. Что это за звук? Что это, лиса роется в помойке, ищет остывший кебаб? (Ты знаешь этот звук, сестра, да?) Или это грабитель лезет в дом? Страж не знает; он тревожится и тревожится. Но это нехорошо. Это все напрасно, если Господь не охраняет город; если Он не держит его в руках. Вы знаете, а ведь Иерусалим был когда-то как Лондон. Там были ночные клубы. Там были плохие районы. Дилеры творили свои злодеяния на улицах. Там были богатые люди, заносчивые люди, неблагочестивые люди со злобой в сердцах. И что сделал Господь, братья и сестры? Думал ли Он сжечь его? Смыть с лица земли великим потопом? Нет-нет. Он очистил это грязное место по-другому. Он любил его. Он хотел его освободить. И Он освободил. Он омыл его своей кровью. Вымыл до блеска. Сделал его новым. Новый Иерусалим, братья и сестры, красив, как невеста. Задумайтесь об этом. И знаете, что? С Лондоном точно так же. Он хочет взять в руки этот грязный город и спасти его. Хочет отстроить его заново на камне спасения. Хочет сделать его новым и священным. Он хочет отмыть тротуары, чтобы они засверкали, как бриллианты. Хочет нарядить город в сияющее облачение. Он хочет привести его к спасению. Как думаете, Он смо-

жет? Если думаете, что сможет, скажите мне. Я вас не слышу. Да, сможет! Да, сможет! Он может взять этот великий город и сделать новым. Он может отмыть его. Он может его освободить. Он может заставить его петь и славить Его имя. Славьте Его имя! Славьте Его священное имя! Славь Его, Бексфорд! Славь Его, Лондон! Славьте Его, все почтовые коды! Славьте Его под звуки трубы! Славьте Его псалмами и гуслями! Славьте Его бубном и танцем! Славьте Его струнными и органом! Славьте Его громкими цимбалами! Славьте звонкими цимбалами! Пусть все, что дышит, славит Господа!

Бен, как всегда ошеломленный кульминацией проповеди и приближающемуся к экстазу хору, думает: «Я в безопасности, хоть и не знаю, как и почему. Спасибо».

Они возвращаются домой без двадцати час, и, как только Марша убирает их воскресные вещи в чехлы и вешает в шкаф, им приходится использовать каждую минуту, чтобы успеть приготовить обед. Она несется к маринованным перцам и сушеным рачкам для эуа агойна и принимается за дымное дело осветления пальмового масла. Бен шинкует — лук, зеленый лук, окру. Он моет и ставит вариться молодой картофель. Он взбивает

белки для лимонной меренги. Короче говоря, су-шефствует, чтобы у Марши, когда она будет готова собирать блюдо, все было под рукой в виде белых, зеленых, красных и желтых кубиков. Так они вместе работают в кафе, со своей скоростью, с удобной согласованностью их ритмов. (Бену приходило в голову, что своим спокойствием, если не целиком, то в значительной степени он обязан тому, что жизнь с Маршей такая чертовски кипучая, что нет ни минуты для праздношатания.) Но они готовят гораздо больший объем еды, чем просто для семейного ужина, имея в распоряжении лишь маленькую домашнюю кухню, поэтому все их действия так или иначе наскакивают одно на другое — им то и дело приходится протискиваться друг мимо друга в этом контролируемом хаосе. Все это чуть больше напоминает хаос, чем в кафе, но благодаря спискам Марши все же не превращается в него. Протискиваясь позади жены, он чмокает ее в шею. «Уйди!» — Она замахивается на него деревянной ложкой. Но в следующий раз, проходя мимо, щиплет за зад. Он знает, что она переживает. Она всегда переживает, когда к ним приходит ее сестра. Вскоре он принимается мыть посуду, чтобы обеспечить ее чистыми сковородками.

— Так, — говорит она, когда пирог отправляется в духовку, карри булькает на плите, окра готова и ждет в сторонке, эуа агойн приобрела свой отличительный черно-красный цвет, а маленькие колбаски шкварчат на гриле. — Барбекю!

Бен идет в сад с металлическим противнем, полным курятины, и мешком угля. Он выволакивает мангал для барбекю из безукоризненно опрятного гаража на маленькую террасу, и, пока занимаются таблетки для розжига, у него есть немного времени оглядеться. Зря они беспокоились насчет погоды. День чудесный и такой по-летнему яркий, что зелень листвы и синева неба кажутся свежевымытыми. На границе участка, у забора, который он пару месяцев назад пропитал креозотом, торчат розовые комочки пионов, мальвы цветут пышным белым ковром с вкраплениями розовых и золотых серединок, а лобелия светится резкой электрической синевой. Все выглядит новым и свежим. В небе с ревом двигателей, переходящим в шепот, мелькает самолет, крошечный, как игрушечный металлический щелкунчик; его след пересекает Бексфорд в направлении далекого аэропорта Хитроу. Здесь, в какое бы время ты ни поднял глаза, всегда увидишь самолет: близко или да-

леко, сам самолет или улику в виде полосы, но неизменно движущиеся в сторону запада. Словно самолеты, думает Бен, раскладывая на решетке первую партию ножек и бедер, являются частью садового механизма; неотъемлемой частью. Словно аккуратный кусочек газона, обнесенный оградой, россыпь сверкающих цветов, настолько многочисленных, что не сосчитать, и свернутый желтый шланг вместе образуют нижнюю часть машины блаженства, которой для правильной работы необходим небесный купол, а роль отсчетного механизма выполняют самолеты, размеренно тикающие с востока на запад по своей астрономической траектории. А может быть, они закреплены на небе, и движется именно оно: голубая сфера, беспорядочно утыканная серебристыми точками, словно кривошип, вращающаяся, вращающаяся и вращающаяся вокруг своей оси.

Цыпленок шкварчит. Без десяти три.

— Стулья! — кричит Марша.

Первым появляется старший сын Марши Кертис с семьей. Коридор тут же наполняется звуками переодевания ребенка, и, пока Кертис помогает пятилетней Рути с пальтишком, Лиза вытаскивает маленького Тео из переноски и под-

нимает так, чтобы Марша, которая все еще бьется в последней кулинарной агонии, без рук могла с ним поздороваться. Бен берет у Марши миску и забирает у Лизы переноску. Но тут же раздается еще один звонок, и на пороге появляется сестра Марши Глория в царственном облачении, еще более фантастическом, чем воскресный наряд Марши, а рядом с ней в костюме-тройке с бутылкой шампанского в руке улыбается ее муж, адвокат Джулиус Оджо. Их дочь Адди чуть выше по улице паркует «БМВ». Глория издает несколько театральный радостный вскрик и обнимает Маршу, которая все еще вынуждена держать руки в воздухе, чтобы не дотронуться до шелков.

— Так, если ты еще не готова, дай мне помочь, — говорит Глория.

— Нет, — отвечает Марша.

Бен берет шампанское и убирает в холодильник.

— Любезный, — обращается к нему Джулиус своим гулким голосом из зала судебных заседаний.

Отведя взгляд, Глория сдержанно подставляет Бену щеку — она еще не определилась в своем отношении к столь эксцентричному выбору сестры, а может, определилась, просто не в его

пользу — и Бен провожает всех через гостиную к большим стеклянным дверям, ведущим на террасу. Марша моет руки и составляет тарелки. Как раз в этот момент на садовой дорожке появляется Отто, младший брат почившего Клайда Симпсона: смуглый молодой мужчина в очках, берете и плаще, с клочковатой, взъерошенной бородой джазмена, очень похожий на мужа Марши с парадного портрета, висящего в гостиной, за исключением берета, бороды и настороженного взгляда, зеркально отражающегося и на лице его спутницы — Маргарет, тоже учительницы. Выражение у обоих собранное и ироничное, словно они уже наблюдают за происходящим с заранее выбранной позиции где-то позади их собственных тел. Но их дочь Глория не разделяет их настрой. Ей почти четырнадцать, неловкий возраст между детством и юностью. Сегодня она хочет быть ребенком: она обнимает тетю и бросается в дом в поисках Рути, которая души в ней не чает. Бен подбирает упавшие пальто.

Закрывать дверь нет смысла. По дороге уже идет Адди, крутя на пальце ключи от машины, а с другой стороны маячит младший брат Кертиса Кливленд, приобнимающий девушку, которую никто не знает. Нет, он ее не тискает; скорее гла-

дит ее длинные светлые волосы, успокаивая или, наоборот, подначивая перед первой встречей с кланом в полном составе. Они идут, и Кливленд аккуратно подталкивает ее вперед. У ворот они встречаются с Адди, и та говорит что-то, от чего Кливленд хохочет, а девушка улыбается. Они заходят; двенадцать, тринадцать, четырнадцать — ну, вот и все, клан в полном составе. Семья Оджо, преуспевающие тори с бездонными карманами, с одной стороны; бюджетники Симпсоны, члены организационного комитета ежегодного карнавала, имеющие трения с законом, — с другой; посередине оба сына Марши — застенчивый бухгалтер и неопределившийся студент. Не говоря уже о самой Марше, со всех сторон демонстрирующей свою замену мертвому Клайду — чудаковатого, тощего, белого, психически больного су-шефа. Столько потенциальных катастроф. Столько всего может пойти не так.

Марша обслуживает всех как одержимая, отправляет в сад одну нагруженную тарелку за другой. Бен носится с пивом, соками, шампанским и гигантским кувшином розовой «Фанты», очевидно, нигерийской штуки. В перерывах он переворачивает цыпленка. Вся партия, которую он успел пожарить, уже разлетелась, и он

загружает вторую. Дети возятся вместе, а старшие расставили садовые стулья небольшими лагерями: Оджо у стеклянных дверей, Симпсоны поближе к сараю. Марши нигде не видно. Иногда ее надо прямо-таки выгонять из кухни. Если он за ней не сходит, она может так и остаться там до следующей перемены блюд, прячась от собственной вечеринки. Он входит в дом и, проходя мимо семейства Оджо, слышит, как Глория бурчит что-то насчет приправ в эуа агойн.

— На вкус точно такая же, как твоя, мам, — говорит Адди. — Ну, в смысле прям точно такая же.

— Естественно, черт возьми, — гремит Джулиус. — Они обе учились у своей матери. По одному рецепту.

О господи.

— Пойдем, дорогая. Выходи, — говорит Бен. — Все хотят тебя видеть.

— Ладно, ладно, — отвечает Марша.

Она снимает фартук и выходит. В дальнем конце сада стоит пустое кресло, но Адди встает и похлопывает по своему месту рядом с Глорией.

— Садись, тетя, — говорит она и относит свою тарелку поближе к лагерю Клива и Кертиса. Марша усаживается, несколько нарочито изображая беззаботность.

Глория смотрит на удаляющуюся дочь, задрав подбородок.

— Знаешь, она отлично справляется. Говорят, она уже настоящая звезда в своей палате.

— Нисколько не сомневаюсь, — говорит Марша.

Они смотрят на Адди: высокие шпильки, оставляющие дыры в газоне, до треска узкая юбка, безупречные формы, безупречные волосы, безупречные скулы и безупречные пурпурные ногти. Из рассказов Марши Бен знает, что Глория и Джулиус долго не могли завести ребенка, и Глория горько сокрушалась над своим положением бездетной старшей сестры, в то время как из Марши выскакивали мальчишки, пусть и ничем не примечательные, зачатые от бестолкового Клайда. Безупречность Адди должна служить ее своеобразным сокрушительным ответом. Марша должна смотреть на будущего королевского адвоката Адесину Оджо и помнить о том, что Кертис целыми днями просиживает в пластиковом закутке на Вэст-Бэксфорд-хилл и ведет бухгалтерию фирмы грузоперевозок, состоящей из одной машины. И при этом сестры любят друг друга. А Адди, похожая на какую-нибудь западноафриканскую богиню, на самом деле милейшая

девушка, питающая искреннюю слабость к обоим кузенам, и у нее совершенно нет времени играть в эти статусные игры, в которых ее так любит использовать мать. Она уже там, весело заигрывает с Кливом, ерошит волосы Кертису, который после бессонных ночей с малышом и материного обеда, кажется, вот-вот заснет. Девочкой она была зациклена на Кертисе, боготворила его так же, как Рути сейчас боготворит Грейс, и это до сих пор заметно. Эти споры просто смешны. Споры смешны, но Бен тем не менее никогда не осмеливался в них вмешиваться. Да и что он скажет?

— Как дела в кафе? — спрашивает его Джулиус.

(Бен считает, что это единственный вопрос, который Джулиус может задать, потому что никаких других карьерных достижений, о которых можно было бы спросить у него, Бена, нет.)

— Хорошо, — отвечает он. — Даже очень хорошо, вообще-то. Думаем нанять еще людей.

Это правда. С тех пор как они рискнули купить дорогую профессиональную кофемашину, которая теперь шипит и испускает клубы пара на стойке, к ним потянулось множество новых жильцов георгианских домов с Бексфорд-Райз. Теперь в кафе «Метро» полным-полно обеспеченных молодых новоприбывших, читающих

газеты и с радостью платящих за капучино больше фунта.

— Ну естественно, у вас же очень маленький бизнес, — говорит Глория.

Бен не знает, что на это ответить. Марша переплетает пальцы и кладет руки на колени. Пустые колени.

— Ты забыла себе положить, — замечает Бен и удаляется на кухню, чтобы наполнить для нее тарелку.

Он не сбегает, ни в коем случае.

Но, вернувшись, он видит, что ситуация уже обострилась настолько, что сестры перешли на быструю йорубу. Он не понимает ни слова, но веселое выражение Джулиуса сменилось напряженным, и Адди, вздохнув, снова направляется к ним.

— Ну ей-богу! — выпаливает Бен без задней мысли, нависнув над ними с приборами в одной руке и тарелкой с горой еды — в другой. Обе женщины обескураженно поднимают на него глаза. — Ну ей-богу, — повторяет он. — В итоге вы все равно вспомните, что любите друг друга. Почему бы не вспомнить об этом побыстрее? Например, сейчас?

Глория открывает рот, но ничего не говорит,

а просто смотрит на свои колени. Марша краснеет.

— Хм-м, — протягивает Адди, наклоняясь и вглядываясь в их лица. — Наивно, но эффективно.

Джулиус начинает хохотать. Марша закрывает лицо рукой и издает стон. Глория откашливается, похлопывает сестру по коленке и говорит: «Знаешь, получилось изумительно вкусно».

— Это она меня всему научила, — говорит Бен, кивнув в сторону Марши.

Все снова смеются, включая его самого, хоть это и есть чистая и абсолютная правда.

После этого воцаряется такая атмосфера, когда обретенная доброжелательность начинает поддерживать себя без постороннего вмешательства, прокладывая все более и более глубокую колею, по которой будет двигаться вечеринка. Бен переворачивает кусочки цыпленка, потом принимается за новую партию; Марша под бурные аплодисменты представляет гигантский пирог, украшенный мягкими коричневатыми пиками, похожими на застывший в меренге беспокойный океан; мужчины устраиваются на местах и послушно едят, и едят, и едят. Спустя какое-то время к Джулиусу подходит Отто, протягивает ему пиво

и заводит разговор о крикете. Беседа разрастается до спорта в целом, и к ней подключается Клив. Женщины, более подвижные, мигрируют и гнездятся, мигрируют и гнездятся, передавая друг другу малыша Тео и время от времени прибирая на столе. Рут носится между ними, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что Грейс бежит за ней, а когда Грейс останавливается отдохнуть, Лиза принимается расспрашивать ее о школе, отчего девочка чувствует себя полноправной частью этого круга матрон. Маргарет поначалу мнется где-то с краю, но Адди увлекает ее, и вскоре та уже смеется, взяв на руки Тео.

Бен наблюдает. Его это устраивает. Марша ловит его взгляд с другого конца сада, и он в ответ машет ей щипцами для мяса. К нему, отмахиваясь от густого пряного дыма, неуверенно направляется подружка Клива. (Погода тоже ведет себя подобающе — с приближением вечера небесная синева становится лишь ярче.)

— Цыпленка? — спрашивает Бен, хоть она и не протягивает ему тарелку.

— Ой, нет, спасибо, — говорит она. — Я вегетарианка. — Она глядит на зарумянившуюся, сдобренную специями кожицу, с которой капает искрящий на углях жир. — Вас это не… эм-м,

беспокоит? Что у вас тут полный мангал мертвых созданий?

— Нет, — твердо отвечает Бен.

Он снова окидывает ее взглядом и только тогда понимает: Клив занят, и она нервно прибивается к нему, несмотря на преступную плотоядность, потому что, кроме него, белых в саду больше нет. Он и сам не то чтобы забыл об этом. Когда он объявил сестре, что будет жить с Маршей, она была весьма красноречива. Эта тема так или иначе многократно всплывала между ним и Кливом, который тогда еще жил дома и ясно дал Бену понять, что ему не все равно; что его напрягает тот факт, что его мать спит с «гребаным паучком-альбиносом» и что он сомневается в отцовских, или в данном случае отчимских, способностях Бена. Но сегодня он даже не задумывался об этом, все внимание перетянуло на себя противостояние Оджо — Симпсон. Бен откладывает щипцы и пытается сослужить службу.

— Значит, вы с Кливом вместе учитесь? Что ты изучаешь?

Она отвечает, что изучает гостиничный и кейтеринговый сервис, но она не уверена, что ей это подходит. Это не то, что ей на самом деле интересно. Бен отвечает «м-м-м», и спрашивает,

знает ли она в таком случае, что ей на самом деле интересно, ведь в этом не всегда просто разобраться. Она с ним соглашается и говорит, что еще не определилась. Возможно, путешествия. Когда она путешествует, то чувствует себя такой живой. «М-м-м», — отвечает Бен, который, не считая клиники, никогда не бывал за границей лондонского автобусного маршрута. Она говорит, что есть место, куда она просто *мечтает* попасть, таким волшебным оно ей кажется, и это Таиланд. Бен отвечает: «Правда?» — «О да, — говорит она, — очень одухотворенное место. И еда потрясная» — «М-м-м», — отвечает Бен.

— Как вы тут? — К ним присоединяется Клив. — Присела Бену на уши?

— С ним так легко общаться!

— Серьезно? — ухмыляется Клив. Пожалуй, в его интонации есть ирония, но сейчас она не звучит враждебно. Если он кого-то и подкалывает, так это свою подружку (чье имя Бен не запомнил).

— Хочешь еще цыпленка? — спрашивает Бен.

— Не, я все.

Клив похлопывает себя по животу и потягивается. Из двоих сыновей Марши он тот, который симпатичный.

— Похоже, воцарился мир, приятель, — говорит он, оценивая картину у стеклянных дверей.

Джулиус и Отто курят сигары Джулиуса, Рути катается на плечах у Грейс, Глория сказала что-то Марше, от чего та все хохочет и хохочет.

— Да уж, хвала небесам, — говорит Бен.

— Мама, похоже, счастлива.

— Ты думаешь? — мгновенно напрягаясь, спрашивает Бен.

— Уверен. Может быть, — добавляет он, злобно косясь на Бена, — это потому что она может помыкать тобой целый день, сколько захочет.

— Клив! — восклицает девушка. Она не уверена, что он имеет в виду, понимает лишь, что это не к добру.

— Нет, не поэтому, — говорит Кертис. Он очнулся от дремоты, ухватив лишь самый конец диалога, и теперь, зевая, приближается к ним. Он худее брата. Мягкий парень с большой головой. Глаза заспанные, на коже желтовато-серый оттенок усталости. В этом тридцатиоднолетнем парне уже виднеется бухгалтер среднего возраста. — Не только поэтому, во всяком случае. Это потому что ты не похож на нашего отца.

Клив бросает на Кертиса взгляд, отнюдь не шутливый.

— Я знаю, что она скучает по нему, — говорит Бен. На самом деле он не знает этого, но он много думал об отсутствующем Клайде. Бену кажется, что ему никогда не заполнить оставленную Клайдом пустоту, а если это очевидно для него, то для Марши и подавно.

— Да уж, все постоянно рассказывают, какой он был классный, — говорит Кертис.

— Ну, он и был, — говорит Клив.

— Когда он был в настроении, то да. Тогда он официально был Главным Весельчаком. Самым главным весельчаком. Душой компании. Но у него бывали такие перепады. Он днями мог ходить, надувшись, как индюк. «Уйди с глаз моих долой, парень». «Может в этом доме быть хоть минута покоя?» «Слышать больше не хочу про всю эту африканскую херню». Помнишь же, Клив?

— Это да, — говорит Клив.

— И хорошее настроение у него бывало в основном где-то, а плохое — дома, поэтому маме приходилось все это впитывать, понимаешь? И в итоге все получали веселого парня, клевого музыканта и замученную женщину, а все его друзья потом говорили: «Дорогая, ты чего? Расслабься».

— Как будто это помогает! — вставляет девушка.

— Ага, — говорит Клив, не глядя на нее. — И у нее всегда было такое выражение, прямо по губам было видно, как будто она пыталась удержать на лице маску.

— Давно его не видел, — говорит Кертис.

— Ага, — говорит Клив.

— Потому что она больше так не делает. Потому что Бен не дует губки типа: «Я несчастен, женщина, и кому-то придется за это платить».

— Ну, разумеется, нет, — отвечает Бен, сбитый с толку. — Она же удивительная. С чего мне быть несчастным?

— И правда, с чего бы, — тихо повторяет Кертис, словно что-то доказал. Он похлопывает Бена по руке.

— Так, — говорит Клив, и его голос звучит почти сконфуженно. — Так! Знаете, что я собираюсь сделать? Заныкаться за тем розовым кустом и дунуть.

— Супер! — восклицает девушка.

— Не хочешь дунуть, братишка?

— Только чтобы мама не унюхала, — отвечает Кертис. — Я не буду. Я тут проснуться пытаюсь.

— А ты, Бен? — спрашивает Клив, оглядывая розы.

Как объяснить, что он всегда курил травку не

ради удовольствия, а ради забвения и что теперь ему не нужно опустошать свой разум. Но затем он понимает, что вовсе не должен; не должен ничего объяснять. Достаточно просто улыбнутся.

— Я пас, — говорит он.

Много позже, когда почти все ушли, лишь Кертис с Лизой и детьми еще собираются, он снова выходит в сад выгрести уголь перед тем, как убирать мангал. Сумерки цвета глубокой воды растянулись по всему небесному куполу, не считая полоски на западе, где остатки света заляпали красным несколько пушистых облаков. В пепле валяются горелые куриные кости, и на мгновение он чувствует внутри какое-то шевеление, но через секунду оно проходит. Он глазеет на небо. Высоко вдалеке розовая царапина разрезает синеву. Последний дневной самолет. Небесные часы завершают круг и приносят ночь. Даже счастье не в силах их остановить. Теперь время его друг, но оно летит так быстро.

К нему подбегает Рути.

— Дедушка Бен! — кричит она, словно застукав его за чем-то. — Бабуля говорит, чтобы ты сейчас же шел в дом!

Вэл

Дзынь, дзынь.

— Здравствуйте, вы позвонили Самаритянам.

— Я… Я… Я не знаю, стоило ли мне звонить.

— Все в порядке.

— …

— Я полагаю, вы очень расстроены.

— Да!

— Так. Сейчас я должна вас спросить: вы собираетесь что-то с собой сделать?

— Нет. Не знаю. Я просто в отчаянии. Мне все еще можно поговорить с вами?

— Разумеется. Разумеется, лапочка. Можешь говорить, о чем хочешь. Может быть, для начала скажешь, как тебя зовут?

— Я не хочу.

— Хорошо. Ничего страшного, если не хочешь. Можешь рассказать мне, что тебя огорчило?

— Это так ужасно.

— Угу.

— Я не могу. Я просто не могу. Мне так жаль, это была ошибка…

— Ужасно, потому что тебе неловко?

— Неловко — это не то слово.

— Стыдно?

— Да. О да.

— Ясно. Тебе стыдно за то, что ты сделала, или за то, что сделал кто-то другой?

— Все очень запутано.

— Ох, милая, а когда бывало по-другому? Может, тебе полегчает, если ты выговоришься?

— Не представляю, чем это поможет. Это не перестанет быть правдой.

— Не перестанет. Что бы это ни было, мы ничего не можем изменить. Но возможно, ты сможешь взглянуть на ситуацию по-другому.

— Я просто не уверена, что смогу.

— Можно поинтересоваться? Ты работаешь в ночную смену?

— Нет. А что?

— Значит, ты дома.

— Если можно так сказать. Я просто не могу уснуть.

— Ага. И ты дома одна?

— Да.

— Понятно. Я хочу тебе кое-что предложить. Вообще-то нам нельзя давать советы, так что я официально нарушаю правила. Ты готова?

— Что?

— Иди сделай себе чаю.

— Что вы сказали?

— Я серьезно. Сейчас три часа ночи, и ты собираешься рассказать, что тебя гложет, совершенно незнакомому человеку. Для такого под рукой надо иметь чай. Это как лекарство. Не клади трубку, просто положи телефон и сделай чай. Я подожду. Давай. Я серьезно.

— … Ладно.

— …

— …

— …

— Алло?

— Я тут. Сделала чай? Молоко и две ложки сахара?

— Одна вообще-то. Ох-ох…

— Что такое?

— Вы так ко мне добры, но если бы вы знали, в чем дело…

— Знаешь что, милая? Что бы ты мне ни рассказала, ну что угодно — поверь, я слышала истории похуже. И сама делала вещи похуже, если на то пошло.

— Правда?

— Да. Это ведь не служба «Позвони святому». Здесь просто люди помогают друг другу. Теперь

глубоко вдохни, глотни чаю и расскажи мне, в чем дело.

— Ну, это связано с мужчиной.

— Не может быть…

— Не смейтесь надо мной. Я опять начну плакать, или у меня чай пойдет носом.

— Прости.

— Ну ладно. Я была замужем. И, знаете, я думала, что все в порядке. У нас было двое детей. Мы были… ну… как семья. Обычная семья. Но он кого-то встретил и ушел. Он давал нам деньги, но его не было, я осталась с детьми одна. Эйдану тогда было около пятнадцати. Мари — двенадцать. Мне было очень одиноко. По крайней мере, мне так казалось. Конечно, ничто по сравнению с тем, что сейчас. Настолько, что аж смешно. Смехотворно просто. Не видела своего счастья.

— Мне не кажется, что это смехотворно. Продолжай. Тебе было одиноко…

— Ну, друзья все говорили, типа давай начни выбираться куда-нибудь, расслабься, познакомься с кем-нибудь, ты же не старая. И я полезла на сайт знакомств. Там была куча всяких шизиков и убогих, и я уже хотела сдаться, но потом я встретила Энди.

— Энди?

— Да. Он был… Не такой, как остальные. Он был очень в себе уверен. Говорил о вещах так, будто они точно произойдут, и так обычно и было. Он все время был такой спокойный. И постоянно улыбался.

— Он был симпатичный?

— Пожалуй, да. По крайней мере, тогда. Я не знаю, понимаете? Может, все дело в его уверенности и улыбке. А еще он хорошо одевался. Сейчас я думаю, что, наверное, должна была заметить тревожные звоночки. Но я не заметила.

— Ну, на них никогда не обращаешь внимания, пока не случится беда, разве не так?

— Да. И мне казалось, что все идет как надо. Я была так рада, что меня кто-то хочет. Я была не очень-то уверена в себе, а тут этот лучик солнца. Поэтому я не придала значения тому, как быстро все закрутилось. Как быстро он все это закрутил.

— Но теперь ты об этом задумываешься?

— Снова и снова. Потому что я знаю, что должна была заметить что-то. Задавать больше вопросов. Ну, хоть что-нибудь! Но я этого не сделала. Я привела его, и он был очарователен. Да, именно очарователен. Он очаровал меня, очаровал Мари — очень хитро все провернул, — попытался очаровать Эйдана, но с ним это не сработало.

Эйдан был единственным, кто не принял его с самого начала. Думаю, я должна была что-то заподозрить. Но, знаете, я просто решила, что это дележка территории, что он расстроен, потому что это не его отец, что ему не нравится видеть дома какого-то мужчину, что его просто коробит от того, что у матери появился парень. Я думала, все уляжется, когда Эйдан к нему привыкнет. Когда мы съедемся. Но стало только хуже. И этот мрачный настрой Эйдана — знаете, вот эти мальчишеские склоки из-за хлопьев — не вызывал во мне никакого сочувствия. Я не думала, что ему может быть трудно, или о том, что именно ему не нравится. Ничего такого. Меня это только злило. Сначала слегка, потом сильнее. А Энди это видел. И он вроде бы пытался разобраться с этим, вроде как сочувствовал, но я злилась все сильнее. Все всегда происходило между мной и Эйданом. Энди всегда был где-то на задах. Ну знаете, мне говорил: «Ох, бедняжка», а ему так тихонько: «Может быть, попробуешь быть добрее к матери? Ох, боже, она так расстраивается из-за тебя». Ну, это то, что *я* слышала. Кто знает, что он ему нашептывал, когда меня не было рядом. А потом у нас случился глобальный скандал, как землетрясение, и Эйдан ушел. Перебрался жить

к отцу. Надо сказать, что его отец мне позвонил, сказал: «Анджела, что происходит? Эйдан мне рассказывает очень странные вещи. Вы там в порядке?» Но я просто сказала ему не лезть. Типа у меня что, нет права на счастье? Так мы остались втроем: я, Мари и Энди. Он говорил, что больше нам никто не нужен. У нас будет маленькая семья, только мы трое.

— Хм-м.

— Я-то думала, что он захочет попробовать завести ребенка. Я была еще достаточно молода. Но он не собирался, он сразу закрыл этот вопрос. Теперь я понимаю почему. Но тогда не поняла. Ох… Мне надо рассказывать, что было дальше? Ну, вы же прекрасно понимаете, к чему все идет.

— Догадываюсь, милая. Но все равно расскажи.

— …

— Давай, освободись от этого. Высморкайся и продолжай. Ты сможешь.

— Так. Ну, потом настал тринадцатый день рождения Мари, и Энди отвез ее проколоть уши — она нас просто с ума сводила, и купил ей маленькие сережки, дорогие, из настоящего золота. Не посоветовавшись со мной. Я была в шоке. Он сказал, что это была шутка типа: «Не ревнуй, любимая, я просто хотел показать ей, что она осо-

бенная юная леди». И потом он начал говорить так постоянно. Намекать, что если меня беспокоит то, как он с ней обращается, то это потому, что я ревную. Или придираюсь. Или подозреваю невесть что. Или что-то в таком духе. А она начала странно себя вести. Она всегда была такой, знаете, хорошей школьницей. Домашка всегда вовремя, волосы причесаны, ручки разложены по цветам. Господи, как я по ней скучаю… Боже, я так ее подвела. Ох…

— Дорогая, продолжай, если можешь. Не застревай в этом. Выговорись. Расскажи быстро, если поможет.

— Естественно, он приставал к ней. Это же очевидно. Кто угодно бы догадался, кроме одной тупицы. Но это не самое ужасное. Ну, то есть нет ничего хуже того, что он сделал с ней, и я надеюсь, что он за это сгорит в аду, и я не знаю, сможет ли она когда-нибудь оправиться от этого, но…

— Но есть то, за что вы не можете простить *себя*.

— Да.

— За что вы не можете себя простить, Анджела?

— За то, что я ничего не сделала. Ни когда она начала прогуливать школу, ни когда начала

резать себя. Энди делал все, чтобы меня это раздражало. Ну, знаете, вроде как меня должно было это огорчать. Типа «о, мадам сегодня изволит беситься» и все такое. Постоянно подталкивал меня к злости, а не к сочувствию.

— Она пыталась с вами поговорить?

— Пару раз. Но я просто отмахивалась. Она говорила, что ей хочется, чтобы мы снова были только одни, а я отвечала, что у меня вообще-то тоже есть жизнь. А потом она впала в апатию. Была такая вялая, подавленная, да и неудивительно, бедная моя девочка. Она отказывалась мыться, мне постоянно звонили из школы, потому что она вечно пропадала, это дико мешало моей работе, и тогда я сказала, нет, я накричала на нее: «Да соберись ты уже!» А Энди крутился рядом и постоянно лыбился. Теперь я понимаю, он делал это, чтобы у нас не было возможности поговорить. Но возможности были. А я ими не воспользовалась. Я ничего не сделала. Я ничего не замечала, потому что не хотела. Я не уберегла ее и не помогла ей. Просто наорала на нее. За то, что с ней было сложно!

— Значит, вы это не остановили?

— Нет.

— Тогда как все закончилось? Это ведь закончи-

лось, Анджела? Это не продолжается до сих пор?

— Нет-нет, все кончено.

— Что произошло?

— Ни с того ни с сего явились полицейские и арестовали его за то, что он совершил раньше. Ну, то же самое, но в другой семье, куда он влез, как кукушонок. Констебль спросил меня, делал ли он что-то подобное с Мари, и я ответила: «Ну что вы, конечно, нет», а Мари таким странным тихим голосом сказала: «Да, мам». А потом громче: «Да, мам, он, блядь, это сделал», а потом она закричала так, словно кто-то выдрал эти слова у нее из глотки. «ДА, МАМ, ОН, БЛЯДЬ, ЭТО СДЕЛАЛ». Полицейские посмотрели на меня так, словно не могли поверить. Посмотрели на меня, как на грязь.

— И все всплыло?

— Да. Они забрали Мари, составили заявление об изнасиловании. Я тогда сказала, что накину пальто и поеду с ней, а она сказала, что не надо, и попросила констебля позвонить ее отцу.

— Ох, милая.

— И она так и не вернулась. Переехала жить к отцу. Я позвонила туда узнать, как она и могу ли я с ней поговорить и извиниться, а ее отец ответил: «Ты издеваешься? Ты издеваешься?! Ты думаешь,

что после всего этого я тебя к ней подпущу?» Я писала ей письма, но она ни разу не ответила. Когда стало совсем невмоготу, я позвонила, но они сменили номер.

— Ох, милая.

— Я не могу ничего изменить и не могу перестать думать об этом. Просто кручу, и кручу, и кручу в голове. И это просто… а-а-а-а-а-а-а!

— Милая, ты что, бьешься головой? Брось, не надо. Перестань, Анджела. Не надо так.

— А почему нет?

— Потому что тебе надо позаботиться о себе.

— А зачем? Какой смысл? Их нет. Никого нет.

— Да, моя хорошая.

— И я знаю эту ужасную правду о себе.

— Какую?

— Что я та женщина, которая позволила такому произойти с ее дочерью прямо у себя под носом. Я такая. Они все имеют право меня ненавидеть. Я сама себя ненавижу. А теперь и вы меня ненавидите.

— Это не так.

— Так, так. Вас надрессировали быть со всеми милыми, но в глубине души вы тоже меня ненавидите.

— Это не так, милая.

— Тогда должны бы. Я совершила *отвратительный* поступок.

— Это так, но отвратительный поступок можно совершить и не будучи отвратительным человеком.

— Я понятия не имею, что это вообще значит.

— Ну…

— Слушайте, спасибо вам, конечно, вы были очень добры, но не думаю, что вы можете мне помочь, потому что я не уверена, что вы представляете, что это такое. Никто не представляет. До сви…

— Анджела!

— Что?

— Я представляю. Так уж вышло, что я была на вашем месте. В некотором роде.

— И что же вы сделали?

— Хорошая моя, речь не обо мне, а о тебе. Я просто хочу, чтобы ты знала: ты не одна, ты не единственная, кому приходится жить с чем-то подобным.

— Я вам не верю. Вы это выдумали, чтобы я почувствовала себя лучше.

— Я не выдумываю.

— Если бы не выдумывали, рассказали бы.

— Анджела, этот звонок не для того.

— Я перед вами наизнанку вывернулась. Я рассказала вам о самом ужасном, что делала в жизни.

Пауза.

— Ну, это связано с мужчиной…

— Не может быть…

— Эй, я тебя рассмешила. Не так уж и плохо, скажи?

— Нет, но продолжайте. Пожалуйста. Это и правда помогает.

— Нам не положено.

— Пожалуйста.

Перед Вэл мелькает что-то белое. Отец Тим, второй Самаритянин ночной смены в крипте церкви Святого Спасения, высунулся из-за фанерной перегородки и машет ей листом бумаги. «ВСЕ НОРМАЛЬНО?» — написано на листе фломастером. Немного поразмыслив, она кивает. *«Точно?»* — спрашивает он пантомимой. Она кивает еще раз. *Точно.*

— Ну ладно, Анджела. Я была замужем за жестоким человеком. Он любил делать людям больно. Не мне. Мужчинам. Другим мужчинам. Он наводил на меня ужас и держал на коротком поводке, но я в каком-то роде его обожала. Он был

красив. Глуп, о да, очень глуп и очень страшен, но великолепен. Я знала, что он опасный человек, и пыталась как-то его обуздать, направить его туда, где он не причинит много вреда. Но по большей части я просто пускала все на самотек. А потом в один прекрасный день он убил человека у меня на глазах.

— О господи.

— Ага. А я это не остановила. Обычный безобидный пакистанский студент. У него сломалась машина, и он просто оказался не в то время, не в том месте.

— О господи, это чудовищно.

— Да.

— И что случилось?

— Майк сел за убийство, а я получила шесть месяцев как соучастник.

— Вы были *в тюрьме*?

— Да.

— Боже мой. Боже. Мой. Вы развелись с ним, когда вышли?

— Нет. Не развелась. Я подумывала об этом, но он внезапно умер в тюрьме. Оказалось, что у него в мозгу была как-то перекручена вена, а потом раз, и его нет. Так что я так ни разу и не сказала ему «нет». Никогда не проводила черту. Поэтому

я очень хорошо понимаю твое состояние.

— Вы как… как убийца!

— Ага, почти.

— Не знаю, что сказать.

— Не обязательно говорить что-то, милая.

— …

— Анджела? Ты тут?

— Да.

— Я тебя шокировала?

— Да, немного.

— Хорошая моя, в мире полно людей, которые совершали дурные поступки. Мы ходим друг мимо друга по улице и говорим: «Я самый ужасный человек на свете, меня никто не поймет, я совершенно один», мы все так говорим, и это неправда.

— Как вы справляетесь? Что делаете? Я хочу сказать, что вы производите впечатление человека, у которого все в порядке, который со всем разобрался. Я бы никогда даже не подумала.

— Милая, со мной это случилось много лет назад. Нужно время. Я полагаю, нужно просто продолжать вставать по утрам. Не стоит пытаться почувствовать себя лучше с помощью самообмана. Это не поможет. Будь терпеливой. И не переставай надеяться, хоть сейчас ты и не

знаешь, на что именно. И хотя ты уже ничем не поможешь тем, кому причинила боль, нужно хвататься за маленькие возможности проявить доброту. Потому что, будучи доброй ко всем, ты понемножку зажигаешь свет, если понимаешь, о чем я. Жди, надейся и смотри, что будет.

— Энди писал мне и просил навестить его в тюрьме.

— Не надо.

— Не буду. Лучше уж ничего, чем что-то такое, да?

— Именно.

— Вы были очень добры. Спасибо.

— Не за что. Анджела, что ты сейчас собираешься делать?

— Пойду спать. А вы?

— Надо полагать, высморкаюсь и приму следующий звонок.

— Доброй ночи.

— Доброй ночи, Анджела.

Разумеется, есть еще звонки. Китайский студент из Гонконга, не спавший три ночи к ряду от волнения перед экзаменами. Решение: иди спать. И предрассветный пример классического дятла, решившего обратиться в службу доверия. («Убирай свои носовые платки, дорогой, мы же тут не

для этого. Я сейчас повешу трубку, но помни, что ты всегда можешь снова к нам обратиться, если тебя на самом деле что-то будет сильно беспокоить. Счастливо!»)

В семь прибывает новая партия волонтеров, и, пока свет взбирается по серому небу цвета бензина в сторону Дартфорда, а прохладный ветерок гоняет по улице мусор, она садится покурить на ступеньки церкви. Следом выходит отец Тим и устраивается рядом.

— О-о, — говорит он, обхватив себя руками. — Это же «Ротманс». Можно украду одну?

— Конечно, можно, — говорит она.

Он закуривает, вдыхает, совместив выдох с зевком и потягиванием, откидывается на локти и сквозь дым глядит на нее из-под челки. У него такое породистое лицо, которое остается мальчишеским, даже когда его владельцу переваливает за тридцать или за сорок, так что угадать его истинный возраст становится сложно. После ночной смены на телефоне отец Тим выглядит уставшим, но вместе с тем в каком-то глобальном смысле нетронутым, как человек, который грациозно плывет через Бексфорд и через годы. И тем не менее все знают, что и ему, и отцу Луису, с которым они делят обязанности и сан, можно

позвонить в любое время суток. Проблемы с агентом по вопросам арендной платы, сын попал под арест, исключение из школы, судебное заседание, внезапная смерть — в любой ситуации, где пригодится спокойная, образованная речь, кто-нибудь из них обязательно появится без единой жалобы и будет в полицейском участке как рыба в воде — неважно, состоишь ты в приходе или нет. Майк возненавидел бы их обоих, это уж точно. Но ненависть Майка — она давным-давно это поняла — по большей части была бы просто завистью. Отец Тим, предпочитающий мужчин, был, пожалуй, таким же нарушителем правил собственной церкви, насколько она их знает, как и Майк, чьи желания противоречили бексфордской банде, и бексфордским скинам, и всем нацистам Южного Лондона. Только отец Тим был в состоянии разобраться с этим без насилия, без необходимости нападать на мужчин, чтобы оказаться к ним поближе, пиная, ломая и раздирая, ведь, в сущности, он хотел трогать и ласкать их. *В сущности, он просто хотел их трахнуть*, — думает она, удивляясь, как легко эта мысль сейчас пришла ей в голову. «Бедный Майк. Бедная я».

— Будете меня отчитывать? — спрашивает она.

— Нет, — отвечает он. — Всем периодически попадаются звонки, которые задевают за живое. Так бывает, это неизбежно. Да, ты определенно перешла черту, но ты сделала это не из жалости к себе и не за ее счет. Ты хотела ей помочь, и в итоге все вышло хорошо. Если хочешь знать мое мнение, с чаем была очень рискованная идея. Ты могла сразу ее упустить.

— Я просто подумала, что ей надо чем-то себя занять, чем-то совершенно обыденным, чтобы она могла сосредоточиться на действиях, а не на своей панике.

— Да, и это сработало. Но ты предложила ей отложить телефон.

— Больше так не буду.

— Правда? Жаль. Я просто хочу сказать, оценивай ситуацию и будь начеку. Вот и все.

— О'кей.

— М-м-м, — произносит отец Тим.

Он выдыхает дым, и они смотрят на пробуждающийся Бексфорд: грузовики доставки отправляются по маршрутам, грохочут жалюзи, откуда-то долетает запах жареного бекона.

— Значит, если вы не пытаетесь меня взгреть…

— Эм-м, нет. Это скорее, так сказать, религи-

озное наблюдение, — говорит отец Тим, изучая тлеющий кончик своей сигареты и, кажется, впервые смутившийся. — Я не так много говорю о Боге, но в чем Он действительно хорош, так это в исповеди. Я слышал конец вашего разговора, и мне показалось, что тебя что-то сильно тяготит и уже очень долго. И я подумал, что смогу убедить тебя присоединиться к нам в воскресенье и посмотреть, вдруг станет легче.

— Мне? Обратиться в религию? — говорит Вэл.

— О-о, звучит не очень-то соблазнительно, да? Как какая-то неприятная штука, которую надо на себя надеть. Или как болезнь. «Бедняжка, обратилась в религию». Нет. Для меня это скорее… способ подумать о том, что с тобой происходит.

— Очень мило с вашей стороны, святой отец, но я не думаю.

— Многое теряешь. Мы, конечно, теряем тоже.

Он не настаивает, и они докуривают остатки сигарет в благодушной тишине. Затем появляется отец Луис в своей престарелой машине и размахивает ароматным пакетом.

— Круассаны! — восклицает отец Тим и подскакивает с холодных ступенек, словно двадцатилетний. Открывая дверь, он оглядывается. — Не хотите к нам присоединиться? Луис всегда берет

с запасом.

— Нет, спасибо, — отвечает она. — Я сегодня завтракаю с сестрой.

Верн

Смокинги похожи на школьную форму. В них все мужчины выглядят одинаково. Невозможно понять, по крайней мере, на расстоянии, чей смокинг из «Маркс энд Спенсер», а чей из «Савиль Роу». Сплошная демонстрация, сплошные соревнования, но отличить масштабы состоятельности можно лишь по нарядам женщин. Бархатное синее платье и неброская нить жемчуга, которые явно надеваются на все официальные мероприятия, — рассудительные, старомодные, зажиточные жители округа. Итальянский жакет из муара и платок «в огурцах» — Хэмпстед. Легкое платье с заниженной талией цвета слоновой кости, прекрасная копия, а может, и правда, винтаж — денежные мешки из Сити. Пурпурное сатиновое платье в форме песочных часов и шляпка в тон — жуткий промах недавно добившихся успеха; такое лучше бы смотрелось на скачках. Верну нравится разглядывать все это, но рядом с ним нет женщины, которая определяла бы его. Он проплывает по террасе, монохромной громадине, окруженной фуксиями, и никому вокруг невдомек, что его смокинг и вправду

сшит на заказ (что неизбежно, учитывая, что с годами его фигура приобрела форму яйца), но сшил его Мэнни Перлстайн в пассаже за бекс-фордским вокзалом. Он спускается по каменным ступенькам, медленно переставляя ноги, и в самодостаточном одиночестве направляется через газонную лужайку туда, откуда доносится смех. Жены рядом с ним нет — после Кэт у него не возникло желания жениться снова, и последние пару лет он предпочитал вести все эти дела за простой наличный расчет. Дочери тоже нет. Ни Салли, ни Бекки; он уже давно оставил попытки пригласить их с собой. Зато за ним на почтительном расстоянии следует официант. И стоит Верну выбрать местечко под большим цветущим деревом с видом на Даунс и новый оперный театр, тот тут же устанавливает для него садовый стул, раскладной столик, расстилает скатерть, раскладывает приборы и удаляется за первым из многочисленных блюд.

— Приветствую, — добродушно здоровается Верн, заправляя уголок салфетки за воротник.

Компания рядом с ним решила устроить более традиционный *déjeuner sur l'herbe*[45]: мужчина

---

[45] Примечания: 45
Завтрак на траве *(фр.)*.

и две женщины средних лет из отряда пригородных богатеев расселись на ковре вокруг корзинки и распивают «Моёт» из пластиковых фужеров. Они завороженно наблюдают, как официант на серебристой спиртовке готовит Верну омлет. В свете июньского дня голубое пламя почти невидимо, но воздух напитывают ароматы сливочного масла и дикой петрушки. Верн потягивает белое вино «Пуйи-Фюиссе».

— Надо сказать, — говорит мужчина на ковре, — выглядит роскошно.

— Ну, а к чему мелочиться, скажу я вам, — отвечает Верн.

— Я думала, мы и не мелочимся, — говорит одна из женщин. — Ну, знаете, игристое, закуски… Но бог ты мой, кажется, вы сильно нас переплюнули!

— Я не делаю этого каждый год, — говорит Верн скорее утвердительно, чем оправдательно. — В прошлом году, например, особого смысла не было. Тут еще была строительная площадка.

— О-о, — произносит вторая женщина. Теперь, когда она подметила его акцент, ее голос звучит слегка удивленно. — Вы постоянный посетитель?

— Не пропускал открытия фестиваля уже сколь-

ко… Двенадцать лет. А вы?

— Более-менее, — говорит женщина. — Но, надо полагать, не такие преданные, как вы. И нам постоянно приходится выманивать Рори из Твикенхема, правда, дорогой?

— Да неужели, — говорит Верн.

Он расправляется с омлетом и переходит к фуагра на треугольных тостах с салатом из цикория и эндивия.

— Боюсь, что так, — отвечает мужчина, выпятив подбородок. — Без сомнения, здесь чудесно, но должен сказать — знаю, что это кощунство, — на самом деле я никогда не понимал смысла оперы.

Он говорит это так расслабленно. Говорит так, словно он всю свою долгую жизнь выпячивал челюсть и с полной уверенностью изрекал всякие глупости, а весь мир неизменно отвечал: «Верно подметил, Рори, старина».

— Я и не ожидал, — отвечает Верн, и, поскольку его голос звучит весьма дружелюбно, смысл его слов доходит до собеседников не сразу. Мужчина отворачивается, а его жена заливается краской.

Лучезарно им улыбнувшись, Верн переключает внимание на мягкий паштет и хрусткие, с горчинкой листья салата. Но уверенность Верна,

то, как естественно он потерял к ним интерес, вызывает у старого доброго Рори реакцию, как у лабрадора, перевернувшегося пузом вверх. Он вежливо ждет, пока паштет сменит говядина Веллингтон на сервировочном подносе, и, когда официант откупоривает полбутылки «Кларе», откашливается, тихо и подобострастно привлекая к себе внимание.

— Извините, что спрашиваю, но чем вы занимаетесь? — спрашивает он.

— Недвижимость, — отвечает Верн.

— Коммерческая? Мы и сами немного…

— Нет, исторические здания.

Верн облизывает кончики пальцев, вытирает их о салфетку, достает полукруглые очки в золотой оправе и оглядывает соседей. Едва ли это кандидаты на участие в его проекте по возрождению архитектурных ценностей Южного и Восточного Лондона. Они явно прочно засели в каком-нибудь поместье в Литтл Фаддлинге и не собираются оттуда уезжать. Но кто знает, может, в Лондоне живет их отпрыск со страстью к наличникам и какой-нибудь работой в Сити, необходимой, чтобы за все это платить. Империя Верна все еще сосредоточена в Бексфорд-Райз и его аналогах — Кэмберуэлле и Далвиче, но недавно он еще

взялся за Спатилфилдс и Шордитч, откуда его клиентам два шага дойти до своих дилинговых центров. Если сложится, следующим будет Боро. Он уже присмотрел полуразрушенный квартал в тени больницы Гая; сплошь черный кирпич и белые подоконники — с помощью его строго рассчитаной сметы и уже отработанного плана из них легко можно сделать конфетку. Он с легкостью сможет выжать из каждого дома по сто тысяч фунтов. А пеший маршрут в Сити оттуда будет пролегать через Лондонский мост. Чайки, крейсер «Белфаст», Тауэр, собор Святого Павла — все будут делать свое дело. Поразительно, до какой степени его предпринимательская модель основывается на перепродаже стерилизованной, туристической версии старого мрачного города его же жителям. Он — гид, он — декоратор. Он архитектурный сводник. Он Мэри, мать ее, Поппинс. Но он не жалуется. Схема работает.

Он выуживает из бумажника визитку и протягивает мужчине. На ней значится «Фэтерстоун Эстейт» и ниже курсивом — «Сохраняем георгианскую столицу». Их отпечатал на ручном прессе один из его основных арендаторов. Чудак настолько серьезно относится к своему георгианскому образу жизни, что чистит персидский

ковер чайными листьями и играет на клавесине в настоящем парике. «Гарнитура, разумеется, “баскервиль”, — сказал ему псих, — но вот это вам понравится, мистер Тейлор, изначально заглавная *Т*...» — «Да-да, конечно», — ответил Верн. Толстая бежевая карточка и чуть кривоватая ручная печать доставляют богачам такое наслаждение, а это единственное, что интересует Верна. И действительно, Рори, этот любитель регби, берет протянутую визитку с таким благоговением, на какое только можно рассчитывать.

— Вы знаете, кажется, я о вас уже слышал, — говорит Рори.

Такие, как он, отмечает Верн, вечно разговаривают таким тоном, словно делают тебе одолжение, даже если в это время заискивают перед тобой.

— О нас писали пару рецензий, — говорит Верн.

— Да-да, что-то было на цветных страницах в приложении совсем недавно.

— «Обзервер».

— Точно. Просто необычайно. Эта фотография парнишки, который не верит в электрическое освещение...

— Да-да, именно эта. Кстати говоря, это он для

меня напечатал, — довольно говорит Верн.

— Неужели…

— Ох, дорогой, дай же ты несчастному человеку съесть свой ланч, — вставляет жена Рори с натянутой улыбкой.

— Конечно, простите, пожалуйста. Если вы не против, я оставлю визитку. Видите ли, у нас самих благодаря «Ллойд» выдался весьма неплохой год, и мы, ну знаете, задумались о небольшом *pied-à-terre*[46], так сказать.

— А мы задумались? — спрашивает его жена, оголив зубы.

— Да. Так что я, возможно, свяжусь с вами!

У Верна рот битком набит кровяным говяжьим филе и слоеным тестом. Не исключено, конечно, что этот приятель один из тех безмозглых выкормышей частной школы, который совершенно ни в чем не смыслит, кроме денег, и что Рори — благодаря то ли везению, то ли опыту — вступил в какой-то из синдикатов «Ллойд», которому повезло не напороться на страховые выплаты от отравления асбестом или разрушения ураганом. Но из того, что слышит Верн, он заключает: поместье в Литтл Фаддлинге кто-то уже случайно

---

[46] Примечания: 46
Домик, пристанище *(фр.).*

проиграл, просто Рори еще не знает об этом. Верн серьезно кивает и глотает еду. Солнце освещает дальние холмы, пестрит на его скатерти и яркими лучами выхватывает на изумрудной траве угрюмые или блистательные фигуры его добычи. Он заканчивает с говядиной и переходит к лимонному муссу, сопровождаемому графинчиком «сотерна». Далее, разумеется, сыры.

Верн взял билет в ложу. С недавних пор обычные сиденья стали ему несколько тесноваты. Да и потом, цель сегодняшнего мероприятия не только презентовать новое здание оперного театра, но и представить премьеру, так почему бы не оценить и то и другое во всей красе? Когда раздается второй звонок, он терпеливо прокладывает себе путь по извилистому коридору, отделанному светлыми деревянными панелями, и находит свою дверь. О да, настоящая услада для глаз. Он купил место в небольшой изысканной секции у вертикальной перегородки, отделяющей другие изысканные секции, — настоящая голубятня богачей, наполненная тихим пощелкиванием и воркованием роскоши. Глубокий амфитеатр с местами для чуть менее состоятельных зрителей круто поднимается вверх, полукруг над полукругом. Будучи строителем — причем строи-

телем, которому приходится иметь дело со всякой стариной и хитрой имитацией старины, Верн наслаждается тем, насколько кричаще новым выглядит все вокруг. Дерево светлое, свежее; золотая краска сияет, только что обожженные красные кирпичи и не претендуют на винтажность. Сам он предпочитает нарочитую современность, металл и стекло, как в его собственной квартире, но здесь все очень приятно, чудесная работа. И, угнездившись в комфортном широком кресле, пристроив руки на животе, он воспаряет над оркестром, в каком-нибудь метре от авансцены. Они все будут петь для него. Погасят свет, и он поглотит эту музыку.

Сразу становится понятно, что постановка очень хорошая. Верн не большой любитель Моцарта, ему по душе что-то более прямое и напористое, но в этой интерпретации «Женитьбы Фигаро» легкость и сложность истории прекрасно переплетаются между собой. Это постельный фарс и история о настоящей любви; там есть и прыжки из окна, и тягостное искупление; это просто баловство, но зрителю следует относиться к любовным приключениям слуг так же серьезно, как к романам графов и графинь. Дурачество сменяется трогательностью и наоборот, а золоти-

стые струны, дрожащие у Верна под ногами под руководством дирижера в белом фраке, создают тот самый подходящий звук для переменчивого характера этой истории. *В целом радостно, но немного грустно!* — говорят скрипки. *В целом грустно, но немного радостно!* — вторят виолончели. *Что бы вы ни чувствовали,* — вступают духовые, — *вы все поймете правильно*. Скрипки уточняют: *Но все может измениться!* И духовые соглашаются: *Все может измениться!*

Слуга Фигаро — хитрый, юркий, красивый, курчавый бас — кривляется и скачет по ступенькам. Камеристка Сюзанна, его невеста, — сдержанное сопрано — на вкус Верна худовата, но, бесспорно, очаровательна. Их хозяина играет баритон из Германии, и у него очень хорошо получается передать мрачный, едкий сарказм графа. В его позабытой жене чувствуется основательность старой школы, и сцена, где она надрывно вздыхает среди простыней, доставляет Верну большое удовольствие. Но все четверо играют как следует: не просто перемещаются с точки на точку и механически работают голосовыми связками, как делали некоторые известные артисты, когда Верн попадал на их выступления. У всех живые и экспрессивные лица, все остроумны. Все

исполняют партии откуда-то из глубины этой истории о том, как граф, гордо упразднивший право первой ночи в своих владениях, теперь хочет вернуть его назад, чтобы добраться до Сюзанны в ее брачную ночь. Смех, возмущение и страх преследуют друг друга во время хоровых партий, когда они гармонизируют свои разногласия, обыгрывают технические сложности с такой легкостью, словно, улыбаясь, стряхивают соринку с рукава. Великолепно. Мастерски. А декорации, словно отдельный комплимент Верну, очень напоминают архитектуру его лондонских домов, сведенных к линиям, плоскостям и свободным пространствам.

Но почему, окруженный такой красотой, Верн в глубине души чувствует себя несчастным? Откуда это легкое, но нарастающее ощущение того, что что-то не так. Почему, глядя на темный амфитеатр, полный сияющих восхищенных лиц, Верн чувствует, что это удовольствие, за которое он заплатил, над ним словно насмехается. И это не просто тревога. Не просто мысль. Он чувствует это. Чувствует спазм в животе, чувствует боль в шее, чувствует монотонное покалывание нервных окончаний в руке. На мгновение он даже задумывается, а не приступ ли у него, потому что

на самом деле его боится. Но в груди ничего не болит, не колет, в левой части туловища, откуда, говорят, все начинается, ничего не беспокоит. Он невредим. Облачен в тяжелые доспехи. Так что же не так, со злостью думает он. Что не так, когда все так? Итак, инвентаризация. Все в порядке. Он богат. Мир таков, каким он хочет его видеть. На парковке стоит его «Бентли». Он может позволить себе любое удовольствие. Его окружают изысканные вещи, ему можно все. До смерти (определенно) еще далеко. И все же что-то не дает ему покоя; что-то, происходящее на сцене. Может, песня Керубино? Паж Керубино, которого играет девушка, чьи бедра, надо сказать, прекрасно выглядят в галифе, по большей части просто заигрывает, словно более веселая и юная версия графа, но во втором акте его голос становится заунывным и жалостным.

Ricerco un bene fuori di me,
non so chi'l tiene, non so cos'è

Над авансценой вспыхивают субтитры.

Благословенье сердца ищу я у других,
Не знаю, у кого оно и в чем же состоит

В этом дело? Мучения заканчиваются, как

только кончается песня, и Моцарт снова соскальзывает в фарс. Керубино прячется в шкафу. Керубино выпрыгивает из окна. Фигаро прикидывается, что это был он, и ему это почти удается, входит веселый садовник. Все снова хорошо или, во всяком случае, получше. Но затем в конце акта врывается граф в разношерстной группой слуг, и в один момент Сюзанна, Фигаро и графиня оказываются в дальнем конце сцены напротив графа и его слуг, и все они поют по очереди, как две враждующие банды. Внутри у Верна снова сжимается загадочный комок, снова срабатывает загадочный сигнал тревоги. Там дерут глотки силы любви, здесь — музыкальная армия… чего? Злобы, мстительности, досады, а во главе всего этого — отчаянная зависть, звучащая в голосе графа, написанная на его лице. Может, было бы лучше, если бы Верн наблюдал эту сцену с другого конца, чтобы не было впечатления, будто армия влюбленных поет против него. Возможно, в этом все дело: он занял не ту ложу и теперь не на той стороне.

Во время антракта Верн ковыляет в сад к своему официанту, не обращая никакого внимания ни на бумажные фонарики на деревьях, ни на воодушевленных гуляк, и каждый, кто встречается

с ним взглядом, спешит убраться с его пути. Он усаживается и ждет, пока его обслужат. В этот раз он ест так, словно пытается похоронить что-то внутри себя, орудуя ложкой и вилкой, точно лопатой. Пошел бы этот Моцарт со всеми своими изящными переходами на хер. Верн ест белокорого палтуса. Верн ест сливочный соус. Верн ест фазана. Верн ест сморчки. Верн ест рокфор. Верн ест виноград. Верн ест трюфели. Верн ест.

Джо

— Мисс, а правда, что вы были подружкой рок-звезды? — спрашивает Хэйли.

Двадцать восемь старшеклассников разной степени музыкальной одаренности бексфордской общеобразовательной школы, глядевшие на нее без всякой надежды, тут же оживляются в предвкушении возможной смачной истории. Джо понятия не имеет, как этот слушок о ее прошлой жизни мог просочиться к ученикам; разве что его разнес Маркус, но тот, будучи отпрыском двух учителей собственной школы, так старался откреститься от этой позорной участи, что, едва ступив за ворота, он задирал голову, нацеплял непроницаемое выражение лица и саркастично кривил губы, упорно делая вид, что Джо с Клодом не имеют к нему никакого отношения. Загадка.

— Эм-м, — начинает она.

— Не-а, — протягивает Тайрон, один из крутых ребят в заднем ряду, прежде чем она успевает сообразить, как ей обойти вопрос. — Такие в школах не преподают. Они же типа все такие гламурные, не? Без обид, мисс.

— Какие обиды, Тайрон, — отвечает Джо, вы-

давив смешок.

Тайрон ухмыляется.

В собственных глазах Джо выглядит вполне неплохо: она повидала жизнь, но все еще подтянута, одета и причесана так, как ей идет, и, очевидно, еще желанна, по крайней мере, для Клода. Но ничто из этого не добавляет ей привлекательности в понимании пятнадцатилетнего мальчишки. Она не из тех молодых учительниц, с чьих блузок подростки не сводят глаз. Для Тайрона она практически невидимка, за исключением тех случаев, когда вызывает его блеснуть знаниями; он воспринимает ее как мамочку, как кого-то, с кем можно скрестить мечи.

— Не очень похоже на правду, Хэйли, тебе не кажется? — спрашивает она.

— Наверное, нет, мисс, — удрученно отвечает Хэйли.

Бледная пухлая девочка не вписывается ни в круг крутых белых девчонок, ни крутых черных, ни крутых азиаток. Она скорее из невзрачных девочек на побегушках, и, видя разочарование на ее лице, Джо едва ли не чувствует себя виноватой. Что она делала и чьей была подружкой, Хэйли никак не касается, но, отрицая это предположение (или не возражая, когда его отрицают за нее),

она явно отняла у девочки какую-то крошечную надежду и в очередной раз продемонстрировала, что мир, в конце концов, отнюдь не сказка. Рок-музыканты, бриллианты и джакузи здесь не сыпятся с неба. Во всяком случае, не на голову Хэйли.

Ей же не скажешь, что для пятидесятичетырехлетней Джо она так же красива той трогательной красотой, как и крутые ребята: как самоуверенный Тайрон, как встряхивающая волосами Саманта, как Джамиля, томно глядящая на всех из-под тяжелых век. Их почти взрослые тела так отчаянно свежи. Все они. Сияют ли у них щеки или усыпаны прыщами — плоть у всех одинаково мягкая, новая, формованная на внезапно удлинившихся конечностях, как свежий марципан. Двигаются ли они изящно или как новорожденные жеребята, собирают дверные косяки, как бедолага Саймон, или плавно скользят, как молчаливый футболист Хамид, — все их движения, как и само расположение в пространстве, для них в новинку. *Это что, я?* — говорят их жесты, имея в виду: *Вот эта высокая штуковина, которую я не могу контролировать. Это я? Или я просто изо всех сил пытаюсь управлять ей изнутри?* Иногда в их лицах еще можно разглядеть обескуражен-

ных вчерашних детей, а уже через минуту они начинают первые упражнения в силе или очаровании: приблизительно, неуверенно, каждый раз идя ва-банк, как наивнейшие из игроков.

Это выглядит умилительно. И очень смешно. А иногда в родительских глазах Джо — пугающе. Маркус еще до этого не дорос. Ему всего двенадцать. Но и с ним это когда-то случится. А пока эти мальчики и девочки расцветают, там, снаружи, продавцы черного героина рыщут в поисках жертвы, так же как и голодные взрослые, чувствующие добычу при виде свежих ног, свежих ртов и свежих глаз. Но ты не можешь их предупредить, так же как не можешь донести в понятным им выражениях, что эти преображения восхитительны. Джо помнит, как интерес к учителям, взрослым мужчинам на улицах и в парках, к садовнику в муниципальном бассейне воспринимался исключительно как необъяснимые странные наклонности.

Она хочет сказать им: «Не торопитесь». Но они хотят торопиться. Они жаждут торопиться. Все в них стремится к будущему, которого, как им кажется, они никогда не дождутся, изнывает в великой подростковой тоске, когда первый поцелуй, первая вечеринка и первая любовь

приближаются с черепашьей скоростью. Но тот, кто достаточно стар, чтобы исчислять время десятилетиями, понимает, что все это придет к ним в мгновение ока, неотвратимо и неизбежно. Стоит лишь оглянуться, и возможности станут действительностью. Тела, которые они носят сейчас как маски, оболочки, удивительные механизмы, станут их повседневным «я». Марципановая плоть схватится и начнет собирать на себе шрамы, морщины, растяжки. Юность перестанет быть их общим невидимым знаменателем. По лондонским меркам бексфордская школа отнюдь не суровая: за фасадом из листового стекла пятидесятых годов учится много детей из благополучных семей самых разных национальностей. Они далеко пойдут, если только не облажаются настолько, что скатятся в самое начало доски этой социальной настольной игры. Они, а также самые везучие, энергичные и организованные борцы вступят в долгую пору процветания, распития вина и покупок торшеров, а тридцатилетие станет для них просто вехой поздней молодости. Для остальных же все закончится здесь. Это первое цветение будет для них единственным. Они распустятся, и на этом все. К тридцати годам время их растопчет. Прости, Хэйли.

— Так, — говорит она, — у нас всего сорок пять минут, и мы на этой неделе работаем над голосом.

Незамедлительно следует стонущий хор. Петь тупо, петь стыдно. Если начать петь перед учителем и одноклассниками, можно случайно показать свою зеленую, незрелую душу враждебному миру.

— Мисс, а может, еще раз попробуем со стальными барабанами? — спрашивает Саманта, королева белых девочек. На прошлой неделе у них вроде неплохо вышло, если говорить о ритме, хоть и по словам самой Джо. — Было ничего.

— Нет, — бодро отвечает Джо. — Потому что, во-первых, инструменты в другом классе, в трех лестничных пролетах и ста ярдах отсюда, во-вторых, их сегодня использует другая группа, и в-третьих, пение будет вам полезно.

Стоны.

— А что мы будем петь? — спрашивает Хэйли.

Тридцать хаотичных секунд, несмотря на все протесты против самой идеи пения, старшеклассники громко озвучивают свои предпочтения от поп-музыки до эйсид-хауса, хотя стоило бы им на самом деле дойти до пения, как на всех страстных поклонников тут же напал бы угрюмый паралич.

Красный национальный песенник уже сто лет как сгинул.

— Никаких слов, — говорит Джо и повышает голос, чтобы прервать гвалт. — *Ни-ка-ких слов.* Мы будем использовать голос как инструмент.

— Мое тело… мой инструмент, — внезапно пропевает неуклюжий Саймон, судя по комичному голосу изображая кого-то из телевизора[47]. Он умудряется попасть в ту самую секунду полного затишья, чем производит куда большее впечатление, чем намеревался.

— Да уж, братан, — бросает Тайрон в озадаченную тишину.

— Тайрон! — говорит Джо. — Вот и доброволец. Пошли. Давай-давай!

В игривой манере она пальцем выманивает его из убежища, пустив в ход свой учительский тягач. Он медлит, качает высокой копной волос туда-сюда, но в итоге выходит. В его вариации школьной формы галстук неизменно не превышает длиной трех дюймов.

— Поздравляю, Тай, — говорит Джо. — Сегодня ты у нас будешь живым примером человека. Не мог бы ты повернуться, — вот так, лицом ко

---

[47] Примечания: 47

Имеется в виду скетч британского комика Роуэна Аткинсона из шоу «Недевятичасовые новости», в котором он играет мима.

мне — и издать звук? Просто «а-а-а», как у стоматолога.

— Ага-ага… Ага. Так. *А-а-а-а,* — начинает Тайрон.

Секрет Тайрона, который ей коварно удалось выяснить, в том, что в давно забытые и давно потерянные времена трехлетней давности он пел в церковном хоре матери. Явно был «Херувимом» в маленьком миленьком костюмчике. А теперь у него весьма приятный тенор, и иногда он просто не может удержаться, чтобы им не прихвастнуть.

— Итак, — Джо обращается к классу. — Откуда идет звук?

— Э-э, изо рта? — отвечает второй пилот Тайрона, Джером.

— Скорее, из жопы, — говорит Саманта.

(Очевидно тут есть некая предыстория, связанная с событиями примерно месячной давности.)

— Да, изо рта, но не просто изо рта, — быстро подхватывает Джо. — Там звук выходит, но *откуда* он идет?

— Откуда-то отсюда, — говорит Тайрон, указывая на точку вверху живота или внизу груди. — Ну, так чувствуется.

— Из диафрагмы, — говорит Джамиля, которая

однажды станет врачом, если ее семья приложит руки.

Немедленный гогот.

— Ты в курсе, что это как-то связано с контрацепцией, да? — говорит Джером.

— Ага, слова могут иметь два значения, — говорит Джамиля с таким пренебрежением, что ей даже не надо поднимать взгляд с пола.

— Диафрагма — правильный ответ, — говорит Джо. — Это мышца у нас внизу между ребер, мы используем ее, чтобы управлять воздухом, с помощью которого поем. Если вы сделаете глубокий вдох, то почувствуете, как она смещается вниз, чтобы освободить место. Попробуйте. Давайте, все вместе.

Со всех сторон доносятся пыхтение, сопение, нарочитые вдохи и выдохи — звуки настоящего эксперимента.

— Почувствовали? Хорошо. А прямо над ней у нас гибкая трубка, она идет прямо в гортань, вот сюда в середину горла. С ней соединены легкие, а диафрагма позволяет контролировать, сколько воздуха туда попадает и с какой силой. Но главное, что надо запомнить: эта трубка гибкая. Она похожа на шланг от пылесоса, только розовая и липкая и гнется точно так же. Когда вы поете,

это ваш музыкальный инструмент. Так, Тайрон, запомни, ты — гибкая трубка…

— Мы ему постоянно об этом говорим, мисс, — говорит Джером.

— В этом смысле мы все гибкие трубки, Джером, — отвечает Джо.

— Не я, — говорит Саймон. — Я…

— Да-да, Саймон, спасибо. Тай, возьми-ка ту ноту еще раз и потом чуть-чуть согнись, чтобы согнулась трубка, хорошо?

Тайлер снова выдает им «а-а-а» — берет «ми» — и поворачивается из стороны в сторону, наклоняется вперед-назад. Они все слушают и слышат, как меняется звук: как он глохнет, срывается, меняет громкость.

— Видите? — говорит она. — Если хотите взять полную ноту, нужно, чтобы трубка оставалась максимально прямой. Теперь, Тайрон, выпрямись, пожалуйста. Как по струнке. Отлично. И отведи назад плечи. Не так сильно, вот так. Смотри перед собой, подбородок вверх, но сильно не задирай и пропой-ка ту ноту еще раз. Чуть громче. Чуть громче. Вот оно.

Чистая, ровная, полноголосая «ми». В голове Джо — теплая, как чистый желтый цвет.

— Чудесно, — говорит она. — Скажи же «Ал-

лилуйя», Тай, — заговорщически добавляет она, понизив голос.

— Да ну вас, мисс, — отвечает Тайрон, но с улыбкой.

О чудо: Джамиля поднимает руку.

— Да?

— А что происходит в конце трубки? В горле?

— Хороший вопрос. Там сложная система. От давления воздуха в трубке начинают вибрировать голосовые связки, звук меняется в зависимости от положения языка и губ и усиливается, отражаясь от полостей в голове.

— Получается, голова — это типа как колонка? — спрашивает Саймон своим нормальным голосом.

— Именно так. Колонка из кожи, костей и мышц. Но даже если вы для начала просто сконцентрируетесь на том, чтобы держать трубку прямой, вы уже заметите разницу. На сегодня и этого будет достаточно. Так, ну а теперь встаем. Давайте-давайте. Спасибо, Тайрон. Я попрошу вас разделиться, мальчики сюда, девочки сюда. Нет, это не сексизм. Вот что мы будем делать.

Когда она только вернулась в Англию, когда впервые взялась кого-то чему-то учить, самым сложным оказалось разделить все то, что она

знает о музыке, и объяснять постепенно, по одной теме за раз. Когда ты сам учишься чему-то, ты ничего не делишь, не разбиваешь на части. Все связано со всем, и возникает естественный импульс вывалить всю эту массу как есть, превратив в бессмысленный поток. Но постепенно ты учишься противоестественному искусству разделения своего знания на фракции, начинаешь понимать, в каком порядке их подать, чтобы выстроить это же знание в других головах. Так выходит, что ты до невозможности сужаешь тему каждого урока, до невозможности загружаешь его тем, что дети никак не могут усвоить. Поразительно, как мало может уместиться в хороший урок, даже если они в самом деле его усвоят. Изучить что-то одно, изучить как следует — больше ничего не нужно. Если, конечно, это одно — то, что нужно.

Не то чтобы она собиралась преподавать, когда вернулась домой. Она не то чтобы вообще собиралась остаться. Она прилетела в Лондон весной 1980-го, потому что Вэл судили, и она хотела быть там, пусть пользы от этого было и не много. Она искала, чем бы заняться, — чем-то, за что бы платили, — связалась со старыми друзьями-музыкантами, но вместо студии попала в проект,

организованный управлением образования Внутреннего Лондона в Майл-Энде, в качестве дополнительного профессионального голоса. Хором руководил американский экспат, уклонист Клод Ньютон, на пару лет моложе ее. В своем деле он был очень хорош, неистов и воодушевлен, а когда он обратил внимание на Джо, оказалось, что он еще и очень привлекателен. Позже выяснилось, что отчасти этому способствовало маниакальное состояние, которое было частью цикла, также включавшего в себя мрачные периоды, по темноте сравнимые с сибирской зимой. Но недостатки есть у всего, и дни в Майл-Энде были просто сказочными. Настолько сказочными, чтобы затмить неприглядность самого города; настолько сказочными, чтобы помочь ей вынести все ужасы судебного процесса с лающими скинхедами на галерке и Вэл на скамье подсудимых, похожей на скукожившегося гоблина. Вынести то, что Вэл запретила ее навещать; вынести фото Вэл у входа Олд Бэйли, появившееся в «Ивнинг стэндарт» под заголовком «Нацистская королева смерти». Она прыгала в метро, ехала на восток в прокуренном, замусоренном вагоне, поднималась на поверхность захудалого, застроенного высотками квартала и наблюдала, как Клод творит чудеса с

детьми, которые поначалу едва улыбались.

— Почему бы тебе не остаться? — спросил он.

И она осталась. Как оказалось, все ее пожитки в ЛА уместились в три или четыре коробки, которые она распаковала в квартире Клода на Брикстон-Хилл. «Почему бы тебе не пройти педагогическую подготовку? — спросил он. — Ты ведь ладишь с детьми». И она прошла, правда, на это ушло больше времени, чем предполагалось, потому что она молниеносно и очень неожиданно забеременела. «Я полагаю, ты хочешь, чтобы я сделала аборт?» — спросила она. «Что? — сказал Клод. — Зачем? Значит, так было суждено, крошка». Она перестала замечать неприглядность. Вместо этого в то беременное лето она заметила, как зеленеет Южный Лондон. Сначала зелень была как пыль, присыпавшая цветом жизни ветки упрямых деревьев, растущих между краснокирпичными домами. Затем она превратилась в навес, лиственный полог, колышущийся над разбитыми ступеньками и неубранным мусором. Она заметила толчки в животе. Она заметила, что, находясь в классе, не беспокоится от мрачных мыслей, не дававших ей покоя в студии, о том, что для музыкального бизнеса она уже стара. Детям в школах не было совершенно никакого

дела до того, чем она занималась последние двадцать лет, они не слышали даже самых известных имен того времени, и ей было все равно, что им все равно. Она была даже рада избавиться от всего этого; заменить это на труд того самого ежедневного поиска одной-единственной вещи, которую ей нужно донести.

А потом родился Маркус. И, глядя на его маленькую, сморщенную, покрытую смазкой головку, она почувствовала, как ее, точно молния, поразила любовь, всепоглощающая и безусловная. Это была любовь к малышу, да, но она разрасталась; отбрасывала лучи, как рассветное солнце; согревала, как хорошая погода; помогала справляться с открывающимися недостатками Клода; придавала терпения — в большинстве случаев — во время медленного, медленного восстановления отношений с Вэл. Поначалу для Вэл существование Маркуса все только усугубило. Выйдя из тюрьмы и прячась в реабилитационных центрах под покровом стыда, она страдала от зависти. Два жутких года она пыталась забеременеть — судя по всему, от любого, кто попадался под руку, — и не преуспела; так же как не преуспела в том, чтобы не начать ненавидеть Джо за то, что у нее было то, чего ей, Вэл, не хватало. И ей было стыд-

но за эту ненависть, ей было стыдно вдвойне. Но с Маркусом к Джо пришла какая-то уверенность. Возможно, с ее стороны было эгоистично предполагать, что раз у нее самой все хорошо, вокруг все тоже неизбежно должно быть в порядке. Но осознание того, что у нее есть свой надежный кусочек счастья, сделало ее добрее. Оно помогало ей ждать, надеяться и пытаться помочь Вэл хотя бы тем немногим, чем та ей позволяла. А потом, когда Маркусу уже было четыре и он получил футбольный мяч, Вэл оказалась с ними в парке Броквэлл, куря одну за одной, — куда больше, чем хотелось бы Джо. *Ну-ка, пасуй мне*, — сказала Вэл, и после короткого замешательства Маркус пнул мяч, и они понеслись к качелям, передавая мяч друг другу, насколько позволяли короткие детские ножки и зрелая одышка. Когда они вернулись, Маркус хихикал, а Вэл посмотрела на Джо, как бы спрашивая: *«Можно?»*, и Джо взглядом ответила: *«Конечно»*.

После этого она начала стараться, покупала ему подарки, которые не могла себе позволить, живя на пособие. Когда Клод угодил в больницу во время одной из своих сибирских зим, именно Вэл забирала Маркуса из школы, пока Джо сама еще вела уроки. Это Вэл стояла у Маркуса за спиной,

когда они открывали ей входную дверь с витражным стеклом, и говорила: *«Покажем маме, что ты сделал?»* — *«Как знакомо,* — думала Джо, вешая на крючок шарф и берет и следуя за ними на запах пастушьего пирога. — *Я снова в женском доме мамы и тетушки Кей, только теперь вместо картонных кукол в бумажных одежках на полу валяются детальки от робота».* Именно Вэл в такие вечера приносила ей бокал вина, пока она играла на пианино, уложив Маркуса спать. Именно Вэл вечерами сидела с ней на кухне, и однажды ночью, когда они почти прикончили вторую бутылку вина, она вдруг рассказала, каково ей жилось с Майком. И всхлипнула. Вот так постепенно кусочки счастья наслаивались один на другой, а один день перетекал в следующий.

Мальчики с одной стороны комнаты разделились на две группы и пели ноты «ре» и «фа», девочки, тоже в группах, пели «ля» и «си». Они не поют в унисон и поочередно останавливаются: им сказано петь, пока хватает дыхания, потом сделать вдох и взять ноту снова, сознательно избегая синхронизации с соседями, чтобы в промежутках каждая группа непрерывно выдавала ноту, подобно быстрой и грязной версии техники непрерывного дыхания. Они не сразу понимают,

что нужно делать, и ей приходится останавливать их и иногда поправлять каждую группу, задавая им ноту, которую она хочет от них услышать. Они не могут поймать «ре», «фа», «ля» или «си» самостоятельно — за исключением, быть может, Тайрона, — но могут повторить и даже, несмотря на сложности с дыханием, остановки и вступления, они чувствуют себя увереннее, когда слышат, как нужная нота громко звенит в окружающей их толпе. Вскоре они уже могут держать ноту, даже когда Джо начинает руководить ими, дирижируя взмахом руки. Ре — фа — ля — си. Снова и снова раздается минорный аккорд двадцати восьми голосов, он держится, резонирует, отскакивает от белой потрескавшейся звукоизоляционной плитки музыкального класса. Но ему нужен еще один элемент, и она решает, что они вполне справятся с многозадачностью. Она задает ритм. Мальчикам — *шлеп — хлоп — хлоп*, руки к бедрам для следующего шлепка; а девочкам, избегая стереотипов, предлагает более быстрый ритм с футбольных стадионов — *хлоп-хлоп — хлоп-хлоп — хлоп*.

— Так, — говорит она. — Теперь мы используем все сразу. Я буду дирижировать, а вы постепенно вступать. Мальчики хлопают, девочки хлопают,

потом две ноты мальчиков, по очереди, начиная с нижней, и две ноты девочек, тоже по очереди и тоже с нижней. Так мы соберем их вместе, начиная с самого низа. А когда все вступят, не останавливайтесь. Все продолжают петь. Если слышите, что сбились, подстраивайтесь. Попытайтесь, по крайней мере. Посмотрим, как долго мы сможем продержаться. Все готовы?

Раздаются хлопки, один поверх другого, создавая новые ритмы и эффекты, ударные волны сталкиваются и отскакивают друг от друга. Затем она вводит четыре ноты аккорда, поднимаясь к самой высокой. Да, нерешительные; да, сбивающиеся; да, неуверенные. Новичкам сложно дается многоголосое пение, даже в такой примитивной форме. Но после некоторых колебаний аккорд устанавливается и уже не прерывается. Ее подмывает наложить что-нибудь сверху, какое-нибудь свободное подвывание сопрано, как у Клэр Тони в «Темной стороне Луны», разве что никто из них не поймет, откуда это. Тайрон довольно округлит глаза, но она их собьет, разрушит сиюминутную концентрацию. Она ничего не добавит к структуре, а лишь развалит ее. Поэтому она просто наблюдает: они старательно открывают и закрывают рты, хватают

воздух и целых десять, двадцать, тридцать, сорок секунд старшеклассники удерживают аккорд. Слышат ли они этот колоссальный живой звук, который они воспроизводят вместе? Слышат ли они этот орга́н, в который ненадолго превратились, чьими отдельными трубами стали липкие розовые трубки в их подростковых телах? Несовершенными трубами, состоящими из влажных перекрученных волокон, без единой ровной линии, накачиваемые воздухом из странных трепыхающихся баллонов и тем не менее способные издавать звук, который, кажется, сливается с порядком, существовавшим задолго до того, как они пришли в этот мир и начали петь. Они создают порядок, который совпадает с другим порядком. Она хочет, чтобы они поняли, что музыка — это удивительная вещь, и самое удивительное в ней то, что она рождается из наших грязных тел. Пой, Хэйли. Пой, Тайрон. Пойте, Джамиля, Саймон, Саманта, Джером. Не останавливайтесь, пока не придется. И вы увидите, если сможете, как ваш кратковременный гормональный оркестр и еще непереваренные обеденные «Биг-Маки» можно заставить звучать музыкой сфер. Если вы позволите себе быть инструментами.

Звенит звонок, и подростки разбегаются, сме-

ясь и цокая по плитке.

Вечером они с Маркусом едут домой.

— Как прошел день? — спрашивает она.

— Нормально, — отвечает он, уставившись на дорогу.

Ее гордость, ее радость, ее поздний, чудом зачатый ребенок, с приходом которого вся ее жизнь началась заново; ребенок, когда-то лежавший так близко у ее груди, что ей казалось, будто вместе они составляют единое молочное целое. Он склоняет горделивую, ироничную, двенадцатилетнюю голову и на долю секунды упирается ей в плечо.

Алек

— А ты читал книгу «Филантроп в драных штанах»? — спрашивает Алек.

— Нет, мистер Торренс, — настороженно отвечает Уэйн, студент программы обучения молодежи[48]. — А о чем она?

Они подготавливают голые стены спальни в одном из больших домов на вершине Бексфорд-Райз к первому слою штукатурки. Большие кисти и ведро разбавленного клея ПВА. Сначала он хлюпает, а затем впитывается, оставляя на поверхности легкий блеск. Уэйну дали обрабатывать стены клеем, потому что он только начал обучение и Гэри еще не успел посвятить его в таинство штукатурки стен. А Алек, как выяснилось, не очень-то ладит со шпателем и мокрой штукатуркой, поэтому ничего, кроме клея и кисти, Гэри ему не доверяет. (Вообще-то он неплохо снимает старую штукатурку, орудуя отбойным молотком и долотом, но эта часть работы уже сделана.)

---

[48] Примечания: 48

Имеется в виду годичный или полугодичный курс для выпускников школ, предполагавший освоение профессии в процессе работы. Учрежден правительством Маргарет Тэтчер.

— Зови меня Алек, — говорит Алек, глядя сверху на коротко стриженный затылок имбирного цвета, когда парень с легкостью садится на корточки, чтобы обработать проплешины над плинтусом. Но это дохлый номер. Гэри — босс, а он его отец. — Книга о работе штукатурщика. Ну, вообще о разных строительных работах. О покраске, об отделке, но про штукатурку там тоже есть.

— Да?

— Ага. Наверное, это единственный роман на английском языке, чей автор решил, что штукатурка достаточно интересное дело, чтобы включить ее в книгу. И знаешь, он, возможно, ошибался.

Хлюп-хлюп, окунуть кисть в ведро. Уэйн, очевидно, очень хочет, чтобы он заткнулся. У него затравленный вид.

— Ну, в общем, эти ребята ремонтируют дом, все работают на одну контору, так что это большая общая работа. И некоторые из них очень даже хороши. Талантливые, понимаешь? Даже творческие. Но чтобы успеть все вовремя и получить те деньги, которые им пообещал босс, они вынуждены все делать через задницу. Торопиться, экономить на материалах, ляпать так, что все кажется вроде бы неплохо, но осыпется через де-

сять минут после того, как они получат деньги.

— То есть они как… Как ковбои? Получали деньги, и ищи-свищи? — спрашивает Уэйн.

— Не-е-ет! — говорит Алек. — В том-то и дело. Они никого не надувают. Не они поступают низко, не они наживаются на всем этом. Они просто заложники глупой системы. У них есть все, чтобы делать работу хорошо, у них в руках есть инструменты, но вместо этого они все запарывают. Им приходится все запарывать.

— Да, но…

— И книга-то, по сути, о том, что вот он, ваш капитализм.

— Да, но…

— Пап! — зовет, появившийся в дверях Гэри.

— И ты можешь сказать, что это, мол, когда было, но сейчас ведь все то же самое. Вот ты, например. Ты работаешь полную неделю и получаешь за это десять фунтов. Разве это честно?

– *Пап*, — говорит Гэри.

— Но я учусь, — говорит Уэйн.

— Именно так, — говорит Гэри. — Не обращай на него внимания, он просто неугомонный творец.

— Неправда, — протестует Алек. — Я тут о серьезных вещах говорю. Я пытаюсь…

— Пап! Пожалуйста, пожалуйста, пожа-а-алуйста, перестань подбивать Уэйна на революцию. — Гэри раздражен, но держится в рамках юмора, а Алек неистовствует, однако без прежней горечи. Сразу после Уоппинга[49], когда он лишился работы, а все его умения в одночасье стали совершенно бесполезны, было гораздо хуже. Унижение было еще свежо. Он ненавидел брать эти благотворительные подработки у сына, ненавидел свое падение до чернорабочего, не годного ни на что, кроме «принеси-подай», и демонстрировал это при любой возможности. Оглядываясь назад, он поражается, как Гэри его выносил.

— Ну, знаешь, — начал он, стараясь превратить свою шутку в некоторого рода извинение. — Я просто держу руку на пульсе. По старой памяти. И сегодня мой последний день в конце концов. Надо же оставить тебе память о том, как это было отвратительно, когда я на тебя работал.

— Ага, спасибо, — говорит Гэри.

— Но что же с книгой? — встревает Уэйн.

— А что с ней? — спрашивает Алек, азартно

---

[49] Примечания: 49

Неудавшаяся забастовка печатников в 1986 году, в результате которой многие типографии переехали с Флит-стрит в район Уоппинг и отказались от использования линотипов, после чего тысячи работников типографий лишились работы.

вскинув брови.

— Если эти ребята в книге дерьмово делают работу, потому что им предложили мало денег, то это вроде как вина клиента, так? Не надо было предлагать так мало. Заплатили за дерьмо, дерьмо и получили. Правильно получается?

— Да ты чертов маленький Тэтчер, — говорит Алек.

Гэри смеется.

— Ты уже закончил внизу? — спрашивает Алек.

— Угу. Готов переходить сюда, если вы все.

— Да, мы все, — говорит Уэйн.

И это правда: пока Алек стоял там с кистью в руке, парень успел закончить свой кусок стены и потихоньку перебрался на незаконченный участок Алека.

— Хорошо. Тогда, думаю, пришло время для первого урока, — кивает Гэри Уэйну.

— Мы поможем тебе поднять все сюда, — говорит Алек.

— Нет-нет, не надо. Мы с Уэйном сами справимся. Тебе разве не надо идти? Тебе вроде надо отпустить маму в половине первого.

Алек смотрит на часы. Вот гадство. Точно.

— Да, надо поторопиться, — говорит он. — Лад-

но, увидимся вечером, сынок. Счастливо, Уэйн. Постарайся не вырасти законченным тори, хорошо?

Он топает по лестнице, устеленной простынями от пыли, стараясь не касаться свежей коричневой штукатурки, которая на более старом, уже просохшем участке побледнела до светло-терракотового цвета. По мере высыхания следы в местах, где Гэри ловко поворачивал шпатель, становятся едва заметными красноватыми зернышками на, без сомнения, ровной поверхности. Гэри знает свое дело.

— Ваш отец разговаривает как учитель, да? — доносится сверху робкий голос Уэйна.

— Забавно, что ты так говоришь…

Двадцать минут первого. Из холодной влажной пещеры назад в августовскую жару. Мимо таблички с надписью «Фезерстоун» (баскервилль, кегль 10 000) и белого грузовика с наклейкой «Братья Торренс» на боку (шрифт без засечек, но он не знает какой). В кои-то веки с работы домой можно добраться пешком. Ему нужно просто прогуляться — вернее, проковылять — вниз по аллее с верхушки Райз до того места, где справа заканчиваются большие дома, и повернуть за угол к мезонету. (Теперь их собственному мезо-

нету, а не муниципальному. Он отказывался, но Гэри настоял, и, принимая в расчет пособие, добрую волю Гэри и тот факт, что он, Алек, больше ничего не мог привнести в семейный бюджет, он решил, что не вправе упираться.) Листья над головой тяжелы и неподвижны, воздух почти не шевелится. Он чувствует летний жар, спеша домой в комбинезоне. Он чувствует какую-то отчужденность, осознав, что больше не наденет комбинезон, разве что дома, чтобы что-то смастерить. Работать он в нем не будет. Он больше не работяга. Завтра утром он явится в учительскую в костюме и галстуке. Воистину мистер Торренс.

— Прости! — кричит он, входя в дом.

— Мы тут! — отвечает Сандра из гостиной.

Он сразу понимает, что дочурка Гэри с ней, по особенному запаху, обозначающему присутствие в доме маленького человека: смесь лосьонов, кремов, вареных овощей и тонкий намек на использованный подгузник. В первый раз тридцать два года назад он все это пропустил. Тогда это была вотчина Сандры: он пропадал на работе среди чернил и грохота машин, пока Сандра занималась детьми. Теперь же ему все это знакомо, и, выглянув из-за косяка, он чувствует, как в нем привычно встречаются восторг и тоска.

Вики сидит на ковре, высунув ножки из-под маленького красного платья, и держит перед собой пластмассового жирафа, что-то выговаривая ему. Как можно чувствовать одновременно восторг и тоску? Быть переполненным любовью и в то же время осознавать, сколько долгих часов еще осталось до отхода ко сну. Просто можно, и все.

Но чего он не ожидает увидеть, так это отца жены Гэри, Тони, сидящего на диванчике вместе с Сандрой. Когда он входит, они не отодвигаются друг от друга, ничего такого, но ему почему-то кажется, что они продолжают сидеть рядом намеренно. Чувствуется какая-то неловкость: в них самих, в том, что их видят вместе, в том, что их видит он. Хм.

— Я заскочу наверх переодеться, — говорит Алек.

— Милый, возьми Вики с собой, — говорит Сандра. — У меня уже нет времени, надо бежать. Тони меня подвезет.

— Просто подброшу ее, — зачем-то поясняет Тони.

— Ясно, — говорит Алек. — Ну пойдемте тогда, ваше высочество, поможете деду выбрать рубашку.

— А Хоторну можно с нами? — спрашивает

Вики. Должно быть, имеет в виду жирафа.

— Конечно, можно, — отвечает Алек.

Он берет незанятую жирафом руку, и так начинается день на детской скорости, когда любая задача разбивается на бесконечное количество маленьких подзадач. Сейчас надо «пройти по ступенькам». К тому моменту, когда они добираются до пятой ступеньки, Сандра с сумочкой в руке уже выходит из входной двери с матовым стеклом вместе с Тони. Работа Сандры на кассе в супермаркете трансформировалась в нечто полууправленческое в огромном новом бексфордском «Теско». Она все еще работает в торговом зале, но уже бегает и руководит подростками и пенсионерами, которые сидят за кассами. Ее смены начинаются в час.

— А бабушка пойдет с нами наверх? — спрашивает Вики.

— Нет, бабушка уходит с дедушкой Тони, — говорит Алек, тут же пожалев, что сказал это именно так. — Помаши ей, пока-пока.

— Пока-пока, цыпленок, — говорит Сандра, закрывая дверь. — Увидимся, милый.

Еще два пролета, Вики сосредотачивается на больших ступеньках, но вдруг останавливается.

— Почему ты говоришь ваше высочество, деда?

Меня не так зовут!

— Потому что так обращаются к королевам, и когда-то жила королева, у которой было твое имя.

— Королева Вики?

— Ну, Виктория.

— Мне кажется, Вики лучше.

— Угу. Вот мы и наверху.

Когда они поднимаются наверх, Вики приспичивает в туалет, поэтому сначала они идут в ванную. Потом надо вымыть ей руки, высушить руки, промокнуть пальчики с розовыми ноготками полотенцем, спасти Хоторна, который каким-то образом свалился в унитаз, — слава богу, после того как спустили воду, — помыть Хоторна, не дать Вики влезть с помощью, снова помыть ей руки и снова высушить. В спальне она не помогает ему выбрать рубашку. Вместо этого она забирается в шкаф и пытается спрятаться за чехлами для химчистки.

— Я лев, — говорит она. — Р-р-р!

— Р-р-р, — вторит Алек.

Пока длится игра во льва, он успевает переодеться.

— Так. А ты кушала?

— Нет, я голодный лев. Р-р-р!

— Р-р-р. Тогда пошли посмотрим, что тебе приготовила бабушка. Если хочешь, я могу тебя понести.

— Нет, я хочу сама, ножками. Хоторн тоже хочет сам, ножками. — Микроскопическая пауза. — Где Хоторн? — Еще одна крошечная пауза, но достаточно продолжительная для того, чтобы счастье обернулось паническим стенанием. — *Где Хоторн?*

— Я думаю, Хоторн в ванной, лапочка. Пойдем посмотрим?

— Хоторн *потерялся*!

— Нет-нет, он не потерялся. Гляди, вот он.

Хоторн торчит среди зубных щеток. Алек протягивает жирафа, и Вики так рвется его схватить, что случайно стукает Алека по голове. Она трепетно прижимает к себе игрушку, и солнце снова сияет, будто никуда и не девалось. Потеря сокрушительна, а потом ее как не бывало.

— Я думал, Хоторн — слон, — опрометчиво роняет Алек.

— Хоторн в телевизоре свон, — презрительно говорит Вики. — А мой Хоторн — жираф. У него пятна.

— И правда, — говорит Алек. — Теперь пойдем искать обед.

— Обед, — соглашается Вики.

Они ползут по ступенькам.

— Прыг-скок, — восклицает Вики на каждой ступеньке.

— А может, спрыг-скок? — предлагает Алек.

— Нет, — отвечает Вики.

Три часа спустя Алек в парке сидит на скамейке рядом с коляской, наслаждаясь моментом покоя, пока напористая женщина, припарковав свою коляску для близнецов с другого конца, крутит Вики на карусели вместе со своими детьми. Перед этим он накормил ее рыбными палочками, безуспешно попытался уложить ее спать и в итоге усадил смотреть детскую кукольную передачу, так она и уснула. Он хотел освободиться от маленького горячего привалившегося к нему тельца и ускользнуть наверх: проверить план завтрашнего урока, но в итоге отключился сам. А теперь они на улице, в летней городской жаре, под свирепым августовским небом. Он не забыл надеть на нее панамку. Они прошли путь от качелей на цепочках до паутинки для лазания и балансирующего бревна, а теперь у него есть минутка, чтобы осмотреться и даже подумать.

Он в парке, как обычно, самый старый и к тому же единственный мужчина. Кроме него там одни

матери; в том числе будущие, занятые важным репродуктивным делом. Вокруг него сплошное облако эстрогена. Он приходит сюда с Вики почти каждый рабочий день после обеда и уже заслужил своеобразный добродушный допуск в клуб. Его принимают, с ним болтают, но он слишком мужчина, чтобы влиться полностью. И в то же время ему до обидного очевидно, что для них он слишком древний, чтобы считаться мужчиной в активном смысле этого слова. Он не приятель, не муж, не отец ребенка, не один из возможно желанных, а возможно ненавидимых, но объективно заметных осеменителей, которые поспособствовали всем этим зачатиям и округлениям. В данных обстоятельствах небольшая доля зрелого беспутства неизбежна, но оно скорее абстрактное. Самоограничивающееся. Известное как учтивость. И даже в этом случае отдаленное и чисто теоретическое, учитывая, что тебе демонстрируют то, что демонстрируют лишь потому, что ты стерилен и безопасен. Ты допущен, потому что всем на тебя плевать. Миссис Напористость, конечно, не станет светить сиськами, но вчера рядом с ним присела рыженькая девушка, пристроив своего двухмесячного малыша на колене. Немного поколебавшись, она увидела, как Вики

то и дело подбегает к нему, притаскивая палочки, и уверенно ему улыбнулась. Она вытащила большую, бледную, набухшую от молока грудь и сунула большой, мягкий, медный сосок в рот младенцу. Ребенок тут же принялся сосать, довольно причмокивая. Где-то в глубине какая-то часть Алека подумала: *«Неудивительно, что он так счастлив. Я бы тоже был счастлив, окажись такое у меня во рту»*. Но только в глубине и только отдаленно. Это как быть евнухом в гареме. По крайней мере, так Алек представлял себе ощущения евнухов в гареме. Или, если точнее, так он убеждает себя *не* представлять жизнь евнухов в гареме, потому что все это восточный стереотип. Учебник по востоковедению был одной из обязательных к прочтению книг на его курсе в Открытом университете[50].

Он никогда не изменял Сандре. Эта мысль внезапно приходит к нему в голову именно сейчас, когда ему кажется, что Сандра может (А может? В самом деле может?) изменять ему. Хотя с Тони… С Тони? Серьезно? Тони, которого Джин, мама Сони, бросила два года назад и который даже яйцо сварить не в состоянии? Тони с его красной

[50] Примечания: 50

Британский виртуальный университет дистанционного обучения. Основан указом королевы Великобритании Елизаветы II в 1969 году.

мордой (хотя он умудрился сохранить все волосы, ублюдок)? Тони, чьи разговоры, при которых когда-либо присутствовал Алек, ограничиваются только ремонтом машин? Нудный Тони. Беспомощный Тони. Некрасивый Тони. Что такого могло бы увлечь его Сандру после стольких лет? Заставить ее длинное тело склониться, потянуться, даже захотеть потянуться к этой куче на диване по имени Тони, в этом его укороченном пальто и с перстнем на пальце. Ничего, разумеется. Разумеется, он просто что-то не так понял, не так истолковал и теперь терзается паранойей из-за ситуации, в которой, разумеется, — разумеется — не может быть места никакому соблазну.

Тому соблазну, о котором, как ему кажется, он знает. Он совершенно точно испытывал его сам. В частности, в летней школе открытого университета, где на одного мужчину приходилось в среднем две женщины и, следовательно, выбор зрелых лакомых кусочков был такой, что глаза разбегались. Ты паковал вещи и уезжал из дома; и целые две недели жил в студенческом общежитии, в комнате для восемнадцатилетних, на крошечной кровати для восемнадцатилетних, и от этого вечерами в студенческом баре тебе на ум приходили анахронические мысли. И все

эти приземистые, незнакомые закутки были битком набиты теми, кого тоже одолевали подобные анахроничные чувства, которым многие и поддавались. Ловили момент. Пользовались временной свободой самым банальным способом. Там была одна дамочка, хозяйка пансионата в Рамсгейте, прямо изнемогающая и очень настойчивая. Она вся состояла из сплошных сочных изгибов и веснушек — в эротическом смысле полная противоположность Сандры. И да, он тоже хотел. Но не поддался желанию, и не столько из какой-то добродетельности, сколько из-за определенного представления о собственной жизни и о том, какой она должна быть. (Если ему не изменяет память, дамочка тогда, не моргнув глазом, переключилась на электрика из Салфорда.)

И что это ему дает? А то, думает Алек, что Сандра, как и любой другой человек, наверняка может заскучать и в такие легкомысленные моменты задаться вопросом, а каково это — быть с кем-то другим. Но с Тони?

А может быть, говорит зловещий голос у него в голове, *это потому что он не в состоянии сварить яйцо, или запустить посудомоечную машину, или присмотреть за ребенком после обеда. А ты адаптировался. Ты лишился работы и…*

одомашнился. Научился делать женскую работу. Она сказала, что не возражает; сказала, что благодарна ему. Но, может быть, в глубине души ей это совсем не нравилось. Может быть, из-за этого ты перестал быть мужчиной в ее глазах. В ее глазах тоже. *Дедушка-евнух. Стерильный Алек, прекрасный нянь.*

Заткнись-заткнись-заткнись, говорит он себе, впиваясь пальцами в кожу головы и ошеломленно глядя, как Миссис Двойная Фамилия с двойной коляской ведет Вики и своих двоих обратно.

— Все в порядке? — спрашивает она таким тоном, который явно дает понять, что в зависимости от ответа его допуск в клуб может быть аннулирован.

— Да, в полном, — отвечает он. — Просто тут такая жара.

— Это точно, — с облегчением говорит она. — Ужасная. Наверное, надо будет дома вытащить детский бассейн. Окунуть этих маленьких монстров.

Она наверняка живет в одной из этих претенциозных громадин на Бексфорд-Райз. Жена банкира или хирурга. *Динь-дон, запахло сексизмом*, укоряет себя Алек. Может, она сама банкир или хирург и просто жутко серьезно подошла к

декрету. Нет никаких причин полагать, что она живет на содержании вражеского класса. Надо отдать дамочке должное со всем уважением. Вражеским классом вполне может быть и она сама.

— Дам-ка я своим что-нибудь перекусить, — продолжает она. — Ваша малышка будет?

— Это было бы очень мило. Вики, скажи спасибо.

— Спаси-и-иба, — говорит Вики, с готовностью протягивая руку.

Но когда с пластикового контейнера исчезает крышка, внутри оказывается лишь изюм и морковные палочки. Вики роняет руку и бросает на Алека жалобный взгляд.

— Лапочка, может, ты хочешь свой «Кит-кат»? — ликуя в глубине души спрашивает Алек.

— Да, пожалуйста, — говорит Вики, демонстрируя хорошие манеры без всякого напоминания.

Алек выуживает из сумки упаковку и достает один батончик. На жарком августовском солнце Вики тут же начинает шоколадиться. Двое других смотрят на нее с завистью, изюм с морковкой у них во рту в этот момент явно превращаются в пепел. Ха! В классовых войнах забота о маленьких людях объединяет людей, которые при других обстоятельствах даже не заговорили бы друг с

другом. Но это всего лишь перемирие, а не мир.

— У меня есть еще два, — говорит Алек. — Можно угостить вашу парочку?

— Ну, я не знаю, — выдавливает женщина, сверля его взглядом, полным диетологического негодования.

— Пожалуйста, мамочка! Пожалуйста! — встревают дети, вихляясь из стороны в сторону.

В глубине души Алек снова ликует.

К несчастью, в последний момент, ринувшись, чтобы забрать Хоторна из укромного местечка под качелями, Вики спотыкается о бордюр и ссаживает коленку. Ссадина небольшая: всего лишь белая царапина и небольшой красный крестик на безупречно розовой коленке — он легко справляется с кровью с помощью бумажных салфеток, которыми до этого вытирал с ее лица шоколад. Он быстро обрабатывает ссадину антисептиком, заклеивает пластырем и целует для пущей эффективности. Но отчасти из-за боли, отчасти из-за драматичности момента Вики отказывается идти остаток пути домой пешком или ехать в коляске.

— Деда, понеси меня, — командует она.

И так они идут: Вики у него на плечах, а он одной рукой прижимает к груди ее болтающиеся ноги, а другой рывками толкает коляску.

Слоник Нелли чемодан собрала
И сказала цирку: «Пока-пока».

Они поют вместе, и Вики жирафом отбивает ритм у него на голове.

К тому моменту, когда они возвращаются домой, от жары и жирафьих ударов у него раскалывается голова, а бок сводит судорогой. Вики же, напротив, полна энергии. Она не хочет ни спать, ни слушать книжку, ни играть ни в одну из спокойных игр, что приходят ему на ум, поэтому он снова включает ей детскую передачу, и она принимается скакать на диване, как попрыгунчик. Через проем в стене ему видно, что она делает, а это значит, что он может отойти от нее достаточно далеко, чтобы пройти через всю кухню, поставить воду и начать готовить ей чай. Но он не может подняться наверх, откуда план урока зовет его теперь еще громче. Стоит ему хоть на секунду потерять ее из виду, когда он тянется за банкой фасоли для тоста или наклоняется к мусорному ведру, чтобы выкинуть чайный пакетик, перед глазами тут же вспыхивают тревожные картинки, хотя по правде он всегда одергивает себя в самом начале зловещего видения, в котором Вики ранится о какой-нибудь твердый угол.

Сама мысль и без того достаточно ужасна, чтобы представлять ее у себя в голове.

— Лапочка, осторожнее там, — кричит от в проем.

— Слоник Нелли… — поет Вики, не обращая на него внимания, в целости и сохранности.

Устав от скакания на диване, она спокойно дает усадить себя за кухонный стол и принимается ковырять ложкой маленькие квадратики хлеба и оранжевые бобы. Сейчас около половины шестого. Жара немного спадает. Порыв ветра сотрясает окно над раковиной, на медном небе показываются облака. Дождь был бы кстати. Он сидит напротив и нянчит свою кружку. Она сидит на месте, которое принадлежало Стиву, когда в этом доме исполняли первую версию семьи. Новые шторы, новая посудомойка, но многие другие вещи в этой комнате остались прежними, словно ждали, когда ими снова воспользуются. Но все ведь уже не как прежде. В первый раз, кажется, что это время никогда не закончится, но, когда спустя поколение все повторяется, ты уже знаешь, что маленькость маленьких людей неумолимо проходит; что дом — это просто выдумка, которая живет лишь какое-то время. Тебя не спасет ни старый телефон, ни кремовая краска

вокруг чердачной двери; не тогда, когда ты собираешься разорвать привычное полотно своей жизни и начать заново. Не тогда, когда Сандра — упаси боже — возможно, собирается сообщить ему, что… *Заткнись-заткнись-заткнись*.

— Ну так как насчет книжки? — спрашивает он, когда Вики заканчивает с едой и уже сидит чистая.

— Хорошо, деда, — говорит она так, словно по доброте душевной делает ему большое одолжение.

Может, оно и так. Дед и его книги. Никого в семье к ним больше не тянет. Он может завлечь Вики в библиотеку не больше, чем когда-то мог заинтересовать ею Гэри и Стива. Но она уютно устраивается у него на коленях.

— У мистера Магнолии один всего сапожок, — читает он ей. — Сестрички его играют на флейте, а сам он дует в рожок.

— У меня есть сапожки, — восклицает Вики.

— Есть. А какого они цвета?

— Желтые!

— Желтые. Но у бедного мистера Магнолии нет сапожек, вон, посмотри, пальцы торчат.

Они дочитывают до конца, где мистер Магнолия благополучно осапоживается.

— Так, — говорит он, словно у него внутри сработал будильник и он больше не может ждать ни секунды, — теперь нам надо пойти наверх, потому что деду нужно посмотреть свою работу на завтра. Для большой школы.

— Не хочу.

— Но нам надо, моя хорошая. Пойдем.

— Нет!

— Да. Давай пойдем.

— Нет!

— Вики, да. Ты же хорошая девочка.

– *Не-е-ет! Нет-нет-нет!*

И вот внезапно разражается истерика. Она вся раздувается, деревенеет, краснеет. У нее внутри извергается вулкан протеста. Ему бы следовало использовать какой-нибудь отвлекающий маневр, но он и так очень долго терпел. Он просто сгребает ее в охапку и тащит громогласное и извивающееся тельце по ступенькам в комнату, которая некогда была спальней Гэри. Он кладет ее на кровать и, пробормотав какое-то формальное утешение, оставляет стенать, а сам включает компьютер. *Я что, в самом деле хочу проводить каждый день с детьми с утра до вечера?* — спрашивает он себя. Да, хочет, и по весьма понятным причинам. Да и семилетние дети совсем не похо-

жи на двухлетних. Учитель начальных классов мистер Торренс будет совсем другим человеком, он будет занимать совсем другое положение, не то что раздражительный дед Алек.

Рев Вики стихает и перерастает во всхлипывания. Он видит, что она глазеет в монитор. Там, где не помогает сила, всегда помогает голубой экран.

— Как ты, котенок? — спрашивает он, подхватывая ее на колени.

Неправдоподобно огромные слезы свисают с ее неправдоподобно длинных ресниц, и он, устыдившись, промакивает ей глаза. Вместе они смотрят, как запускается операционная система. Она смотрит, а его взгляд блуждает по книжной полке, на которой аккуратно расставлены учебники, пособия и папки Открытого университета. Инструменты трансформации, которая завершится завтра в половине девятого утра, когда он с портфелем пройдет через ворота школы Холстед Роуд. Они же — его утешение, его прибежище и в каком-то забавном смысле — его реванш. Он прятался здесь с «Искусством видеть» и «Педагогикой угнетенных» Фрейре, чтобы создать себя заново и показать этим ублюдкам.

— А мы поиграем в гусеничку? — спрашивает

Вики.

Она имеет в виду установленную на компьютере игру.

— Да, поиграем потом, — говорит он и открывает «Ворд».

Снова загрузка, жесткий диск смешно тарахтит и жужжит. Алек думает, а что, если вся эта история с Тони никак не связана с сексом? Ну или почти не связана. Что, если дело вообще не в соблазне и не в искушении? Что, если ей просто одиноко? *Я сидел здесь, менялся, и чем больше я менялся, тем меньше мы обсуждали, что у меня на уме. Не могли же мы обсуждать Паулу Фрейре. Нет, мы, конечно, пытались, но у нас ничего не вышло. Когда мы разговариваем — слава богу, хоть разговаривать еще не перестали, — мы обсуждаем, только как прошел день; обсуждаем сыновей, а теперь еще и внуков; обсуждаем, чего нового в бесконечной мыльной опере под названием «Теско»: кто из людей, которых я никогда не встречал, расстался с теми, кого я тоже никогда не встречал. Но внутри меня есть часть, о которой я не говорю, и она становится больше. Я думал, что это моя потеря, но, конечно, и ее тоже. Она понимает, что значительная часть меня теперь находится вне ее поля зрения, вне ее*

доступа. Может быть — и почему это не приходило к нему в голову раньше — какая-то часть ее жизни тоже разрастается за пределы его досягаемости? Может, Тони просто… там? Сидит себе на диване и не витает в облаках.

Наконец открывается файл. Куча точек и стрелочек, пожалуй, даже с избытком. Вики глядит, не отрывая глаз.

— Что тут написано, деда? — спрашивает она.

— Всякая скукотища, — говорит он. — А знаешь что? Давай-ка сделаем слова побольше и попробуем поискать твою букву.

Движение мышкой, пара кликов, и вот он проделывает то, чего ни за что не смог бы на своей старой работе: увеличивает кегль с двенадцати до семидесяти двух, а потом и до девяноста шести — на «раз-два». Ну и «таймз нью роман», конечно же, по старой памяти.

— Смотри, — говорит он. — А вот и *вэ*.

Вики тянется пальцем к монитору, чтобы обвести букву. Внизу в двери поворачивается ключ — Сандра пришла домой, чтобы сказать ему, что он все напридумывал, или чтобы перевернуть его жизнь вверх ногами.

— А из чего она сделана, деда? — спрашивает Вики.

— Из света, лапочка, — говорит Алек. — Она сделана из света.

T + 65: 2009

Верн

— Куда мы едем? — спрашивает Верн.

— Сюрприз, — отвечает Бекки, держась за руль «Рэндж Ровера».

— Но…

— Пап, это *сюрприз*, — повторяет она.

— А ты в курсе, что ты в Вэст-Энде нигде не припаркуешься?

— Ну, значит, нам повезло, что мы туда не едем.

— М-м-м.

— Едем в твое излюбленное место. Больше ничего не скажу.

— Хочешь сказать, мы едем в Бексфорд? Но… А-а, ладно.

Пошарив в бардачке, он достает диск оперы «Тóска» с Кири Те Канава, которую всегда использует в качестве беруш, когда звуки семейной жизни становятся совсем невыносимыми. Цокнув языком, Бекки закатывает глаза, но не возражает против звуковых волн, раскатывающихся по светлой нубуковой обивке и кисло-зеленой обшивке автомобиля. Несмотря на тугой хвост, крепко стягивающий не только волосы, но и

кожу, на лбу у нее виднеется складка. Она всегда там. Вот так его старшая дочь идет по жизни: вечно в эпицентре, в постоянной спешке.

Они практически не знают друг друга. Как часто они встречались до того, как он заболел? Один? Два раза в год? Слышал, что у нее все в порядке; немного помог с начальным капиталом для небольшой империи развлекательных центров в Тэмзмид и Медуэй; почувствовал некоторую гордость за то, что в ней, похоже, есть предпринимательская жилка; по правде говоря, был вынужден перепроверять имена ее детей, когда подписывал рождественские открытки. А потом все рухнуло, бизнес пошел ко дну, и на поверхность всплыла целая куча долгов компании. Ему не следовало брать столько займов. Сейчас, конечно, легко сказать, но он-то знает, что, если бы подъем продолжился, он бы скорее живьем себя съел, чем упустил хоть что-то. Так он разорился. И следом за этим оказался на больничной койке в Сент-Томас — даже не в частной палате — после срочного тройного шунтирования, а над ним с хмурым взглядом нависала Бекки. «Я забираю тебя домой, — сказала она. — Так больше нельзя, слышишь? Ты посмотри, в каком ты состоянии!» — и показала на сто сорок килограм-

мов перекроенного тела, из которого торчали капельницы и дренажи.

Он провел целый год под крышей Бекки в Фавершеме, лишенный возможности положить в рот что-то хотя бы отдаленно вкусное, вынужденный начинать каждый день с мерзейшего отвара ростков пшеницы, который она сама пьет каждый день вместо завтрака, чтобы побороть наследственность и сохранить сорок четвертый размер одежды, — он действительно стал намного стройнее. И это мягко говоря. Теперь он просто рисунок из линий, диаграмма прежнего себя: длинный, пузатый, сгорбившийся, вынужденно нарядившийся в повседневную одежду, потому что все его старые костюмы висят на нем, как мешок. Призрак в брюках для гольфа. И он отнюдь не чувствует себя прекрасно. С каркаса убрали лишний вес, но сам каркас ноет и болит. Он, пошатываясь, ходит по дому с палочками, а мальчишки Бекки в трениках носятся мимо него туда-сюда: дополнительные занятия по математике, сквош, пейнтбол, массовые убийства на игровой приставке. Неужели Бекки заставила его пройти через такое преображение из любви? Судя по выражению лица, с которым она вглядывается в дорогу, — не похоже. Ей, скорее, движет

раздражающее чувство ответственности или даже стыда за то, что кто-то из связанных с ней людей мог так чудовищно извратить подтянутый образ, продажей которого она занимается.

Vissi d'arte, vissi d'amore, поет Дама Кири. Я жила ради искусства, я жила ради любви. Не так чарующе, как Каллас, но тоже чертовски хорошо. Внушительная женщина, с настоящей фигурой. *Non feci mai male ad anima viva.* Я не делала зла ни одной живой душе. Вдоль шоссе A20 Лондон, как обычно, расправляет свои сложенные крылья. Шире, чем раньше, охватывая кучу пригородных новостроек, возведенных в стиле, который в новом веке, пожалуй, станет стандартом английского градостроительства. Халтурные разноцветные коробочки. Небольшие участки деревянной обшивки; грязно-оранжевые панели; вставки из зеленого стекла; ярко-голубые панели. Опять деревянная обшивка. Игрушечный конструктор, который тем не менее вполне сочетается с лондонским смогом, кирпичом и лепниной, стеклом и цементом — теперь изрядно изношенными, но когда-то служившими обещанием новых времен, когда Верн сам еще был новым. Лондон ни с чем не спутать; и на светофорах и перекрестках Верн глазеет на го-

род сквозь тонированные стекла. Глазеет жадно — да, именно так — словно его жизнь все еще была где-то там, не ликвидирована, не продана конкурентам, не роздана кредиторам невыносимо безжалостными бухгалтерами Бекки. Он представляет, как на следующем светофоре откроет дверь и совершит крайне медленный побег домой. Но это все уже в прошлом. На сороковом этаже элитного комплекса его больше не ждет кровать супер-кинг-сайз, каждый день заново застеленная свежими простынями из египетского хлопка.

Из Элтема в Кэтфорд. Из Кэтфорда в Бексфорд. Из Бексфорда (без остановок) в Левишем, а там…

— Что это? — спрашивает Верн, когда они заезжают на парковку нового стадиона «Ден». — Ты же не собираешься тащить меня на футбол?

— Я подумала, что тебе надо развеяться. Ты так хорошо со всем справлялся в этом году.

Хорошо справлялся? Сколько же, она думает, ему лет? У нее что, где-то есть график его поведения, такой же, какой она повесила на холодильнике для своих мальчишек? Десять золотых звездочек, и можно пойти на картинг. Скинь шестьдесят килограммов, и вот тебе гребаный Миллуолл. В этом доме все занимаются спортом,

как будто с человеческим телом нельзя сделать ничего другого, кроме как постоянно швырять его в пространстве.

— Я не высижу полтора часа.

— Не переживай. Они продают вип-билеты, так матч можно смотреть из конференц-зала. Я взяла нам два таких.

— А где этот зал?

— Я думаю, на самом верху.

— Я туда не поднимусь.

— Тут есть лифты, — говорит она. — Я проверяла. А еще перед игрой подают обед, если тебя это утешит. — В голосе Бекки звучат резкие нотки.

— М-м-м, ну ладно.

Верн толкает тяжеленную дверь «Рэндж Ровера», кое-как приоткрывает ее настолько, чтобы, кряхтя и вздыхая, выскользнуть из машины и опереться на свои костыли.

— Не за что, папа, — бормочет Бекки у него за спиной. — Мне совсем не сложно, папа.

Дорога до сине-серой стены стадиона кажется ему очень долгой. Они направляются не к турникетам, а к более неприметной двери, судя по всему — входу для сотрудников. Так или иначе, для матча еще так рано, что вокруг никого нет. Нет толпы, через которую надо было бы проди-

раться: лишь они вдвоем и встречный южный ветер, срывающийся с холодного серого неба и приносящий откуда-то издалека запах кебаба. На дворе еще только конец сентября, но Верн теперь очень легко замерзает. Он рад присесть в маленьком лобби, где собираются обладатели вип-билетов: большинство из них, судя по всему, чьи-то отцы, а с ними и другие не самые заядлые болельщики. Среди них он далеко не самый старый, да и не самый немощный. Это звание принадлежит подростку в жужжащем инвалидном кресле, как у Стивена Хокинга, которое может наклонить, согнуть и поднять своего скрюченного обладателя во все мыслимые позы и на любую высоту. А еще среди них есть мальчик, явно младше сыновей Бекки, наряженный в новенькую бело-голубую фанатскую шляпу, для которого тревожный богатенький папочка решил организовать максимально безопасный первый фанатский опыт.

Когда лифт доставляет их в конференц-зал, расположенный прямо над верхними рядами сидений, толпа разбредается, чтобы рассмотреть коллекцию памятных штуковин на стенах: столетние шарфы, фотографии портовых рабочих эдвардианских времен, старого стадиона,

охваченного огнем во время войны, плотоядных болельщиков с бакенбардами из семидесятых и их полных нынешних противоположностей. Но только не Верн. Он подходит к окнам и видит внизу зеленый прямоугольник поля — такой маленький, хоть они и находятся на высоте всего лишь восьмидесяти футов. Он поднимает взгляд и сквозь просвет в углу на противоположной трибуне глядит на железнодорожные пути и то, что лежит за ними.

Вот он. Мгновенно, с одного взгляда на горизонт, видно, какой он большой, как его безапелляционно и неистощимо много — его города, этого хаотичного, вечно меняющегося коллажа из зданий, шпилей, крыш и дымовых труб, которые исчезают, чтобы снова вырасти под красным светом подъемных кранов; чьи строгие очертания и осыпающиеся фасады словно держат оборону, не подпуская тебя близко, но если тебе известен секрет, они раскроют тебе свое съедобное нутро, свою аппетитную сладость, свой богатый жирок. Ему нравилось смотреть на город из своего орлиного гнезда в Уорфе, где-то там на северо-востоке, из одной из тех башен, выросших на останках доков. Он родился в Южном Лондоне, вырос среди бексфордских краснокирпичных малоэтажек.

Он сколотил состояние, которого потом снова лишился, прихорашивая прошлое, но по-настоящему его всегда завораживал только вид центра города и его восточных приделов, вечно обновляющихся, самых многообещающих; высоток, которые он так и не построил. Может быть, это отчасти можно считать ничьей. Когда-то он стоял у панорамного окна, зарывшись босыми ступнями в ворсистый ковер, из колонок гремел Россини, а он смотрел, как бетонные побеги тянулись вверх, готовясь обрасти сверкающей оболочкой. Наблюдал за змеящимися поездами и машинами, движущимися по дорожным артериям вдоль путей, словно кровяные тельца. За движением света. Восход с такой высоты был похож на смазанное цветное пятно — разрастающийся на горизонте тусклый обруч, становящийся в итоге ослепительной вспышкой, чей свет превращал устье реки в жидкий металл. Закат дымкой обволакивал запад и был его собственной версией северного сияния. На нем был шелковый халат, огромный в обхвате, как винная бочка, или вообще ничего. А почему нет? Все равно никто, кроме чаек и пилотов вертолетов, не мог его увидеть. Гальюнная фигура Лондона. Смальцевый монолит. Гигантский средний палец. Ничего этого

больше нет. Ничего нет — даже плоти на костях. Глаза Верна, к его собственному стыду, начинает щипать, а поиски салфетки привлекают внимание Бекки.

— Ты в порядке, пап? — удивленно спрашивает она. — Пап? Что такое?

— Ничего, — бормочет он, сморкаясь.

— Нет, скажи мне, что случилось? — настаивает Бекки, дотрагиваясь до его руки.

— Просто мне всего этого не хватает. — Он ничего не может с собой поделать, не может не признать этого, расчувствовавшись от окружающей его заботы.

— Ну, это нормально, — говорит она. — Все скучают по местам, в которых выросли.

Сентиментальная, наивная.

— Да я не *здес*ь рос, — восклицает он. — Господи ты боже мой, Бексфорд вон там, черт бы его побрал. Вон там.

Он разворачивается, поднимает костыль, чтобы показать на гряду холмов в другом окне, где расположился Бексфорд, и смахивает с накрытого к ланчу стола графин, по счастью, пустой. Бекки проворно ловит его, не дав разбиться.

— Все в порядке, — успокаивает она. — Может, тебе лучше присесть?

Он садится, и все остальные следуют его примеру. Похожая на бурундучиху хостесс в юбке и жакете голубого миллуолльского цвета хлопает в ладоши.

— Добрый день! — пищит она. — Добро пожаловать в «Миллуолл». Вперед, «Львы»!

— Вперед, «Львы», — преданно вторят все присутствующие, включая Бекки. Даже парнишка в инвалидном кресле издает какие-то звуки в нужном ритме. Бекки подталкивает его локтем.

— … «Львы», — бурчит Верн.

— Мы приготовили для вас восхитительную программу. Не можем обещать, что «Львы» победят, но гарантируем, что вы точно прекрасно проведете время. Отличная игра, великолепный вид, потрясающий обед и еще кое-какие сюрпризы. В конце игры один из наших игроков поделится с вами мыслями по поводу матча: если повезет, расскажет о том, как мы победили! А в перерыве пройдет наше постоянное мероприятие «Звезды прошлых дней» — к нам присоединится один из ветеранов «Миллуолла». Но кто это будет, я вам не скажу, даже не скажу, в какие годы он играл в команде, иначе это уже будет не сюрприз, правда? Скажу только, что болельщикам постарше будет что вспомнить. Вот такая подсказка. Ну

что, вы готовы к обеду? Готова поспорить, что уже давно. А вот и он!

Входит небольшая группка официантов и официанток с металлическими подносами и сервировочными приборами. Ростбиф, йоркширский пудинг, жареный картофель, цветная капуста, горошек и подливка. Просто слегка приукрашенный школьный обед или какой-нибудь воскресный ланч в пабе. В дни своей славы Верн бы потыкал клубни вилкой и сразу определил, что их явно обжаривали не на гусином жиру и что они получились и вполовину не такими хрустящими, какими должны быть. Но после года в смузи-чистилище Верн отчаянно рад и тому, что есть.

— И что, ты позволишь мне все это есть? — спрашивает он.

— Конечно! — говорит Бекки. — Это награда. Моя награда тебе, за то что ты и вправду проделал большой путь в этом году. И, знаешь, как говорят, во всем нужна умеренность. В самой умеренности в том числе. Так что вперед, налетай.

Официанты начинают обходить всех по кругу. Бекки берет лишь одну маленькую картофелину и, нахмурив брови, наблюдает, как Верн заглядывается на третью. Все же стакан еще наполовину

полон, в жизни еще остались удовольствия, хоть и в густой коричневатой лужице.

— Расскажи мне, каково было расти здесь? — воодушевленно спрашивает она, когда он берется за вилку с ножом.

Он настолько рад говяжьему жирку и крахмалистости золотистой картошки, что решает попытаться. Он понятия не имеет, что именно может ее заинтересовать, но, покопавшись в памяти, вспоминает старый фургон, на котором братья его матери разъезжали по Смитфилду и Ковент-Гардену, приторговывая из-под полы. Даже припаркованный под железнодорожными арками фургон пах, как кладовка с едой. Бекон на колесиках.

— А разве это все продавали не по карточкам? — спрашивает Бекки.

— В том-то и дело. Если ты знал, кого надо, мог выручить неплохие деньги. В смысле знал, у кого купить и кому продать. Дэн и Хьюберт куда только не мотались — и в Эссекс, и в Кент, даже до Скарборо доехали как-то раз. В тот раз их чуть не прижучили по пути домой. Какой-то коп выскочил прямо из тумана и остановил их, а у них весь фургон сыром и дичью забит. «Куда направляетесь, джентльмены?» — говорит, а Хьюберт

отвечает: «Доставка в “Ритц”, сэр». И он их пропустил. Хьюберт-то знал, что в таком тумане коп точно не разглядит, что написано на фургоне.

— А что там было?

— «Тейлор и сын. Сантехнические работы».

Бекки почти готова расхохотаться, и он решает покопаться еще. Она кивает, улыбается и попивает воду — возможно, чтобы не съесть больше пары ложек обеда. К чизкейку она, разумеется, даже не притрагивается. И, что странно, Верн сам не может доесть основное блюдо и осиливает всего пару ложек десерта. Он чувствует… насыщение.

— Твой желудок уменьшился, — довольно говорит Бекки. — Так и должно быть, когда переходишь на здоровый образ жизни.

— М-м-м, — отвечает Верн.

По окончании обеда обладателей вип-билетов провожают к дверям и выводят на самую вершину трибуны, где их уже ждет ряд откидывающихся голубых сидений. «Миллуолл» играет дома против «Йовиля». Между ними какая-то старая вражда, но Верн даже не утруждается послушать предысторию, которая заключается в том, что в прошлом сезоне «Йовиль» неожиданно обыграл «Львов», лишив их заслуженного шанса на переход в другую лигу или что-то вроде того.

А заметив, как после розыгрыша мяча внизу на зеленом прямоугольнике начинают двигаться голубые и черно-зеленые фигурки, он даже не пытается следить за игрой. Он переплетает пальцы на дискомфортно полном животе и не сопротивляется, когда его взгляд принимается скользить по противоположной трибуне с весьма жиденькой толпой болельщиков; по небу, по лицу дочери, усевшейся рядом с ним. Она тоже не смотрит игру. Вместо этого она с прежней складкой на лбу что-то яростно набирает на своем «блэкбери». Кто она? Кто эта худая, неугомонная женщина в велюровом костюме «Джуси кутюр»? Какое отношение она имеет к нему? Чего она хочет? Он прожил у нее дома целый год, жалкий, больной и понурый, сокрушающийся над тем, чего он хочет, но никогда не сможет вернуть назад. В нем вспыхивает легкое любопытство. Но там, внизу, нападающие «Миллуолла» и «Йовиля» один за другим упускают свои шансы, и сменяющие друг друга вопли восторга и разочарования, восторга и разочарования, снова восторга и снова разочарования убаюкивают его, входят в размеренный резонанс с полным подливки желудком Верна, и тот в конце концов роняет подбородок на грудь.

— Пап, просыпайся. Первый тайм закончился.

— Да? Какой счет? — говорит Верн, чувствуя, что должен спросить.

— Ноль — ноль.

— Понятно.

— Нам надо зайти обратно внутрь.

— Точно, точно.

— Что ж! — произносит бурундучиха, когда все заходят в зал. Остатки обеда исчезли, вместо них на столе появились бело-голубые фарфоровые чашки, чай и кофе. — Главное сражение сегодня еще впереди. А сейчас пришло время отправиться в путешествие во времени с нашей Звездой прошлых дней! Наш сегодняшний гость из далекого прошлого «Миллуолла», потому что мы стараемся охватить все десятилетия. Он играл за «Львов» с 1963 по 1966 год, был полузащитником и иногда нападающим. Я правильно говорю, Джо? Давайте тепло поприветствуем, снова на стадионе «Ден» одиннадцатый номер — Джо Маклиш!

Пару минут Верн совершенно искренне не узнает это имя. Или, точнее, оно кажется ему отдаленно знакомым, но он не может вспомнить откуда. Он все еще находится в полусне, окутанный ритуалами корпоративного гостеприимства, а внешность лысого, краснолицего мужчины с

огромными слуховыми аппаратами в ушах не дает ему ни малейшей подсказки. Но это он, точно — невольный поручитель его первого бизнеса, румяный лопух из «Тоноцци».

— Блядь, — бормочет Верн. Негромко, но достаточно отчетливо, чтобы поймать недовольный взгляд стоящего рядом Богатенького Папочки и шикающее предостережение от Бекки с другой стороны.

— Очень рад быть здесь сегодня, Кристи, — говорит Маклиш.

— А мы очень рады, что ты сегодня с нами, Джо. Итак, прежде всего, Джо, что скажешь о сегодняшней игре? Есть какие-нибудь советы для ребят?

Маклиш пускается в беглую футбольную болтовню, он, очевидно, нисколько не потерял этот навык за прошедшие годы. Ребята играют со всей душой; ребятам надо выложиться на сто один процент и тому подобное. *Наверняка я тоже сильно изменился,* — думает Верн. — *Пожалуй, со всеми этими диетами даже сильнее, чем он. С чего бы ему меня узнать? Скорее всего, он меня не узнает.* Верн всеми силами старается уменьшиться. Он вжимает голову в плечи, складывает руки на груди и таращится в свою чашку с чаем. Ему надо лишь пережить следующие десять минут,

не привлекая к себе внимания. Когда закончится перерыв, исчезнет и Маклиш.

К несчастью, Бекки замечает его странную позу и решает, что об этом надо побеспокоиться.

— Все в порядке, пап? — шепчет она. — Дать тебе таблетку?

— Все нормально, — шипит он.

— Нет, если тебе нехорошо, надо обязательно выпить таблетку. Не геройствуй. Ты же знаешь, что сказал врач. Извините? — говорит Бекки, повысив голос. — Простите, что перебиваю, но можно нам, пожалуйста, стакан воды? Моему отцу нужно выпить лекарство.

— Что-что? — спрашивает Маклиш.

Он, должно быть, и вправду ни черта не слышит.

— Секундочку, Джо, — говорит бурундучиха, тоже повышая голос. — Вот этому. Джентльмену. Просто. Нужен. Стакан. Воды. Да?

— Ах, да, конечно, — благодушно отвечает Маклиш. — Без проблем. Все в порядке, дружище?

Теперь все глазеют на Верна, и, вместо того чтобы просто проглотить таблетку от стенокардии, которую ему сунула Бекки, ему приходится встретиться взглядом с Маклишем и пробормотать что-то в ответ, выдавливая из себя улыбку.

Маклиш тоже улыбается, но затем улыбку сменяет озадаченное выражение. Он встряхивает головой, словно туда попало что-то, что нужно вытрясти, и продолжает трепаться дальше. А потом Верн с ужасающей ясностью видит, как до Маклиша вдруг доходит. Это как наблюдать внезапно сработавшую сигнализацию. Глаза Маклиша округляются, а взгляд стремительно возвращается к Верну.

— Боже мой, — говорит он, срываясь на полуслове. — Это ведь ты, да? Ты… Ты, ублюдок!

Он устремляется вдоль стола по направлению к Верну, немного пошатываясь на ногах, которые когда-то были несравненно быстрее и поджарее, чем у Верна, а сейчас точно таких же, как у него, — ногах семидесятилетнего человека.

— Эм-м, Джо? — подает голос бурундучиха.

— В чем дело? — спрашивает Бекки.

— Этот, — говорит Маклиш, выставив вперед красный палец и неуверенной рукой тыча в Верна, который поспешил встать, чтобы не встали на него, — этот мудила, этот жулик украл у меня все, что я заработал, играя в футбол!

— Так, погодите-ка минуточку… — говорит Бекки.

— Давайте, пожалуйста, все успокоимся, — го-

ворит бурундучиха.

— Я никогда ничего у тебя не крал, — отвечает Верн.

— Что? — громыхает Маклиш, настолько же разгневанный, насколько глухой; настолько же глухой, насколько разгневанный. — Что ты сказал?!

— Я сказал, что НИКОГДА НИЧЕГО У ТЕБЯ НЕ КРАЛ.

— А тебе и не пришлось, да? Да, ублюдок? Ты просто повесил на меня все свои долги. Когда твоя контора всплыла брюхом кверху, я потерял все, что у меня было! Мне пришлось вернуться на железную дорогу, потому что у меня ничего не осталось! И я ведь даже не понял, что происходит, пока не стало слишком поздно! Просто ни с хера получил коричневый конверт!

Все присутствующие глазеют.

— А следовало бы, — говорит Верн.

— Что ты сказал?

— Следовало бы *понять*. Какой идиот вообще станет подписывать что-то, не прочитав? Да ты был настолько легкой мишенью, что тобой воспользовался бы первый попавшийся, у кого нашлось бы хоть чуть-чуть мозгов. Так уж вышло, что им оказался я.

— Джо! Сэр! — пытается вклиниться бурундучиха.

— Ты был кретином! Настолько тупорылым, что у тебя разве что на лбу не было написано!

— Папа!

— Ах ты, ублюдок, — говорит Маклиш, теперь в его голосе с яростью соперничает изумление, почти любопытство.

— А ты что думал? Что я начну извиняться? Ой, прости, пожалуйста, — кривляется Верн.

— Дать бы тебе в рожу, — говорит Маклиш. — Разбить твое мерзкое хлебало.

— Хватит! — Бекки, брызжа слюной, подскакивает со стула. Полтора тощих метра злости. — Оставьте его в покое, он пожилой человек.

— Что?

— Он пожилой человек!

— Я тоже! А благодаря ему еще и нищий!

— Я вынуждена попросить вас уйти, — говорит бурундучиха. — Прямо сейчас, будьте добры!

— О, мы уйдем, — отвечает Бекки. — Прямо сейчас!

Она тащит Верна к лифту. Двери очень кстати открываются в тот же миг.

— Тупорылый! — выкрикивает Верн, пока они закрываются.

— Закрой рот, — огрызается на него Бекки. — Просто закрой рот.

— М-да, это было…

— Закрой. Рот, — повторяет Бекки.

Она злится, это ожидаемо; но он замечает у нее слезы — а вот это уже нет.

— Да брось ты, Бекки…

— Ни слова. Не хочу слышать ни одного гребаного слова. Ты хоть понимаешь, насколько это было унизительно?

Он закрывает рот. Она стоит, уставившись на двери с каменным лицом, и как только они открываются на первом этаже, проносится мимо озадаченных администраторов прямо на парковку. Она не ждет его. Марширует вперед, пока он ковыляет следом. Позади него стадион взрывается ревом, который означает начало второго тайма. Он слышит издалека, как сигналит разблокированный «Рэндж Ровер» и надеется, что она хоть немного успокоится, когда он до него доберется. Но Бекки слишком возбуждена, чтобы оставаться на месте. Она закидывает сумку в машину и марширует обратно. Поравнявшись с ним, она не идет рядом. Вместо этого она кружит, то и дело натыкаясь на него, как разгневанная муха.

— Тебе не приходило в голову, что можно не обдирать до нитки тех, с кем строишь бизнес? — говорит она.

И снова, заходя на новый круг:

— Знаешь, кто тут правда тупорылый? Не тот бедолага. А я! Я все пыталась сделать для тебя что-то хорошее. Мама была права. Она говорила мне, что ты старый, мерзкий урод.

— Слушай, — говорит он, когда она приближается к нему для новой атаки, — мне плевать, ясно?

Она останавливается и смотрит на него во все глаза. Что-то в ее лице меняется. Созревает какое-то решение.

— Тебе правда все равно, да? В тебе же ничего не осталось, кроме злобы.

Она вдруг успокаивается.

Они добираются до кислотно-зеленой громады «Рэндж Ровера». Бекки прислушивается.

— Слушай, пап, — говорит она. — Твоя мелодия.

Он не обращал внимания на шум, доносящийся со стадиона. Он вообще не считает за музыку подобные завывания. Но болельщики хозяев в эту секунду исполняют древнюю боевую кричалку «Миллуолла».

Нас никто не любит, нас никто не любит,

Нас никто не любит, а нам плевать.

Верн смеется, не может сдержаться. Его дочь тоже смеется, но не с ним.

— Ну, что ж, — говорит она. — По крайней мере, мне больше не нужно заниматься всей этой ерундой. Мама говорила, что следует поместить тебя в дом престарелых, и была права. Давай залезай.

Когда они выруливают на главную дорогу, он тянется за «Тоской», но она выхватывает диск у него из рук, приоткрывает свое окно и отправляет Даму Кири под колеса машин.

— И больше никакого унылого говна, — говорит она.

Всю дорогу до Фавершема она вынуждает его слушать «Леди в красном» Криса де Бурга на повторе.

Алек

Субботний день, четыре часа. По пути с конференции Алек ждет своего поезда метро и замечает, как это иногда бывает, что окружающая его толпа состоит не иначе как из отдельных людей. Город распадается на гранулы. Он видит листья, а не крону; деревья, а не лес; россыпь отдельных кристалликов, а не пакет сахара. К платформе подъезжает поезд Кольцевой линии — не его, и в открывшихся дверях и светящихся окнах он видит соотечественников, как в галерее.

Низенький парень с двойным подбородком и головой, похожей на рождественский пудинг, шире в бедрах, чем в плечах. Невероятно высокий старый джентльмен в длинном пальто, с пергаментной кожей и последними пучками белых волос на голове, внимательно изучающий какую-то бумагу, словно древняя черепаха. Пышная блондинка в леггинсах и леопардовых мюлях, стучащая коленками друг о друга и уронившая подбородок на грудь. Модник лет сорока в синих ботинках, укороченном белом пальто, белом шарфе и белых перчатках — сама безукоризненность, не считая тронутых сединой спутанных волос.

Ничем не примечательная молодая женщина в бежевом, с длинным прямым носом. Темнокожий бенгалец лет шестидесяти, сидящий, словно без сил; кожа вокруг его зорких глаз и бугристые щеки усыпаны наползающими друг на друга темными пятнышками, как синяками. Женщина в дутой куртке с вьющимися волосами, редеющими на макушке, кивает в два раза медленнее, чем ее подруга сбоку машет руками. Печальная молодая туристка-японка с розовым беретом, торчащим на голове, как торт, и лицом, покрытым толстым слоем серовато-молочного тонального крема, уныло привалилась к стеклу. Красивая темнокожая девушка лет двадцати, чье длинное черное каре обрамляет лицо, как ореховая скорлупа. Бледный парень с квадратным лицом, украшенным по бокам фестонами бороды, как у короля из игральной колоды. Парочка мусульман с выбритыми висками, в трениках, кроссовках и шапочках для намаза пихают друг друга локтями и в целом выглядят так, словно собираются что-то присвоить, но еще не решили что. Ухоженный темноволосый мужчина лет тридцати в темном костюме и футболке идет вразвалочку и так занят своим телефоном, что забыл вынуть палец из носа. Миниатюрная азиатка тоже так

занята своей книгой, что неосознанно двигает губами, то покусывая, то растягивая их. Крупный, мрачный, сдержанный, злой африканец, одетый, как гробовщик, толстыми пальцами держится за поручень над головой и неодобрительно смотрит по сторонам. Прилежный черный парень с короткими дредами, в очках с роговой оправой, сидит, широко раздвинув колени, с томиком поэзии в руках. Измотанный дед с обрубленной серой челкой и выступающим щетинистым подбородком старается удержать мальчонку в красном, у которого от обилия сладостей энергия поперла из ушей, и он принялся кривляться, изображая падение.

Двери закрываются. *Нас так много*, думает Алек. Тех, кто, как он, разъезжаются по домам, и для каждого из них существует лишь один-единственный дом; а также тех, кто едет из дома в самых разных направлениях, где каждый неизменно станет протагонистом своей собственной истории. Каждый из них — центр мира, вокруг которого вращаются люди и события. Получается, что в одном месте собрано такое множество цельных миров, соприкасающихся, но при этом взаимно безразличных. Когда разум исполняет свой обычный трюк и перемешивает все наши

лица, так много всего неизбежно теряется, пропускается, игнорируется.

Так, прекрати, думает он. Возможно, это видение дальше привычного грубого разделения города на категории имеет смысл, но оно не для повседневной жизни. Нельзя идти по улице в час пик, стоять в очереди на автобус или сидеть в театре, если постоянно думать о цельности и сложности каждого из миллиона существ вокруг. *Пожалуйста, хватит. Верни мне мое нормальное, черствое восприятие окружающего мира как розового-коричнево-черного леса, нечеткого в своей массе, из которой я просто буду выхватывать отдельные лица, если мне зачем-то нужно будет сконцентрировать на них внимание. Исчезни. Прочь.* Но это видение отступает медленно, неохотно; избавиться от него так же сложно, как и перестать концентрироваться на дыхании, хоть раз обратив внимание на то, как воздух наполняет и покидает легкие. Садясь на свой поезд восточного направления, он все еще толкается среди контрастно выделяющихся лиц; устраиваясь на сиденье с портфелем на коленях, он все еще окружен одинаково ясными и выразительными глазами, сквозь которые, как из окон, глядят отдельные души.

В конце концов к реальности его возвращает тревога. Она концентрируется в его портфеле и в документе, что лежит внутри. Он только что пережил целый день водянистого кофе, несвежей слоеной выпечки и (если он прочел верно) завуалированных угроз. Ему вместе с другими пятнадцатью директорами начальных школ — чьи последние отчеты в управление образовательными стандартами получили лишь удовлетворительную оценку — показывали бесконечную презентацию, в которой постоянно повторялось слово «возможности». Министерство по делам детей, школ и семей[51] проталкивает идею академизации школ. Разумеется, они не могут насильно заставить его вывести Холстед Роуд из-под управления муниципалитета, но они просто заваливают их всякими заманчивыми предложениями, и кажется, что в каждом таком предложении так или иначе скрыта угроза. Весь день молодые и резвые слуги народа с лазерными указками произносили фразы, которые в конце сворачивались, как молоко. «Конечно, по закону никто не может принудить вас к этим изменениям *сейчас*». «Возможно, существующие меры

[51] Примечания: 51

После смены правительства в 2010 году переименовано в Министерство образования.

поддержки для самых маргинализированных районов будут более эффективны *в рамках пакета*». «У вас нет ощущения, — хочет спросить он у соседки, тыкающей свою слойку кончиком карандаша, — что нам сейчас просто предлагают прыгнуть, но в итоге все равно толкнут?» Но, должно быть, она уже все это знает и, возможно, уже согласилась.

Не то чтобы Алек был неохотным участником бюрократических игрищ. Напротив, он больше десяти лет демонстрировал в них свое мастерство. Надо сказать, именно поэтому его коллеги в Холстед Роуд были так рады, когда он стал директором, проведя в учительской меньше трех лет и преподавая меньше, чем любой из них. Они знали, что, сотрясая денежное дерево ради школы, он получал огромное удовольствие и что он пойдет даже на самые безумные шаги, чтобы выжать максимум из щедрости новых лейбористов, пока та не иссякла. Жаль, конечно, думал он, что в девяносто седьмом лейбористское правительство решило развивать проект тори по оценке и составлению рейтингов школ, вместо того чтобы вообще его свернуть, но тут уж приходятся работать с тем, что есть. И он мудрил, налаживал связи, уговаривал. Выиски-

вал преимущества для Холстед Роуд в каждой новой инициативе. Он обернул в свою пользу и разваливающееся здание школы, и процент учеников, для которых английский был вторым или даже третьим языком, и зашкаливающие показатели района по всем коэффициентам бедности. Он выбивал бюджеты, чтобы нанимать помощников учителей и менторов, приглашать с ознакомительными визитами разных мастеров. Он получал гранты всех возможных фондов и организаций: НОП, ПЭМ, ЭИЦ — бесчисленные смехотворные аббревиатуры раздражали его, были для него проявлением снобизма. Мещанской жеманности. Но если ты работаешь там, где частное финансирование не растет на деревьях, где родители едва сводят концы с концами и где не приходится рассчитывать на маленькие, но очень полезные субсидии родительского комитета на организацию школьных экскурсий, то что остается делать? Он обязан хвататься за любую возможность ради детей.

«Кто поможет таким, как мы, если не мы сами?» — спросил он как-то на собрании попечителей. «Таким, как мы?» — спросила социальная работница по имени Лиз Боутэнг. «Рабочему классу! Тем, кому больше нечего продать, кроме

своего труда! Серьезно, что никто больше не читает Маркса?» — «Ладно, Алек», — ответила она с ироничной улыбочкой, и он почувствовал себя динозавром. И лицемером. С его-то до нелепости огромной зарплатой.

Но он добился, чтобы школу перестроили. Увы, красивее она не стала. Будь его воля, молодежь бы воспитывалась в храмах, поражающих своим великолепием, где каждый уголок удивителен и роскошен, как словно покрытые драконьей чешуей дома Гауди, которые они с Прией видели в Барселоне. Шпили! Флюгеры! Мозаика! Русалки и ангелы! Все, вместо чего ему пришлось согласиться на бежевый цемент. Но школа новая, и она не протекает, и в ней учатся двести тридцать четыре ребенка, и он знает все их имена — курдские, игбо, бенгальские, польские, сомалийские — и никто из них его не боится, ни на кого из них не кричат и никого не бьют. И там нет несчастных. Нет, напоминает он себе, этого он знать не может. Все, что он может сделать, это рассмешить их, проследить, чтобы они съели завтрак и не растерялись в большом Британском музее, но кто он такой, чтобы сказать, что происходит у них внутри; кто из них втайне обитает в собственном гудящем улье отчаяния, который

невозможно описать? Он всего лишь учитель, а не волшебник.

Но теперь благодаря капитализму и всем его кризисам эра новых денег подходит к концу, так же как заканчивается и его собственная, только последняя — гораздо быстрее. Во всяком случае, эра его как директора. Ему шестьдесят девять, и он уже отложил выход на пенсию один раз, потому что хотел увидеть, как перестроят школу. Больше он так сделать не сможет. Следующим летом все закончится, готов он к этому или нет, а ему некому все это передать. Даже на такую абсурдно высокую зарплату сложно найти людей, готовых принять на себя бремя пятидесяти аббревиатур и неизбежных обвинений, неотделимых от управления школой в бедном районе. Особенно той, что недавно прошла через суровое испытание управлением образовательных стандартов и вышла из него с оценкой чуть выше, чем худшая. (Гребаное управление. То, что он умудрился сделать с этой школой, впечатляет, но, судя по всему, не играет большой роли.) А теперь, помимо того, что над обломками рухнувшей экономики носится холодный ветер, появилось еще и это неожиданное давление со стороны, настойчивое предложение перерезать пуповину

со старым добрым муниципальным управлением образования, чтобы школа, очистившись от позора и первозданно сияя, возродилась, как академия. Он сразу чувствует идеологическую подоплеку во всей этой затее. Магия рынка и прочее дерьмо. Да и нет ничего плохого в том, что в районе будет своя власть, принимающая решения о работе школ и ответственная перед избирателями. Притом совершенно понятно, что для того, чтобы умаслить школы и превратить их в академии, власть имущие решили повесить на волшебное дерево еще один жирный плод. Может быть, он должен согласиться ради детей и того, кто займет пост после него? А может быть, раз уж это вопрос будущего всей школы, лучше будет позволить его преемнику принять решение? Он ведь не должен связывать ему руки. Но скорее всего, будет куда проще найти преемника для первозданно сияющей (и так далее) Академии Холстед Роуд. И в следующем году выборы. Браун может выиграть, а может и не выиграть, и если к власти вернутся тори, одному богу известно, что они устроят. Классы по сорок человек и перевернутые ведра вместо стульев — с них станется. Да и пакета льгот для академизации могут лишить, если не схватить его, пока дают.

Всю дорогу домой этот вопрос крутится у него в голове, размывая других пассажиров в привычную общую массу, но у него нет даже намека на ответ. На восток до Кэнэри-Уорф и потом на юг по Бексфордской линии Доклендского метро. Затем вверх по Певенси-стрит, через общую террасу к квартире, которую они с Прией купили на его директорскую и ее преподавательскую зарплаты. Дай он волю ногам, они бы и сейчас привели его к мезонету на Райз; так и случилось однажды, когда он вечером возвращался домой очень уставший.

— Приве-е-ет, — кричит он, входя в их беленый коридор с индийскими статуэтками в нишах.

Ответа нет, но это ничего не гарантирует. Если Прия читает, то может его и не услышать. Он заходит в кухню и вместо копны серебристых кудрей, нависших над книгой на стойке, видит записку: «Ушла к Анджали. Увидимся позже». Что ж, может, оно и к лучшему, потому что его разные миры вот-вот столкнутся и ему нужно принять душ и сразу же выдвигаться. Он идет на свадьбу — не напутать бы — старшей дочери Крейга, брата жены Гэри, Сони. Саму церемонию бракосочетания он пропустил — они знали, что он не успеет вырваться со своей конференции вовремя, — но праздничный прием в таверне

«Тюдор» на Кэтфорд-роуд начинается в шесть, и туда он должен попасть.

Разорившись на такси, он успевает добраться туда с опозданием в десять минут и еще влажными волосами. Площадка у таверны забита машинами, среди которых белый «Роллс-Ройс», в котором, должно быть, прибыла счастливая пара, фургон «Братьев Торренс» и фургон «Костелло» — еще одного клана на этом сборище кланов. Соня когда-то была Костелло, Крейг и сейчас есть, а Сандра, как ни странно, ей стала. Два клана, два фургона. Штукатуры с одной стороны, строители и отдельщики — с другой. Не то чтобы кому-то было уж очень надо добраться до вечеринки по транзитной дороге. Фургоны нужны здесь как тотемы, как знаки отличия, как предметы гордости — особенно сейчас, спустя два года после обвала рынка недвижимости, когда все в панике, когда количество работы неумолимо сокращается, а обе империи резко потеряли в штате из-за сокращений. Алек готов поспорить, что именно по этой причине все сегодняшние тосты будут полны оживленного оптимизма, а возле бара будет очень хороший клёв.

Насчет бара он оказался прав. В банкетном зале у длинного окошка выдачи, ведущего в

сам паб, толпа мужчин нагружается пивными бокалами, бокалами с белым вином, голубыми коктейлями и легкими алкогольными напитками, чтобы отнести к своим женщинам за круглые столики. Жених с невестой сидят в конце зала: она в кремовом шелковом платье, с ресницами, напоминающими огромных гусениц, а он с запавшими после мальчишника глазами — но оба, как положено, беспомощно улыбаются; оба сияют изумлением, оттого что в этот самый волшебный момент они стоят на пороге преображения, когда твоя жизнь меняется и ты в кои-то веки знаешь об этом заранее. И именно тогда, когда чувствуешь, как забавно кружится от счастья голова, перемены уже происходят.

Бексфорд, 1961 год. День его собственной свадьбы. Они с Сандрой смотрят друг на друга. Удивленно. В глазах безумная догадка. «Ну, теперь ты это сделал», — говорит Сандра с шутливой строгостью. «Да», — отвечает Алек и вспоминает, как ему не хватало воздуха. Их лица болели от постоянных улыбок.

А теперь вот она, здесь — сидит рядом с Тони в его инвалидном кресле. Она замечает его и машет рукой; подталкивает мужа, чтобы тоже помахал; указывает на него Крэйгу, который

указывает Соне, которая указывает Гэри, и люди вокруг восклицают: «Алек!», «Папа!», «Деда!» Его подзывают за стол Стива, где для него оставили место. Он идет к ним, к людям, которые рады его видеть, с привычным чувством, что в этой жизни он куда-то свернул, а его семья свернула в другую сторону.

Закуски съели, и они уже приступили к основным блюдам. Стив заботливо оставил для него заначку.

— Ура! — восклицает Алек, накалывая креветку на вилку.

— Ура, пап, — отвечает Стив, салютуя бокалом с пивом.

Даже столько лет спустя его младший сын все еще выглядит как уменьшенная копия старшего брата: коротко стриженные волосы, чуть короче, чем у Гэри; крепкие плечи местами чуть менее крепкие. Всегда и во веки веков: Стив — Брат Номер Два. Второй и в бизнесе, и, судя по всему, в личном счастье.

— Жалко, что твоя дама не смогла прийти.

— Да, сам понимаешь, — лжет Алек, — у нее какие-то дела в колледже, и она никак не смогла вырваться. Она передавала самые лучшие пожелания. — На самом же деле ее слова звучали как:

«Да ни за что в жизни». — Значит, все прошло хорошо?

— Думаю, да, — говорит Стив. — Ну, на регистрации все было отлично, только была небольшая заминка с…

— М-м-м! — Его жена Клэр многозначительно закатывает глаза в сторону их двоих детей. Алек не представляет, что она имеет в виду.

— Деда, — говорит их дочка. — тебе нравится мое платье подружки невесты? Оно розовое!

— Разве только розовое? — отвечает он. — Оно еще и прелестное.

— Оно уже не будет таким прелестным, если ты заляпаешь его соусом, — говорит Клэр. — Не снимай салфетку. Вот так.

Они улыбаются ему, а он улыбается в ответ, и та пропасть между ними, которую благожелательность может преодолеть, она преодолевает. Он спрашивает у Стива, как дела с бизнесом, и тот кратко передает ему сводку, пока Клэр, извинившись, не заявляет, что хочет хотя бы на один вечер забыть о проблемах с делами. Затем они с Клэр обсуждают школы, управление школами, требования подготовить ростовой костюм динозавра к утру следующего дня и другие темы, которые Алек, будучи сродни почтенной мат-

роне — в профессиональном смысле, в состоянии поддержать. Рядом с его тарелкой стоит пинта пива, не белое вино, но, думает Алек, оно и к лучшему. Он склоняет голову в сторону Клэр и в глубине души радуется, что они со Стивом живут в пятнадцати милях к юго-востоку от территории, закрепленной за Холстед Роуд, и тем самым ясно обозначают свою позицию. Он не сомневается, что они были бы не в восторге от *его* школы по множеству причин. В этой комнате самая высокая концентрация белых, что он видел за последнее время.

— Так что, что-то случилось? — спрашивает он Стива, когда Клэр уводит Элис и Джейми в туалет.

— Да нет. Не знаю, — смущенно отвечает Стив. — Тебе, правда, лучше поговорить с Гэри.

— Ладно, — озадаченно говорит Алек. — С вашей мамой все в порядке? Она не болеет?

— Нет-нет! Ничего такого. Просто… Лучше поговори с Гэри.

— Ладно.

Когда с лимонным тартом покончено, шафер жениха дочери Крейга, брата жены Гэри, Сони, принимается стучать ложкой по бокалу и начинает круг тостов. Речь шафера выходит до-

статочно сальной, чтобы вызвать у некоторых стоны, а у парочки взрослых подружек невесты — хриплые смешки; а выступление Крейга в роли отца невесты звучит так трогательно, что старшая аудитория дружно ахает. Они говорят тосты в честь жениха и невесты, матери невесты, подружек невесты.

— Я думал, что Вики тоже будет подружкой невесты, — говорит Алек.

— Так и есть, — отвечает Стив, уставившись в свою тарелку.

— Только я ее не вижу.

— Надо полагать, она улизнула в дамскую комнату, — выразительно говорит Клэр, вскинув брови.

— Что ж, — подает голос жених, — это так прекрасно, что вы все сегодня здесь, мы всех вас так любим. Даже тебя Терри; даже несмотря на то что ты вспомнил ту выходку с наручниками, мудила. Мы с моей миссис…

— А-а-а-ах!

— Полагаю, я привыкну к этой фразе…

— Посмотрим через пятьдесят лет!

— Спасибо. А теперь мы с моей миссис собираемся танцевать до упаду и надеемся, что вы к нам присоединитесь.

Диджей уже устроился на небольшой сцене в конце зала, и, как только столики оказываются отодвинуты к стенам, чтобы освободить танцпол, — зажигаются разноцветные огоньки, основное освещение гаснет и начинает звучать мелодия. Мистер Запавшие Глаза и Миссис Глаза-Гусеницы совершенно справедливо первыми выходят в центр зала, соблюдая благопристойность и не касаясь друг друга, но они так поглощены друг другом, так стремятся друг к другу всем своим естеством, что их намерения вполне ясны — как если бы они танцевали фламенко. Выходит шафер, мудила Терри, с самой высокой и блондинистой подружкой невесты; их танец, скорее, напоминает жалкую пародию на какие-то «намерения», хотя еще пара пинт, и они вполне могут воплотиться в жизнь. Крейг с женой, защищая честь всех гостей среднего возраста, тоже присоединяются — она очень подвижная, колышется в узком белом платье и вызывает к жизни девчонку, которая всего лишь восемьдесят миллионов сердечных ударов назад отплясывала на школьной дискотеке под «Дюран Дюран», но устает и садится после первой же песни. Молодые гости с обеих сторон тоже танцуют, и среди них розовой стайкой вьются

старшие подружки невесты. Все, кроме Вики; ее он так и не видит. Ему нравится наблюдать за ней, ведь теперь он только и видит ее разве что на подобных мероприятиях. Она была его первой внучкой, и для него она навечно останется той Вики, чье лицо он каждый день видел на противоположном конце качелей в парке. А, нет, вот и она — вышла из дамской комнаты или еще откуда-то там и спешит на танцпол в розовом платье.

— Вики! — зовет он, а затем еще раз чуть громче, потому что она опустила голову и, похоже, его не услышала.

— О, дедушка! — отвечает она, но не подходит. Топчется в отдалении, насколько позволяют приличия, странно отклоняя голову назад, словно хочет, чтобы ее лицо было от него еще дальше, чем туловище.

— Я просто хотел поздороваться, — растерянно говорит он.

— Ясно. — Ее голос звучит хрипло и надорванно. — Я потанцую. На свадьбах ведь надо танцевать, так?

— Для меня, пожалуй, быстровато, — отвечает Алек. — Дедовские колени, сама понимаешь.

Он даже не думает о том, что говорит. Он не сводит с нее глаз. Возможно, он не видел ее доль-

ше, чем ему казалось, — год или больше. Сколько бы там ни было, за это время с ней произошло что-то страшное. Розовое платье свисает с нее, как парашют, а торчащие из рукавов руки скорее напоминают белые прутики с влажными пятнами, похожими на экзему. Она зачем-то надела перчатки без пальцев. Лицо запечатано в тональном креме, а глаза размалеваны так, что похожи на темные пятна. Ее макияж выполняет функцию маски, но не может полностью скрыть ее, и под ним он видит, что ее лицо… усохло. Жалкое, маленькое обезьянье личико, туго обтянутое кожей, — сплошные кости; а глаза непропорционально большие даже без толстого слоя косметики.

— Вики! — Он встревоженно вскакивает и делает шаг ей навстречу, но она дергается назад, *отпрыгивает*, оставляя лишь легкое облачко пугающего запаха: одновременно едкого и гнилостного. Запах желудочного сока и рвоты, смешанный с каким-то восковым, металлическим секретом, который человеческое тело в принципе не должно вырабатывать.

— Надо бежать, — говорит она, хлопая синюшными глазами, и устремляется сквозь круговорот сверкающих драгоценных вспышек в дальний

конец танцпола, где начинает исполнять нечто, больше похожее на судорожные спортивные упражнения, чем на танец, и никак не согласующееся ни с движениями людей вокруг, ни с самой свадьбой в целом. Она двигается, как одинокое, обезумевшее насекомое. Гости рядом с ней расступаются.

Алек обеспокоенно и озадаченно наблюдает за ней. Да, времени прошло немало. Может быть, он просто слишком давно ее не видел? Но он абсолютно уверен, что, когда они виделись в последний раз, когда бы это ни было, она была как раз в том позднем подростковом возрасте, когда лицо уже принимает законченный, сформировавшийся вид. Подростковые протесты и гормональные всплески утихают, со лба и щек сходит детский жирок, лицо подтягивается, черты проявляются резче — и вот он ты, каким ты и будешь отныне. В случае Вики — милой белой девушкой из Южного Лондона, с выщипанными бровями, в опрятной одежде, с выражением лица, вечно балансирующим где-то на границе между невозмутимостью и ироничностью. Куда все это делось? Что все это загубило?

Тебе лучше поговорить с Гэри. Он ищет его и находит за главным столом — тот говорит что-то

Сандре и Тони, наклонившись к ним поближе, и периодически бросает взгляд на танцующих. Взгляды Алека и Гэри пересекаются. *Надо поговорить*, — губами произносит Алек. Гэри пожимает плечами и, похлопав Тони и Сандру по спине, пробирается к Алеку.

— Что такое, пап? — сдержанно спрашивает Гэри.

Музыка играет так громко, что им приходится прижиматься друг к другу и практически вталкивать друг в друга слова, но это придает их беседе определенную близость, почти как в танце.

— Что с Вики? — спрашивает Алек.

— Заметил, значит…

— Знаю, что мы с вами достаточно долго не виделись, но да.

— А так приятно иногда убедить себя, что людям этого не видно.

— Ну, я же не «люди». Во всяком случае, надеюсь, что нет. Так *что* с ней?

Гэри вздыхает.

— У Вики расстройство пищевого поведения.

— Она что, анорексичка?

— Нет, другое. Она ест, но потом вызывает у себя рвоту. Это булимия. — Гэри произносит это спокойно, устало, словно эти слова — приговор,

который он вынужден выносить дочери снова и снова.

— Она выглядит ужасно.

— Спасибо, пап.

— Когда мы виделись в последний раз, она была нормальной.

— Думаешь? Мы не можем понять, когда это началось. Через какое-то время уже начинаешь думать, а может, это был знак. Или это. Возможно, все это началось давно.

— Да брось, нет, — отвечает Алек, сам не понимая, почему спорит. — Она была просто счастливой хорошенькой девочкой. Не может быть, чтобы это тянулось долго. Ей же всего семнадцать.

— Восемнадцать. И что с того? Как выясняется, и этого достаточно много, чтобы себя разрушить.

— Но вы же можете это исправить? У нее же вся жизнь впереди.

– *Нет*, — отвечает Гэри с нотками усталой агрессии. — Судя по всему, не можем. Вот она, пап, ничего не изменилось. Она только что съела ужин из трех блюд, выпила кофе с мятными конфетами и все это выблевала. А теперь она будет танцевать, как маньячка, только чтобы к ней случайно не прилипли какие-нибудь калории.

Потом она ослабеет, похолодеет, у нее закружится голова, мы отвезем ее домой, а утром она проснется чуть-чуть более замороженная, чем сегодня. Как раз вовремя, чтобы выблевать завтрак.

— Прости, — говорит Алек. — Прости, сынок. Просто для меня это шок.

— Это да.

— Но… Что же случилось?

Гэри выдувает воздух сквозь сжатые губы.

— Как я сказал, мы не знаем. Она сама не знает, по крайней мере, мне так кажется. Ну, то есть она рассталась с парнем, но все вроде прошло нормально. Переживала из-за выпускных экзаменов точно так же, как и все ее друзья. Слушала мрачную музыку, но ты же сам знаешь — подростки. Ей не нравилось, как она выглядит, и она начала сидеть на этих дурацких диетах, типа где можно есть только овсянку, но сам же знаешь — подростки! Она как будто сорвалась с невидимого обрыва, и то, что в принципе было не очень хорошо, превратилось в катастрофу; а мы даже не заметили.

— И что, она начала убегать в ванную после еды?

— Не сразу. Она думала, что мы почувствуем запах в ванной или в туалете. Она уходила в свою

комнату с пакетом и закрывалась там.

— С пакетом?

— Чтобы проблеваться. Потом она их завязывала и складывала под кровать.

— О господи.

— Соня нашла их, когда пылесосила. Кучу пакетов с холодной блевотиной. С тех пор она перестала их прятать.

— Господи, это так ужасно. Я просто не могу… Она ведь всегда была такой чистюлей. Так расстраивалась, если пачкалась. Складывала фломастеры по линеечке. И тут — блевать в пакет? *В пакет?* Как она могла терпеть эту гадость?

— Видимо, через какое-то время, — говорит Гэри, — она начала получать от этого удовольствие. Это стало своего рода ритуалом. Пока не поблюешь, чувствуешь себя мерзкой.

Почему-то пока эта деталь самая ужасающая. Детей тошнит, а ты за ними убираешь. Их тошнит по ночам на пижаму и постельное белье, и они становятся такими несчастными; их так пугает, что естественный порядок вещей оборачивается вспять, что их чай выходит обратно из животика, склизкими комьями вырываясь изо рта в разные стороны. Ты моешь их, меняешь простыни и приводишь все в порядок. Безопасный, спокойной

порядок. Ты сидишь с ними, пока они снова не заснут. Ты все исправляешь. Алек подтирал за Гэри и Стивом, подтирал за Вики в те дни, когда присматривал за ней. Сама мысль о том, что этот безобидный сбой в системе может вызывать непреодолимую тягу, жажду, необходимость такой силы, что ради нее можно смириться даже со склизкими комьями — просто чудовищна. Бедная Вики.

— Надо было сказать мне. Надо было.

— И что толку, пап?

— А как насчет, ну, не знаю, терапии? Консультации? Реабилитационные центры?

— Ага, — отвечает Гэри. — Как же.

— Вы пробовали?

— Конечно, пробовал. Естественно. Носился туда-сюда, как в зад ужаленный. Врачи. Психологи. Консультации. Дорогущие загородные центры, где откисают рок-звезды. Только ничего не поможет, если не хочешь, чтобы помогло.

— А она не хочет?

— Она лежала в клинике дважды. Выбора не было. Через какое-то время ты ведь уже просто на ногах не держишься. Там тебя подлатывают, прокапывают, и как наберешь килограмм-два — отправляют домой, чтобы ты мог начать все

сначала. Но от реабилитационного центра она отказалась наотрез. Ни в какую. Черт, — Гэри внезапно всхлипывает, — как же я ненавижу эту блядскую песню.

Он смотрит на танцпол с каменным лицом. Гэри, самостоятельный Гэри, который никогда не хотел ничего, что Алек мог ему дать, кажется совсем беспомощным. Алек на долю секунды чувствует позорное удовольствие, которое тут же тонет в море стыда.

— Мне так жаль, — говорит он.

Танец безумного насекомого на другом конце зала продолжается. *Но она ведь такая молодая*, хочет возразить Алек. Ему кажется, что в этой ситуации должно быть позволительно апеллировать к ее юности. С кем-то столь юным, стоящим на пороге жизни, просто не может случиться что-то настолько серьезное.

— Все наладится, я уверен, — говорит Алек. — Она такая хорошая девочка.

— Все так говорят. Как будто при всех ее возможностях проблема не может оказаться настолько серьезной. Но что, если все наоборот? У нее столько возможностей, и тем не менее она в жопе. Может, это лишь подтверждает, что все и вправду очень плохо… Но она и правда хорошая девочка.

Спору нет.

— Если я могу что-нибудь сделать…

— Если бы я знал, что надо делать, я бы это делал. Но спасибо, пап, — говорит Гэри с видимым усилием. — Спасибо.

Он подталкивает Алека плечом: тот даже не помнит, когда они в последний раз дотрагивались друг до друга, но сигнал благожелательности отчетливо послан через длинную пропасть невзгод.

— Ну вот, началось, — говорит Гэри.

Насекомое замедлилось и начало сгибаться. Не дав ей упасть на пол, Гэри успевает подхватить Вики, словно маленькую девочку. Ее тоненькие ноги безжизненно повисают. Жуткое зрелище.

— Поехали-ка домой, карамелька, — говорит Гэри дочери, которая болтается у него на плече, источая запах рвоты, пока ее тело переваривает само себя. У Гэри на лице выражение пораженной нежности — Алек даже не подозревал, насколько глубоко отчаяние сына; он уносит Вики со свадьбы, будучи за гранью стыда, а Алек начинает молча пялиться. Он тоже порывается уйти из этой комнаты, из этого здания, но тогда это будет похоже на признание провала его семьи, поэтому он просто отступает в темноте к своему опустев-

шему столу у стены. Оттуда движущиеся точки света от диско-шара образуют овал, в котором двигаются гости, их затылки освещены вспышками. По кругу, не останавливаясь. Кажется, словно материальный мир второй раз за сегодняшний день разверзся, являя на свет то, что находится под ним. Только на сей раз вместо плавного истончения привычного, это настоящий разрыв, пробоина, сквозь которую проглядывает бездна потерь и трагедий. Он упирается лбом в кулак, используя этот жест как более достойную альтернативу тому, чтобы прятать лицо в ладони.

— Эй, — говорит Сандра.

— О, привет, — отвечает он.

— С тобой говорил Гэри.

— Да, говорил.

— Я присяду?

— Конечно. — Ее волосы теперь не осветленные, а серебристые, в уголках рта залегли глубокие морщинки; и все же напротив него в темноте сидит все та же стройная женщина. — Ты знала об этом?

— Да.

— Такой кошмар.

— Это правда.

— Я полагаю, знали все, кроме меня?

— Нет-нет. Гэри и Соня не распространяются на этот счет. Узнать о таком настоящий шок.

— Именно!

— Поэтому я и решила узнать, все ли в порядке.

— Такое ощущение, — начинает Алек, зная, что ему, пожалуй, не стоит этого говорить, но он не может устоять перед предложением излить душу, — что я не смог сделать в этой жизни ни одной хорошей вещи.

— Ой, ну что за ерунда, — утешительно отвечает Сандра.

— Все, что я делаю, в итоге разваливается. Газета, семья, возможно, и школа тоже.

— Но это же другое, — говорит она. — Все заканчивается. Но совершенно не значит, что это было плохо. Ты был очень хорошим отцом.

— Я так и не научился разговаривать с мальчиками.

— Или они так и не научились разговаривать с тобой. Знаешь, они тобой очень гордятся.

— Значит, ты не жалеешь, что была замужем за мной?

— Нет! — отвечает Сандра, издавая звук негодования, ничем не отличающийся от старых звуков негодования супружеского. Автобусная оста-

новка. Зал бракосочетаний. Кухня в мезонете. Темный стол, заставленный тарелками и бокалами. Времена наслаиваются друг на друга. — Нет, милый. Не говори ерунды. Не твоя вина, что мы в итоге так и не смогли все наладить.

— Я не хотел так меняться, — говорит Алек.

— А я не думаю, что ты в самом деле изменился, дорогой.

— Кажется, что я должен был суметь все исправить.

— Мистер Ответственность, — говорит Сандра и тянется между бокалами, чтобы взять его за руку.

— Кажется, что я должен суметь исправить все сейчас.

— С Вики?

— Да.

— Мне тоже. Я обсуждала это с Гэри и Соней сто раз. Чего только не предлагала.

— А они?

— А они уже обо всем этом думали. Обо всем, что только приходило мне в голову. И знаешь, что я поняла?

— Что?

— Что теперь это их жизнь. Не наша. Мы свое уже отбарабанили. Они ее родители, а не мы. Все,

что мы можем это надеяться, что они найдут верный способ. Мы не можем решить эту проблему за них. Или за Вики. Это их дело, не наше.

— Просто это такой жуткий конец…

— Конец? *Конец?* Никакой это не конец, болван. Вики *восемнадцать*. У нее еще все впереди.

— Надо полагать.

— И никак иначе. Ты должен в это верить. Но знаешь, что будет, когда она выберется из этого дерьма? Что-нибудь еще, а потом еще и еще, и мы точно так же не сможем просто взмахнуть волшебной палочкой над другими проблемами. Одна проблема, вторая, третья, четвертая, и так до бесконечности. Они никогда не прекратятся.

— Надо полагать, — говорит Алек, уже чувствуя себя лучше, хотя он и не совсем понимает от чего.

— Вот именно. А теперь пошли потанцуем.

— Что? Нет, для меня быстровато…

— Это медленный танец, Алек. Пошли.

— А Тони не будет против?

— Не говори глупостей.

Она рывком ставит его на ноги и тянет через хаотично составленные столы в центр движущегося овала огоньков.

— Но класть руки мне на зад, пожалуй, все-таки

не стоит, — добавляет она минуту спустя.

— Прости, — отвечает Алек.

— Веди себя прилично, а не то донесу на тебя твоей… ну… Твоей даме.

Сандра, так же как Гэри и Стив, упорно избегает называть Прию по имени — то ли потому что боится неправильно его произнести, то ли по каким-то другим причинам. Алек ничем не провинился, а просто бездумно соскользнул в прошлое и задумался о Прии. Восхитительная Прия, в любой момент готовая побеседовать о Грамши; до жути здравомыслящая Прия, которая не усмотрит в этом танце повода закатить ему истерику, даже если ей на него укажут; Прия, которая не поймет, что в самом этом медленном танце с Сандрой кроется неизбежная измена, даже если он положит на нее руки со всей целомудренностью.

Они раскачиваются под «Удерживая годы», обнимая друг друга. Ее седая голова у него на плече. С их последних объятий прошло почти пятнадцать лет, но до этого они почти сорок спали в одной постели. Он в точности, в совершенстве знает ее тело: ее затылок, ее запах, ее узкую длинную спину с бугорками позвонков. Пятнадцать лет — это ничто. Время — это ничто.

Ее морщины, его морщины — просто разные вариации долгой одинаковости. Семидесятилетняя Сандра и семнадцатилетняя Сандра, по сути своей, идентичны. С ней он чувствует воссоединение с вечностью. Но, конечно, она права. Все заканчивается. И это тоже. (С юридической точки зрения уже закончилось.) Здесь нет такого понятия как «вечно», по крайней мере, в том смысле, что времени, подобного этому, не будет больше. Время бежит, и, как ни странно, именно сейчас — возможно, потому что он обнимает Сандру, — он впервые это ощущает. Он чувствует, что золотая карусель света, которая кружится вокруг них, карусель света, которая собирала вместе всю его жизнь, скоро ускользнет от него; или он от нее. Так или иначе, она скользнет от него в темноту и продолжит вращаться без него. Гэри, Соне и Вики придется справляться без него; Прие придется справляться без него; школе, надо полагать, тоже придется просто справляться без него.

Не сейчас, но уже скоро. Возможно, не в ближайшие пару лет, но в сравнении с тем, сколько раз он уже облетел Солнце, он и Лондон — маленькая серая точка на вращающемся шаре, путешествующем кругами сквозь вихрь лучей и частиц, — очень скоро. Очень скоро в сравнении

с длинной историей, которую этому городу еще предстоит пережить; но он этого уже не увидит. Упадки, трансформации, возрождения. Ему в голову приходит зеленая фарфоровая архитектура Лондона будущего из «Машины времени». Он не увидит ее. Или километровые небоскребы, из которых можно будет увидеть сверкающий на солнце Канал. Или просевшее, полузатонувшее поселение, в окружении подернутых паром рисовых полей. Или руины, которые увидит путешественница из Новой Зеландии, преодолевшая полмира и присевшая на обломки колонны у Темпл-Бар. Он ничего этого не увидит. Его время уже было, и оно почти вышло. И что тогда? Что потом? Тогда больше не будет никакого «тогда». Потом больше не будет никакого «потом». А пока он и дальше кружится в кружащихся огоньках. У него есть еще немного времени, и сейчас он танцует со своей женой.

Джо и Вэл

Сразу понятно, думает Джо, что эта палата никому не является домом, сколько бы ее постояльцы, включая Клода, в ней не прожили; и может статься, что некоторые из них, включая Клода, здесь и умрут. Такие колючие ковры не постелят в настоящей гостиной; свет слишком флуоресцентный, диванные подушки слишком жесткие и кричаще оранжевые. Здесь нет установленных часов для посещения, но вокруг уже начинается вечерняя суета. Тележка с расшатанными колесиками доставляет горячие напитки и маленькие бумажные стаканчики с таблетками; дневная смена передает пост и надевает пальто. Ей пора. Клод тоже заметно подустал. Просвет, когда он может концентрировать внимание, заканчивается — навязчивые идеи снова вступают в свои права. Он спрашивал о Маркусе и о радиостанции — несколько хаотично, но очень по-отцовски. А сейчас, без малейшего изменения в голосе или любого внешнего проявления странности, он вспоминает о Трехсторонней комиссии.

— Мистер Ньютон, ваши лекарства, — говорит

ночная медсестра.

— Я, наверное, пойду, — говорит Джо. Допив остатки остывшего чая, она поднимает себя из оранжевого кресла. — Пойду помою чашку.

— Да не стоит, — отвечает медсестра.

— Нет, я помою, — настаивает Джо, надеясь, что, если она сполоснет чашку, это место станет чуть меньше похоже на «учреждение». Хотя бы символически. Она всегда с такой радостью оттуда уходит и всегда чувствует вину за то, что она может встать и уйти, а Клод остается там, накачанный лекарствами.

Она относит их кружки и две чайные ложки в узенькую кухоньку, куда есть доступ из общей зоны. Растворимый кофе в гигантской банке и полный чайных пакетиков пластиковый контейнер. Разномастные кружки. На банке с печеньем наклейка: «ПЕЧЕНЬКИ НИЛА. РУКИ ПРОЧЬ». Она моет посуду и вытирает ее полотенцем с изображением замка Карнарвон. Справа от раковины есть окошко, выходящее в общую зону, и через него она видит Клода, заключенного в своем кресле, как тускло освещенный натюрморт. Узкая трясущаяся голова; большие, безразличные глаза; все еще стоящая над ним медсестра. Возможно, она еще там, потому что он до сих пор не выпил

свои таблетки. Возможно, он еще не выпил таблетки, потому что хочет продолжить говорить. Возможно, он рассказывает медсестре о Генри Киссинджере. Точно. Медсестра похлопывает по бумажному стаканчику, зажатому в его руке, и Клод неохотно поднимает его ко рту.

Вдруг ни с того ни с сего, все еще держа в руке последнюю кружку, она чувствует, как сквозь нее отчетливо и ясно проходит мысль: это случайность. Ее жизнь совершенно необязательно должна была принять такой оборот. Ведь было так много возможностей. Она могла остаться в ЛА. Она могла начать сольную карьеру. Она могла остаться в группе с Рики, будь он чуточку посмелее. Она могла выйти замуж за Рики — и чего уж греха таить: развестись с Рики, жить в нелепом домике в Малибу, похожем на белый свадебный торт, есть белковые омлеты и блюда, состоящие только из красных продуктов (антиоксиданты и все такое), хвастаться своей коллекцией гитар «Фендер» перед писателями-биографами. Она случайно вернулась в Лондон, случайно встретила Клода, случайно на двадцать лет осталась преподавать в Бексфорд-Хилл. Как *это* может быть ее жизнью, как *он* может быть ее любовью, если в основе всего этого чистая случайность?

Ее настоящая жизнь, без сомнения, все еще ждет своего часа. Она все еще стоит за сценой клуба «Пеликан» и ждет своего выхода или носится с Вэл в ее беретке по двору, пиная листья. Ну конечно, все еще впереди.

Затем так же внезапно и так же отчетливо она думает: и что с того? Никто не выбирает, кого любить. Иметь что-то, быть кем-то, любить кого-то, а все остальное само устроится. Так гораздо спокойнее, чем быть молодым и жаждать всего и сразу, вот и все. Когда выбор сделан, мир вокруг успокаивается. Вот и все. Она убирает последнюю кружку в меламиновый шкафчик и выходит попрощаться с Клодом.

— Увидимся в понедельник, — говорит она.

— Увидимся в понедельник, — вторит он, глядя, как она уходит, с таким недоумением, словно она знает что-то невероятное, что неизвестно ему самому.

Но позже, по пути из Вулвича в Бексфорд, мысль возвращается. В этот раз мягче, скорее меланхолично: вместо резкого отрицания — скорбь и обида. Верхняя передняя площадка пятьдесят четвертого автобуса — ее любимое место в лондонских автобусах, где можно скользить над городом, словно на ходулях или на шее неуклю-

жего жирафа. Надо полагать, когда ее тазовые кости совсем откажут, она уже не сможет взобраться на второй этаж. Но пока может, она сидит там в окружении постоянно меняющейся толпы подростков на пороге субботней ночи. Белые девчонки с торчащими над джинсами трусиками — что за дурацкая мода, господи, — черные парни, с выбритыми на головах загадочными узорами, заходящие и выходящие на остановках в строгом соответствии с невидимыми границами передовых межквартальных войн. Дети, такие маленькие, что запросто могли бы быть детьми ее первых учеников, и для них она — совершенно пустое место. Ей нет места в их важных играх, и они ведут себя так, словно она невидимка. Они болтают, свистят и кричат вокруг и над головой старой женщины с белым каре и шрамом от меланомы, поджавшей губы. Мимо нее по изогнутому стеклу проплывают кляксы фар и светофоров — неоновые листья в черной воде. В небе на западной стороне еще виднеется полупрозрачный мазок света; остатки заката, похожие на тусклую лампочку за темным стеклом. Тормозные огни прошивают насквозь весь Блэкхит. Спускаются по холму, поднимаются на противоположную сторону и исчезают за деревьями на склоне. К

тому моменту когда автобус оказывается внизу, небо на западе — так же как и на востоке, на юге и на севере — сковывает неподвижная, черная лондонская ночь, напитанная натрием. Вперед, в сторону Левишема, а затем медленно и плавно вниз, в Бексфорд.

(Под субботним небом, под закусочными с жареной курицей, под билбордами и железнодорожными арками, геология этого города следует своему расписанию, на которое едва ли повлиял нанесенный на поверхность кракелюр из кирпича и асфальта. Бексфорд, Левишем, Вулвич — такие внушительные имена для гравийных русел, оставленных беспорядочными поворотами реки тут и там, вокруг глиняной котловины между холмами за миллионы лет, в течение которых не было ни названий, ни города, ни человечества. Здесь был лед, хвойный лес, тропики, тундра, снова лед, и так по кругу, пока в последней итерации этого цикла тоненькая ниточка дыма не потянулась от первого костра, первой красной точки в лондонской ночи. Этот город, великий город — лишь неглубокий оттиск на глине. Этот город — паутинка мухи-однодневки.)

Пятьдесят четвертый автобус сворачивает на Ламберт-стрит. Ее остановка у старого «Вул-

вортс»; вернее, там, где когда-то был старый «Вулвортс», пока застройщик во время бума не решил его перестроить, а в итоге, когда кончились деньги, оставил за забором лишь дыру в земле под охраной неподвижного подъемного крана. Джо так привыкла к трехэтажному зданию рядом с остановкой, что каждый раз, когда она не смотрит прямо на это место, ее мозг сам норовит достроить его в воображении, и она каждый раз заново обнаруживает, что здания больше нет. Вот так и сейчас. Она выбирается из автобуса, и громадина «Вулвортс» нависает над ней, но стоит ей поднять глаза — тут же растворяется в воздухе. Словно здание постоянно переключается между существованием и небытием. Мимо нее с вихрем проносится последняя стайка безразличных подростков, едва не закружив ее. Серьезно, словно ее вообще там и нет.

Что ее на самом деле беспокоит, думает она, взбираясь вверх по склону, — что ее *на самом деле* беспокоит, так это то, что ей теперь некуда идти с этими противоречиями. О да, у нее есть любовь. Она любит сына, любит старого безумного дурака Клода, любит Вэл; и с тех пор как они с Вэл вместе устроились дома, после ее выхода на пенсию, она знает: когда повернет ключ в

замке входной двери, внутри ее всегда кто-то будет ждать. У нее в распоряжении есть все виды близости, но после того, как с Клодом случилось то, что случилось, ей больше не с кем проделать этот супружеский трюк, когда ты приносишь домой свои противоречивые желания, сознательно приносишь в ваше общее пространство все те нелепости, которые ты хочешь, но не можешь иметь. Не можешь иметь без риска потерять все дорогое, что у тебя есть. В молодости, в первый год их совместной жизни с Клодом, когда он чаще присутствовал, чем отсутствовал, она тихонько притаскивала и выставляла на внутренний домашний свет нелепую непокорность своих страстей. Ты встречаешь привлекательного мужчину, не забываешь как бы между делом упомянуть его имя в домашней беседе, чтобы мысль о нем не болталась в отдельном пузыре томления, надежно защищенном от реальности, а испытала себя рядом с каждодневной любовью; подверглась сравнению и в итоге оказалась мелочной, алчной и непрактичной и растворилась в воздухе где-то между диваном и кухонным столом. Сейчас ей хочется приносить домой не бурные страсти, которые в сравнении с кем-то, даже не подозревающим об этом, проиграют

состязание с домашним счастьем. Ей хочется принести свою тайную досаду, это острое осознание, пришедшее именно сейчас, когда все так сложно, осознание того, что она все еще может жалеть о непрожитых жизнях, незаписанных песнях, неполученной славе. Старые сожаления, которые, как ей казалось, она отпустила — нет, даже больше, которые, казалось, были вытеснены другими исполнившимися желаниями — оказались еще живы, еще горьки и вполне способны, как призраки, воплотиться и заговорить, стоит лишь подкормить их капелькой крови. Она топает вверх по склону, а мятущийся призрак говорит: *Почему именно так? Почему эта жизнь, а не какая-нибудь еще? Почему заканчивается она, а не другая?* Если бы ночами она ложилась в постель, согретую под покрывалом чьим-то телом, на чье тепло можно положиться, тогда и призрак был бы спокоен, изгнан в дальний угол комнаты. Но она спит в одиночестве.

Претория-стрит, 34. Кирпичный эдвардианский дом на склоне; маленькая кованая калитка между кустами живой изгороди; дорожка, выложенная растрескавшимися черными и красными треугольниками. Как дом с террасой в Бексфорде; но порядочно выше дома с террасой в Бексфорде,

откуда они с Вэл начинали: в шести улицах и семи десятках лет отсюда. Свет горит. Она поворачивает ключ.

Сверху доносится музыка, что-то из многочисленного семейства драм-н-бейс. Она в курсе, что там много важных различий, но это не ее музыка, и она не очень-то ее жалует. А раз это не ее музыка и точно не Вэл, значит, приехал Маркус. В другой ситуации она бы обрадовалась, но сейчас она слишком устала и не хочет в этот день больше никаких событий. Ее зовут — должно быть, услышали, как хлопнула дверь, — но она специально кладет сумку и пальто со скоростью пожилой женщины, идет на кухню, глядит на лазанью в духовке, незначительно подкручивает температуру, растягивая время.

— Джо!

Ну ладно-ладно.

— Иду!

Поскольку дом 34 стоит на склоне, выйти в карманного размера садик можно только через стеклянные двери в гостиной на втором этаже. Большая его часть укрыта навесом и служит внутренней помойкой, писсуаром для соседских котов и курилкой Вэл — куда больше напоминая нью-йоркские пожарные лестницы, чем веранды

в Калифорнии. Маркус там не один, с ним его парень Люциус Гунератне — звукорежиссер с коровьими глазами, чьи родители приехали из Шри-Ланки. «Отставшие римляне», как называют их они с Вэл. Все трое курят, раскаленные кончики сигарет вспыхивают и гаснут; Вэл воцарилась в садовом кресле, с обеих сторон окруженная праздной мужской красотой. В ее сторону устремляются три ухмылки.

— Ни за что не поверишь, — говорит Вэл. — Ни за что! Ты только послушай это…

Но Джо в ту же секунду, без малейшей паузы приходит в ярость. Ворчливые призраки несбывшегося у нее в голове решили сыграть в сломанный телефон и пробудили призраков еще более древних. *Пока я присматривала за больным*, кричит разгневанный дух, *Вэл развлекалась с мальчишками. Ты глянь на нее, прилепилась к ним, хохочет над их шутками, а все шишки достаются мне! Это несправедливо!* И неважно, что Вэл — уже пенсионерка, похожая на пожарный гидрант, с лицом, напоминающим чернослив, и легкими, полными мокроты, которая хлюпает и потрескивает, когда та смеется. И неважно, что мальчишки — ее племянник и его большая любовь — голубые, как небо. Неважно, что по

всем показателям Вэл имеет гораздо меньше нее и вообще жизнь потрепала ее значительно сильнее. Доводы тут ни при чем. Ее самодовольная ухмылочка — вот что по-настоящему бесит Джо. Та же самая, абсолютно та же самая улыбочка, которую Вэл нацепляла в двенадцать лет, сидя на «паутинке» во дворе в окружении толпы своих дружков, уже в том возрасте стараясь задрать платье так, чтобы всем были видны ее ноги. Та же самая улыбочка, с которой в девятнадцать она за полночь проскальзывала домой, где Джо весь вечер играла в медсестру. Помада смазана, одежда топорщится — продуманная и нарочитая демонстрация того, что она зажималась с кем-то в углу.

— Люц, давай еще раз сначала, — командует Вэл и похлопывает по месту рядом с собой.

— Посмотри на себя, — говорит Джо с горечью. — Ты вообще ничему не учишься, да?

— Что? — спрашивает Вэл.

— Вечно в окружении мужчин. Мужчины всегда на первом месте, чего бы тебе это ни стоило. Но тебе плевать, расплачивается ведь всегда кто-то другой.

— Дорогая…

— Люциус, ты вообще в курсе, кто сидит с тобой

рядом?

Парни переглядываются.

— Не надо, — вскидывается Вэл. — Пожалуйста, дорогая.

В голосе сестры звучит такая мольба, что гневный призрак внутри Джо отступает и растворяется, лишив ее ярость силы, но оставив целую кучу обид и жалоб, которые некуда выплеснуть. Она поднимает руки и, словно царапая воздух, проводит ими над головой; жест беспомощности или чего-то еще, который заканчивается тем, что она сводит кончики пальцев и прижимает их к губам.

— Ма, ты в порядке? — спрашивает Маркус.

Но именно Вэл делает шаг ей навстречу и обхватывает дряблыми руками.

— Дайте-ка нам минутку, парни, — говорит она. — Зайдите внутрь ненадолго. Пожалуйста.

Озадаченно хмуря брови, парни выходят и через минуту выключают то, что у них играло, — что бы это ни было.

— Прости меня, — шепчет Джо. — Я не знаю, что на меня нашло.

— Брось, — отвечает Вэл. — Что такое? Что-то случилось?

— Нет, — горестно произносит Джо.

— Нет?

— Нет, все как всегда.

— Ясно, — отвечает Вэл, словно Джо что-то объяснила ей. Но если так, она сделала это не словами, а, скорее, тем, как произнесла их.

— Я просто… больше… не могу…

— Ага, — говорит Вэл.

— Это все так… так…

— Ага, — говорит Вэл.

— Все просто…

— Я понимаю, что ты имеешь в виду, хорошая моя, — говорит Вэл. — Я понимаю, что ты имеешь в виду.

— Хорошо, что понимаешь, потому что я ни черта не понимаю.

— Помолчи, — инструктирует Вэл. — Помолчи и поплачь.

— И чем это поможет? Лучше от этого не станет.

— Ситуация лучше не станет, но себя чувствовать ты будешь лучше. Вот и все.

Шмыг.

Шмыг.

— Ну как? Получше?

— Слегка.

— Ну конечно, *слегка*. Есть платок?

— Где-то был. Да. Слушай, прости меня. Ты этого не заслужила.

— В последнее время, пожалуй, нет.

— Такое чувство, будто кто-то другой начал говорить моим ртом.

— Нет, милая, это была ты. Если я чему и научилась в жизни, так это тому, что даже неприглядную правду надо признавать. Просто надо. Ну же. Мы бы не были сестрами, если бы не ненавидели друг друга иногда, пусть и самую малость.

— Хочешь сказать, что ты тоже?

— Господи, ну конечно! Миссис Вся Из Себя Музыкантша. Ты унылая корова. Жить с тобой под одной крышей просто пытка. И ты тощая, как глиста.

— Что ж, тогда ладно.

— Я могу продолжить.

— Да нет, не стоит.

— Точно?

— Да!

— Хорошо. Высморкайся.

— Ага.

Гудок.

— Если ты успокоилась, надо пустить мальчиков обратно, а то они забеспокоятся. Знаешь, что? Тебе правда надо послушать, что они написали.

— Зачем?

— Не скажу. Сама увидишь. Все в порядке, — кричит она, — мама просто расстроилась из-за состояния твоего отца.

Маркус и Люциус врываются обратно так быстро, словно все это время прятались за занавесками. Джо надеется, что нет.

— Бедная ма, — говорит Маркус.

— Бедная теща, — говорит Люциус. — Так бывает, — мудро добавляет он, — одно накладывается на другое, потом еще что-то, правда ведь? И ты даже не представляешь, насколько ты измотан, пока тебя не накроет.

— Да, — соглашается она и внезапно оказывается в объятиях изящной мужской красоты. — Спасибо, спасибо. Спасибо вам обоим. Это так мило.

— Умиление так и прет, — говорит Вэл.

— Ты просто мерзкая старушенция.

— Я гейская подружка со стажем, — отвечает Вэл. — И не стыжусь этого.

— Так что там за музыка, которую я обязательно должна послушать?

— Точно! — восклицает Маркус, отстраняясь от матери с видом человека, который готовится произнести речь. — Я как-то зашел пошариться в виниле, ну, знаешь, искал какие-нибудь примеры

и нашел целую коробку…

— Не помню такого, — говорит Джо.

— Тебя не было дома, — вставляет Вэл.

— …с записями. Очень старыми, на катушечной пленке. Я подумал, круто, со старой пленки можно вытащить классный лоу-фай звук, такой, потрескивающий, шипящий. Ну я и забрал их, а Люц придумал, как их можно проиграть и, мам…

— О нет, нет, нет…

— Там законченные песни. *Твои*. Ты никогда не рассказывала, что записывала что-то свое.

— Ну, они в итоге никуда не попали. Слушай, не бери все это в голову. Они все такие *старые.*

Она чувствует тревожную неловкость — не за себя настоящую, а за себя прошлую; ту, что мечтала о том, чего не получила, и могла оказаться ужасно откровенной и ужасно беззащитной на той пленке, что они нашли. А еще ей немного страшно. Она слабо помнит, что на тех пленках: все те работы, как подсказывает ее слабая память, были связаны с долгим упадком их отношений с Рики и, следовательно, подпитывались ее ложными надеждами и разочарованиями. Учитывая, какая ядовитая волна всколыхнулась в ней только что, идея вытаскивать что-то подобное на свет отдавала мазохизмом. Больше никаких кровавых

жертвоприношений призракам сегодня.

— А это так и задумывалось? — спрашивает Люциус. — Типа, капсула времени?

— Но ни одна из этих песен не закончена! Они никуда не попали.

— Но это же не значит, что они плохие, — парирует Маркус. — Ты вообще хоть раз переслушивала их?

— Нет. Не хотела. Все это слишком убого. Слушайте…

— И все же ты их сохранила.

— Да.

Выкинуть их было бы так же невыносимо, как и переслушать. А потом технологии скакнули вперед, и ей уже не на чем было проиграть их, даже если бы она и захотела.

— Штука в том, мам, что мы их *послушали*, и нам очень понравилось, и мы подумали, что, если использовать их правильно, они могут оказаться в тему.

— Что странно, правда? — добавляет Люциус. — В хорошем смысле.

— Не знаю, — отвечает Джо.

— Я думал, ты обрадуешься, — говорит Маркус. — Надеялся, что обрадуешься. Конечно, мы не будем ничего делать, если ты против.

Она смотрит на него и видит первые признаки покорного принятия — обычной реакции Маркуса на мир, который не принимает его идеи. Достойной, без всяких обид. Вот черт, думает она, попавшись в ловушку материнской совести.

— Думаю, тебе надо послушать, дорогая, — говорит Вэл, читая ее, как книгу.

— Ладно, *ладно*. Ну давай. Убей меня, маэстро. *Маэстры*.

Улыбки возвращаются на лица. Она усаживается в освободившееся садовое кресло, но от беспокойства тут же вскакивает и стоя слушает, как из колонок в гостиной доносятся на улицу первые ноты.

Но сам звук и так уже уличный. Сначала шаги, потом поток машин в отдалении. Двигатели, скрип тормозов. Потом треск, череда потрескиваний, словно кто-то перемешивает в воздухе заряженные частицы, взрывающиеся густыми искрами; и из всего этого, словно потрескивания каким-то образом обрели строй, возникает раскатистый барабанный ритм — сухой, как галета, но отдающийся эхом. БУМ-тада-да-ДА-ДА-да, БУМ-тада-да-ДА-ДА-да. В мелодию вплетаются басы, но их уровень выставлен так, что они похожи на сейсмическую дрожь земли. Она по пятам

следует за барабанами. Затем осторожно, но уверенно, постепенно набирая силу, появляются синтезаторные фрагменты. Наэлектризованный воздух над руинами. Никакого популярного сейчас вылизанного подражания настоящим инструментам, лишь вопиюще электронный звук — неестественность, не скрывающая своей неестественности. Спору нет, для парней заря электронной музыки, пожалуй, звучит именно так, но она слышит электро-поп восьмидесятых, пришедший после нее. Пожалуй, даже после второй геологической эпохи синтезаторов, а не после настоящей, первой Эры Мугов[52]. Где-то на дальнем участке дорожки звучит сирена «Скорой». Ну конечно, она слышит звуки *их* города, аудиоверсию Лондона, каким они его знают. Очевидно, когда они хотят чего-то винтажного, они выбирают звук из своего собственного «начала», и восьмидесятые для них такая же древность, как для нее — радио пятидесятых. *С вами Геральд и его оркестр «Гаучо Танго» прямо из танцевального зала «Старлайт»…* Звуки из самого старого, первого слоя воспоминаний.

Но затем она слышит обрезанный и заколь-

[52] Примечания: 52

Moog — модульный синтезатор, разработанный американским инженером Робертом Мугом в 1964 году.

цованный сэмпл голоса женщины, поющей на Голливудских холмах, и что бы там ни придумали парни, она путешествует по своей истории.

Любовь, что мы не познали

Любовь, что мы не познали

Любовь, что мы не познали

В следующий раз повезет

Они оборвали дорожку, так что в конце явно слышится треск, и становится очевидно, что это нарезка. И все же даже в этих фрагментах она — живая и слышимая — в каком-то другом отрезке настоящего поет в три дорожки в более теплой, более сухой ночи. Там вроде была гитара? Гитара исчезла. Песня, какой она была — хоть Джо так ее и не закончила, вертится у нее в голове, в попытках снова обрести форму и восстановить то (глаза щиплет. Ох, почти. Ох, еще не совсем), что было по тексту дальше. Что *идет* дальше, ведь песня, несомненно, все еще там — если не на расстоянии вытянутой руки, то точно на кончике ее языка. О боже. О боже. Это не позор, не убожество, не оставляющий за собой ядовитый выхлоп провал. Это артефакт, позволяющий бросить взгляд назад. Да, эта женщина на записи, пою-

щая словно где-то рядом, но откуда-то издалека, чувствует горечь; да, она испытывает злость; но она переворачивает эти чувства и хладнокровно превращает свои горести в нечто, не требующее сострадания. Да и позвольте вам доложить, что голос у нее чертовски хорош. В нем куда больше типично американских переливов, чем было до этого или будет после. Смесь Сэнди Дэнни и Кэрол Кинг. Отличные связки, милочка.

Дождь стеной
Дождь стеной
Дождь стеной
В следующий раз повезет

И как они теперь собираются прийти к какому-то заключению или хотя бы к чему-то наподобие припева, столь же экспрессивному, чтобы на этом можно было остановиться и сказать, что это законченная песня. Может, в этой версии вся песня будет состоять из иссушенных останков отчаяния, нарезки не нашедшей успокоения тоски. Очевидно, что для парней песня в ее оригинальном варианте была насквозь пропитана чувствами, которые нужно было оттуда выжать. И они определенно выжали. Теперь это лишь намек, витающий в воздухе. Они убрали со всеоб-

щего обозрения вывернутую наизнанку душу. Им не нужен был законченный нарратив, а может, предполагает внутренний циник Джо, они просто не хотели, чтобы женское нытье занимало слишком много места. Они превратили цельный женский голос в сэмпл. Но им все равно надо сделать так, чтобы он куда-то двигался, чтобы он дошел до какой-то точки. Как…

— Мы хотели, чтобы это был такой чиллвэйв, — говорит Люциус, — но чтобы под него можно было танцевать, так что добавили немножко дабстепа.

— Чувак, помолчи и дай ей дослушать, — вставляет Маркус.

А ну-ка погодите. Вот оно. Они переключили скорость и сохранили нарезку или просто урезанную версию того, что, как она смутно припоминает, было припевом. Просто им на это потребовалось больше времени, чем она ожидала, ведь они в отличие от нее адаптировали запись с учетом неиссякаемой выдержки людей на танцполе. Темп ускоряется, на первый план выходит бас, щелкают ножницы, нарезающие фрагменты партии синтезатора, и в итоге все эти клочки соединяются в какое-то подобие мелодии; почти ее мелодии, думает она.

Надеюсь на
следующий раз,
Цепляюсь за
следующий раз.

Все потому, все потому, все потому, все потому, что

В этот раз, в этот раз, в этот раз, дуэт наш пою

Одна.

Мощное усиление баса и синтезатора на последнем слове. Непостижимо. А затем снова откат к тоскливым фрагментам и нисхождение: крупные статические помехи, сухость барабанов, только помехи. БУМ-тада-да-ДА-ДА-да, БУМ-тада-да-ДА-ДА-да. Треск. Шипение. Звуки настоящей, живой лондонской ночи утверждаются в своих правах, как самолет, пролетающий над головой.

— Тебе понравилось? — вкрадчиво спрашивает Маркус.

Она поднимает руку. Если они хотят профессиональное мнение, они получат профессиональное мнение.

— Еще раз, — говорит она.

Шаги, шум города, помехи, барабаны, син-

тезатор. Сэмпл. В этот раз она знает, что будет дальше, она ждет вступления новых партий. Она формирует мнение о разных составляющих трека, о темпе, о некоторой предсказуемости такого долгого растягивания проигрыша. Ей будет, чем с ними поделиться. Но в то же время в этот раз, когда тревога отпустила, она лучше чувствует мелодию. *Следующий раз, следующий раз*, поет молодой голос из какой-то другой точки на огромном континенте времени, пронося горечь, пробудившуюся в мелодии, сквозь три десятка лет; этот голос убежден, что то, чего ему так не хватает, невозможно заменить ничем; он не может представить, что когда-то эта пустота заполнится. А теперь она, уже старая, слушает это, и у нее осталось не так уж много времени для «следующих раз», хоть она все еще способна удивляться, как удивлена этой новой вещью, заставившей следующий раз случиться прямо сейчас. В этом, должно быть, есть какая-то ирония. Но на самом деле нет. Она слышит, как время проходит, четыре удара в такт, девяносто ударов в минуту. Она слушает песню, свою песню, и это все еще песня о желании, о потере, о тоске. Только теперь это песня о тоске по тому, что ты еще имеешь; тому, что еще какое-то время будет в твоих

руках и что тебе вскоре придется отдать мраку; в который канет ее песня, все ее песни; вина Вэл и ее мудрость; энергия Клода и его безумие, голос Рики и его леопардовые штаны. Сцена, усыпанная водянистым светом, словно бриллиантами. Малыш на руках. Красный лес в зеленоватом солнечном свете.

И еще кое-что. Ей помнится, что она всегда хотела добавить бэк-вокальную партию — подпевать самой себе. Теперь, тридцать лет спустя, она может исполнить этот дуэт. Когда начинается припев, Джо откидывает голову назад, распрямляя мягкую трубку трахеи, и вступает. Соло для двоих. Ее голоса возносятся вверх, Маркус хохочет, а ее буро-серебристая песня уносится в ночь над бексфордскими крышами, мимо алого огонька неподвижного подъемного крана, мимо величественных домов в Бексфорд-Райз и хипстерских кофеен на холме, мимо бургерных и закусочных, между высоток Парк Эстейт и дальше над верхушками деревьев. И голос, и басы, и барабаны колышут листву и бумажную обертку жареного цыпленка, отскакивают от кирпичей и цемента, на которых любовь всегда оставляет неизменно временный след краской из баллончика; любовь, из которой мы строим

дом; мы, кто возносит свои голоса и летит сквозь.
Летит сквозь.

Бен

В палате Бена в хосписе есть окно, выходящее на небольшой участок с клочковатой травой. Его со всех сторон окружают двухэтажные кирпичные стены, и солнце попадает прямо на траву лишь в середине дня. В любое другое время место там затененное — заброшенный зеленый квадратик пруда да перекрученная приземистая скульптура, поросшая мхом. Но где-то вне поля зрения Бена должна быть дорожка, ведущая во внутренний двор, а значит, и прореха в углу, где встречаются стены, потому что иногда по утрам откуда-то справа ненадолго просачивается луч раннего света: низкий и ровный. Он светит и сейчас, а трава покрыта росой. Вдоль всей солнечной линии сверкает море крошечных бусин, миллион дрожащих на свету нитей.

Говорят, когда умираешь, мир становится меньше, но вот он здесь, и его настолько же поразительно много, как и всегда. Это ты уменьшаешься. Или просто уже не можешь постичь его целиком; хватаешься за все более мелкие фрагменты, пока тебе не остается лишь одним

глазком смотреть на ослепительно яркий уголок всего этого колоссального полотна. Но потом и его не станет.

Трубочка под простыней введена ему прямо в руку, и маленький поршень автоматически подает по ней морфин. Если боль становится невыносимой, он может нажать на кнопочку и попросить еще. Как правило, обходится без этого. Но время расплывается, движется скачками. Люди приходят и внезапно исчезают, стоит моргнуть, как ночь становится днем, а день — ночью. Он теряет нить в середине разговора, а затем в поисках нужного слова обнаруживает, что разговор остался далеко позади, несколько часов или дней назад. Он медленно преследует свои постоянно разлетающиеся мысли, словно человек, гоняющийся за шариком ртути, который постоянно норовит расщепиться и укатиться подальше.

Марша, Рути, Кертис, Клив, Грейс и Адди надевают верхнюю одежду, собираясь уходить. Сестра дает ему глоток питательной смеси — и их уже нет. «Это что, представитель парламента?» — спрашивает медсестра. «Угу», — отвечает Бен. Глотать тяжело. Да, именно так, Адди Оджо — член парламента от Бексфорда во плоти. «И

это все ваши дети?» — спрашивает медсестра с ноткой учтивого недоверия, в целом совершенно логичного. «Ни один», — отвечает Бен. «Все до одного», — добавляет он. Он смог произнести последнюю фразу вслух? Внезапно уже ночь.

Иногда ему страшно. Иногда ему кажется, что все рассыпается на части: мысли, кости — все материи разлетаются и оседают горой останков; а потом ему кажется, что он слышит колоссальный звук, дребезжащий, раскатистый, внутри которого он жил.

Он пытается привести мысли в порядок, но ртуть разбегается в разные стороны. Разные части его жизни, которые, казалось, никак не соединены друг с другом, но, как он уверен, связаны. В самом деле. Как он колесил по Бексфорду в одной жизни, а потом в совершенно другой на тех же автобусах, по тем же местам, тем же кафе; ужас, а потом ликование; его сестра, а потом Марша. Весной на тех же улицах. Только не по кругу, а как будто поднимаясь по спирали, ведь разве в конце концов он не добрался куда-то?

Удивительно, как после стольких лет, когда быть счастливым для него означало не помнить, что такое страх, он может с легкостью воскресить

его в памяти, но уже не боясь. Прозрачный пол в его голове исчез, но это ничего. Он видит свои наполненные ужасом годы рядом с хорошими, занимающими на спирали свое место.

Мысль у него в голове — ртуть, соблаговолившая, чтобы ее медленно и постепенно догнали. Кто знает, может, это и правда. Но если разные события и фрагменты его жизни, всплывающие, словно выталкиваемые на поверхность пузыри, путано выстроены по спирали часов и лет, то, может, есть какое-то особое место, какой-то угол, откуда можно увидеть, как эта мешанина случайностей на мгновение выстраивается в порядке, который ты никак не мог заметить раньше? Может, есть какой-то угол обзора, не наш, откуда пояс обломков наших дней, упорядоченный не более чем, скажем, мелкие частицы, разлетающиеся на волне взрыва, видится ровным и упорядоченным? Циферблатом диапозитивов. Готической розой.

Утро. Ночь. Утро.

— Бен? — говорит Марша, держа его за левую руку.

— Деда Бен? — вторит Рути, держа другую руку, но они и не ожидают ответа.

– *Olorun a de fun e*, — говорит Марша.
Ее губы у него на лбу.

Славьте его в каждом почтовом индексе, думает Бен.

Славьте его в электричках: славьте под драм-н-бейс. Славьте его в «Ритце»: славьте в изъеденных мочой дверных проемах. Славьте его в маникюрных салонах: славьте маслом для бороды. Славьте его в детских развивающих группах: славьте у продовольственных банков. Славьте его в парках и на площадках: славьте на станции подземки в ночной час. Славьте его кебабом: славьте мишленовскими звездами. Славьте его на пиратских радиостанциях: славьте на «Эл-Би-Си» и «Кэпитал»: славьте в Доме вещания. Славьте его в фунтовых магазинах: славьте в универмагах «Харви Николс». Славьте его среди проданных в рабство и эксплуатируемых: славьте в хипстерских кофейнях. Славьте его в промышленных владениях: славьте в гей-барах. Славьте его на танцполах: славьте у постелей больных. Славьте его в парламентском суде: славьте в тюрьмах и притонах. Славьте его во время Прайда: славьте во время Карнавала: славьте его в «Миллуолле» и «Вэст Хэме», «Арсенале», и

«Челси», и «Тоттенхэме». Славьте его в Байрам: славьте в Торжественную Мессу: славьте в Шаббат: славьте его в церковных хорах. Славьте его все, кто надеется: славьте все, кто боится: славьте все, кто мечтает: славьте все, кто помнит. Славьте его в беде. Славьте его в радости. Пусть все, что дышит, славит его.

Солнце прямо над головой. Солнце светит строго вниз. В обычном свете солнца трава становится такой яркой. Бен видит свет, и свет очень хорош.

T+∞

Явись, прах.